Мы не увидимся с тобой (Из записок Лопатина)

Константин Симонов

SHOUT
SHARE
IT

- Симонов Константин
  - ○

Симонов Константин
Мы не увидимся с тобой (Из записок Лопатина)

Симонов К.М.
"Мы не увидимся с тобой..."
(Из записок Лопатина)
Повесть

Новая повесть Константина Симонова "Мы не увидимся с тобой..." завершает цикл повестей, объединенных общим подзаголовком "Из записок Лопатина". Первые повести этого цикла "Четыре шага" и "Двадцать дней без войны" давно известны читателю. Повесть же "Мы не увидимся с тобой..." лишь в начале 1978 года была впервые опубликована в журнале "Знамя".

Как и ранее созданные К. Симоновым произведения, в том числе его замечательная трилогия "Живые и мертвые", повесть погружает нас в грозные дни Великой Отечественной войны. Действие повести, как и в романе "Последнее лето", развивается весной и летом 1944 года во время памятной Белорусской операции, в итоге которой советские войска вышли к государственной границе, подошли к Висле и Восточной Пруссии.

Но публикуемая повесть не рассказ об этой военной операции, хотя герои ее и участвуют в боях. В центре ее образ писателя Лопатина, фронтового корреспондента газеты "Красная звезда". Рассказ о взаимоотношениях Лопатина на фронте и в тылу с близкими ему людьми, о его журналистской деятельности, его размышления об увиденном и пережитом и составляют основу этого произведения.

"Из записок Лопатина"... Казалось бы, подзаголовок предопределяет дневниковую форму повествования: что увидел и услышал, о чем подумал, то и записал в своей тетради. Как же иначе мог вести фронтовой корреспондент свои записи? Но повесть "Мы не увидимся с тобой..." написана не от имени Лопатина, а от третьего лица. Этот литературный прием позволил К. Симонову, писателю, побывавшему в качестве военного корреспондента чуть ли не на всех фронтах Великой Отечественной войны, с начала и до конца, вложившего в "Записки" много лично познанного, решительно отделить себя от Лопатина. Не следует забывать и того, что майор Лопатин, живущий на пороге своего пятидесятилетия, был намного старше автора повести, которому в годы войны не исполнилось еще и

тридцати.

Читатель, знакомый с творчеством К. Симонова, обратил, наверное, внимание на то, что судьбы многих героев его военных романов и повестей не завершены. К примеру говоря, осталось неизвестным, найдется ли Маша, жена Синцова, одного из основных персонажей романа "Живые и мертвые", и как сложатся в конце концов его взаимоотношения с Таней Овчинниковой. Конечно, это не авторский просчет, не пренебрежение естественной читательской любознательностью. В статье "Из чего складывается работа" К. Симонов писал: "Судьбы людей: если я не кончаю последним днем войны - как можно знать судьбы людей на ней? Но судьба войны решена: началась война - какой она будет, как повернется судьба народа и страны? - вот вопрос, который вставал в "Живых и мертвых". На этот вопрос отвечено. Война заканчивается нашей победой над фашизмом. В этом смысле точка. В остальных смыслах многоточие..."

Герои повести "Мы не увидимся с тобой...", как и персонажи заключительных книг романа "Живые и мертвые", не сомневаются в победном исходе Отечественной войны. Наши войска уже вступили на немецкую землю. Конечная победа очевидна, и в этом смысле Лопатину остается лишь размышлять, когда же мы овладеем Берлином. Но, несмотря на это, тревога читателя за судьбы многих героев и после прочтения повести остается. Даже название ее (читатель обратит, наверно, внимание на многоточие), название далеко не однозначное, подчеркивает эту неопределенность. Неопределенность ощущается уже в начале повести в личных взаимоотношениях Лопатина с любимой женщиной. Но еще более она возрастает к концу произведения. Дойдет ли до рейхстага командир полка майор Беликов, полюбивший дочь Лопатина Нину, как сложится дальнейшая судьба командарма Ефимова, самолично приказавшего своим войскам, вопреки установленной догме, отступить на господствующие высоты, дабы занять более удобные для обороны позиции, и уцелеет ли сам Лопатин, отважно отправившийся в самом конце повести через пограничную речку Шешупе на плацдарм в Восточной Пруссии, чтобы завершить сбор материала к недописанной корреспонденции Гурского, - на все эти вопросы читатель не получит ответа.

И тем не менее новая повесть К. Симонова, психологически точно, без риторики выявляющая патриотизм советских людей, по исчерпывающей обрисовке характеров и развитию взаимоотношений героев вполне завершена.

Прочитав повесть, читатель убедится в этом.

В. КАТИНОВ

(с) Издательство "Художественная литература", 1978 г.

"Мы не увидимся с тобой..." (Из записок Лопатина): Повесть

1

Дочь приехала к Лопатину в госпиталь, в Тимирязевку, когда все опасное было уже позади. Да и вообще все самое опасное было там, в армейском госпитале, под Шепетовкой, гае он лежал первые две недели после ранения. А когда его перевезли сюда, в Москву, он уже был вполне жилец на этом свете.

Сюда, в одну из офицерских палат Тимирязевки, дочь привез Гурский. Обычно он вырывался из редакции накоротке через два дня на третий, чаще при всем желании не выходило, и Лопатин удивился его появлению сегодня, второй день подряд.

- Что вы там, забастовку, что ли, редактору объявили? - спросил Лопатин, увидев Гурского в халате, нацепленном на одно плечо поверх синей редакционной спецовки, в свою очередь, надетой поверх его любимого рыженького пижонского костюмчика.

- Как себя ч-чувствуешь? - продолжая стоять в дверях, спросил Гурский. - П-почему сегодня лежишь, а не ходишь?

- Потому что вчера им опять не понравилась моя плевра. И лечащий дружески посоветовал полежать впритык до комиссии, а то не выпишут.

- Так что появление п-прибывшей издалека особы женского пола не подорвет твое п-пошатнувшееся?

"Неужели она так-таки явилась в Москву и он приволок ее сюда?" подумал Лопатин о своей бывшей жене и сказал, что его здоровье теперь может выдержать все, что угодно.

- Тем более что я п-привез совсем не то, что ты п-подумал, усмехнулся Гурский и, приотворив дверь и оборотясь назад в коридор, сказал: - Он в п-полном п-порядке, заходи.

В палату вошла дочь - длинная, широкоплечая, неузнаваемая, похожая на себя прежнюю только своим прежним детским липом - больше ровно ничем. Шагнула в дверь, на секунду остановилась. перемахнула палату своими голенастыми ногами и, затормозив на полном ходу, обхватила отца руками не за плечи, а сзади, под подушкой, осторожно. И, почувствовав ее осторожность, Лопатин вспомнил, что она уже второй год. ходит на дежурства ночной санитаркой в, госпиталь тем у себя, в Омске, поэтому и обняла через подушку и боится прижаться, только, тычется губами в щеки.

- Не бойся, как бы сама не запищала! - сказал он, крепко прихватывая ее за плечи и с удовольствием чувствуя, что он уже почтя здоров и руки у него все такие же сильные, какими она помнит их с детства.

- Не запищу, - счастливо сказала она, оторвалась и посмотрела на него своими зелеными круглыми материнскими глазами на детском лице. И все-таки нет, не таком уже детском, каким оно было два года назад, когда она провожала его под Харьков. Лицо стало шире и заострилось в скулах, и Губы стали шире - уже не детские, а женские губы.

"Большая, совсем, совсем большая девочка!" - подумал Лопатин.

Продолжая глядеть на него, она несколько раз подряд моргнула, но не заплакала.

- Не д-дочь, а кремень! - сказал Гурский, подсевший на табуретку с другой стороны койки. - У меня, старого циника, п-понимаешь, очки вспотели, а она не п-плачет.

Он снял очки и стал протирать их носовым платком, - кто его знает, шутил или серьезно, с ним никогда не знаешь до конца.

- А я никогда не плачу, - сказала Нина с вызовом в голосе. И, смутившись, добавила: - Больше никогда не плачу. - Вспомнила, наверное, как тогда, в сорок втором, уткнулась отцу в шинель и зарыдала при том же самом Гурском, которому сейчас сказала, что никогда не плачет.

- В общем, близко к истине, - сказал Лопатин, глядя в неизвестно как попавшие сюда вдруг из Омска зеленые круглые глаза дочери и вспоминая обильные и незатруднительные слезы ее матери.

- Кто тебя привез?

Лопатин повыше подоткнул под себя подушки и сел на кровати.

- Сюда - Борис Александрович, - сказала Нина, поворачиваясь к Гурскому.

- Не Борис Александрович, а дядя Боря. Мы с т-тобой договорились об этом всего д-два года назад, не так давно, чтоб уже забыть.

Она улыбнулась. И Лопатин улыбнулся вместе с ней, подумав, что в ее семнадцать- - пятнадцать - это очень давно.

- Сюда д-доставил я, а в Москву наш с тобой редактор, - сказал Гурский. - Вызвал меня в кабинет час назад и сказал: - Г-гурский, сегодня каким-то поездом должна приехать из Омска дочь Лоп-патина. Я ее вызвал, и ее отправили. Ноих п-поте-рял листок, где записан этот поезд. Найдите ее и отвезите к Лопатину. Но при этом Попомните, что за вами к двадцати часам п-передовая.

Но не успел я выйти от него, как мне п-позво-нил вахтер, что меня ждет внизу какая-то б-ба-рышня. А поскольку своим б-барышням я кат-те-горически запретил переступать п-порог

редакции, я сразу п-понял, что это твоя дочь и у нее хватило ума самой добраться до редакции.

- Я бы и госпиталь сама нашла, - сказала Нина.

- Этого я уже не доп-пустил, и -вот она перед тобой. Вы поговорите, а я п-перекурю в коридоре. Тем более что мне полезно подумать над п-пере-довой. Такие вещи он никогда не забывает, это не бумажка с п-поездами.

Гурский оглядел палату, спавшего, завернувшись с головой в одеяло, левого соседа Лопатина и сидевшего в халате на своей койке правого соседа, с интересом слушавшего их разговор.

- Майор; будь человеком, п-пойдем покурим вместе мой "Казбек", если к-курящий.

- Курящий, но капитан, - поднимаясь с койки, сказал сосед справа.

- Ну так будешь майором! В таких случаях важно не ошиб-биться в п-противоположную сторону.

Они вышли.

- Этот отсыпается за три года воины, - кивнув на спящего соседа, сказал Лопатин, - железа набрал в себя за троих, а нервы так и не расшатал. Абсолютно невредимы.

- Я сама, когда дежурила, удивлялась, как некоторые спят. Одни совсем не могут спать, а другие спят и спят, - сказала Нина.

- И я, несмотря на боли, сначала все спал. Как объясняли врачи - от потери крови.

- Я знаю. А какие боли, отчего?

- Отчего боли бывают? Оттого, что болит. Он хотел отшутиться, но она строго прервала его.

- Папа, не говори со мной, как с мамой! У лечащего врача спрошу, если сам не объяснишь. Расскажи все сначала.

Ее слишком уж требовательная серьезность чуть не заставила его улыбнуться.

- Ладно, сначала так сначала! Но чтоб не повторяться: что и от кого ты уже знаешь?

- Ничего я ни от кого не знаю. Я же прямо с поезда, - сказала она укоризненно.

- А Гурский? - спросил он, подавив в себе желание Погладить ее по волосам.

- Твой Гурский только шутит: "Сейчас увидишь своего отца-молодца. Он в п-полном п-порядочке, и все тебе лично д-доложит". - Она сердито передразнила Гурского, но не выдержала и улыбнулась тому, как это хорошо у нее вышло. - Я только знаю наизусть твою телеграмму: "Получил сквозное пулевое грудь переправлен Москву всякая опасность миновала. Не верь никаким болтовням. Отец". Так? - спросила она, выпалив наизусть

телеграмму.

- Так. И цени, что написал как взрослой, прямо тебе, а не тетке.

- И правильно. И хорошо, что я без нее получила. Я потом; два дня ее готовила.

- Сдала она? Сильно? - с тревогой спросил Лопатин, помнивший краеугольный характер своей старшей сестры и не представлявший, чтоб ее нужно было к чему-нибудь готовить.

- А что ты думаешь? - горько, по-взрослому, сказала Нина. - Конечно, сдала. Знаешь, как сейчас учителям?

- Догадываюсь.

- У нее в классе, где она классной руководительницей, больше чем у половины уже отцов нет. А она двадцать шестой год в этой школе и все считает и считает, скольких ее бывших учеников убили. Она почти про всех знает, ей говорят. Недавно пришла домой и заплакала - из-за какого-то Виктора Подбельского, что его убили в сорок пять лет, что он второгодник, из самого ее первого, после революций, выпуска, что у него уже внуки. А потом перестала плакать И говорит: "Теперь мне сто лет". Я говорю: "Тетя Аня, какие же вам сто лет?" - "Нет, - говорит, - теперь, после этого, мне сто лет. И я больше жить не хочу. Буду жить, потому что нужно, но не хочу". И Андрей Ильич, - вздохнула Нина и остановилась.

- Что Андрей Ильич? - спросил Лопатин. Андрей Ильич был муж его старшей сестры.

- По-моему, он потихоньку умирает, - сказала Нина. - Но по нему не так заметно, он все время больной, как я приехала. А тетя Аня, ока, знаешь, в этом году вдруг... - Она подыскивал, как бы получше объяснять Отцу его "вдруг", а он все равно не мог поверить, что сестра стала другой. чем та, к которой Ой привык.

Дочь замолчала и выжидающе посмотрела на него. И он рассказал ей о том, что с ним было, помня, что Гурский курит и ждет в коридоре.

История с ним вышла довольно глупая, хотя и не такая уж редкая для этой весны. Отправив во время осады Тарнополя две корреспонденции по телеграфу, он после взятия города был вызван в редакцию и поехал в Москву с третьей, начерно написанной статьей в полевой сумке. Глупость состояли в том, что, боясь напороться на бандеровцев, он не рискнул ехать глядя на ночь с другими корреспондентами из-под Тарнополя в штаб фронта, - перенес на утро. Корреспонденты накануне ночью проехали благополучно, а он среди бела дня нарвался на обстрел в лесу. Незнакомый шофер, которого ему дали, чтоб добраться до штаба фронта, вместо того чтобы гнать дальше, маханул из

"виллиса" в кювет, а он, еще не успев схватиться за баранку, получил пулю в грудь. И на том бы и окончил свои дни, если бы не шедший сзади "студебеккер" с какой-то командой. Солдаты открыли огонь из автоматов по лесу. Бандеровцев, как видно, было кот наплакал: они смылись. Шофер вылез из кювета, случившийся в команде санинструктор перебинтовал грудь; через три километра стрелка с крестом показала налево, на какую-то медицину, я через двадцать минут - на стол!

- Рана удачная, - заключил он. - Навылет я без особых последствий, кроме потери крови. Уже через две недели отправили сюда, в Москву, это говорит само за себя, тем более тебе, медичке. А телеграмму дал, потому что в Москве языка длинные и - чтоб страшней - любят отсчитывать от сердца: еще бы на сантиметр левее или правее - и все, конец! Вот в дал на всякий случай!

- А почему у тебя боли потом были? - спросила Нина. - Пневмоторакс получился?

- Смотри, какая дошлая! Нет, миновала чаям сия. А боли были потому, что плеврит. А потом где-то прохватило, может, в самолете, пока сюда везли, - кашель, а кашлять мне и до сих вор еще нельзя. И курить нельзя и неизвестно, когда будет "льзя". А очень хочется.

- Еще бы! - Она погладила его по голове, как маленького.

- Слушаю тебя про тетю Аню, - сказал Лопатин, возвращаясь мыслью к старшей сестре. - Не верю, что надо было ее готовить к тому, что я ранен. Не в ее натуре такие нежности.

- Ну и не верь, а я знала, что надо. Она весь день в школе держится и дома, при Андрее Ильиче, держится. А при мне не может. При ком-то же надо? Она тебе письмо со мной прислала, но про себя ничего не пишет, все только про меня, чтоб ты не оставлял меня в Москве: это мне вредно, тем более если ты опять на фронт уедешь, а мама за это время вернется, что я вам не мячик, - и так далее.

- Ты что, читала? - спросил Лопатин.

- Она мне сама дала. Сказала: "Запечатывать непорядочно, а испытывать тебя не собираюсь - на, читай". А я совершенно и не собиралась оставаться в Москве.

Она вынула из старенького школьного портфельчика, с которым пришла, письмо и отдала отцу. Он взял я положил на табуретку под очешник.

- Потом прочту. В Москве оставаться не собираешься, а что ты собираешься?

- Побуду немножко у тебя" вернусь, окончу школу, пойду на курсы сестер - на дневные, потом поработаю еще два-три месяца

там же у вас, в Омске, в госпитале - меня обещали взять. Стану настоящей хирургической сестрой и уйду в армию. А что?

- Ничего, - сказал Лопатин, прикинув, через сколько же все это будет: через месяц окончит школу" потом курсы медсестер и эта практика в госпитале... Значит, к началу будущего - сорок пятого... - Остается только одно - ускорить дела

- Какое дело? - не поняла она.

- Известно какое! Которое на войне делают. Чтобы такие, как ты, при всем желания на нее не попали. Не успели. Не удивляйся. Не только у вас, и у родителей могут быть дурацкие мечты. У вас одни, у нас - другие. От матеря писем не получала?

- Последнее время - нет, - сказала Нина. Она не хотела говорить с ним о матери. - А ты что, против того, чтобы я кончила курсы медсестер и пошла на фронт? Вот уж никак от тебя не ожидала.

- Наверное, нет, не против, - сказал Лопатин, - просто не привык еще к этой мысли. Два года не видел, была маленькая, стала большая. Растерялся.

- Ну да, растерялся! Кто тут у вас растерялся? - входя, спросил Гурский.

- Папа, - сказала Нина.

- Я бы тоже на его месте раст-терялся. Прощался с какой-то тощей козявкой, нос да косички, а теперь одних ног п-полтора метра. Не красней, д-дурочка, много ног - это хорошо, если только они не за счет головы. Ну и довольно о твоей внешности. Посмотри на меня и зап-помни на всю жизнь, что внешность - дело десятое. А теперь слушайте меня. - Он усмехнулся над собой, но все-таки произнес эту, хорошо знакомую Лопатину фразу, которая значила, что Гурский уже все решил - и за себя, и за других. - Ее план, который она изложила мне п-по дороге, а тебе, очевидно, еще нет, - если тебя не выпишут раньше ее отъезда, жить здесь в госпитале и раб-ботать временной санитаркой. Мой план: в принципе одобрить ее п-план, но внести коррективы. П-посколь-ку она приехала из Сибири, немытая как чушка, я немедленно сажаю ее в "эмку", где лежат ее скромные, как говорили в таких случаях в старину, п-пожитки, и везу к себе домой, где моя мама, Берта Б-борисовна, кормит ее всем, что у нас есть, моет ее всем, что у нас есть, и кладет спать на двух креслах и одном ст-туле. Д-девочка, запомни на всю жизнь, что заик ост-танавливать нельзя, они от этого б-болеют и в конце концов умирают. Завтра утром, как только п-проснется редактор, я объясню ему твое желание, и он позвонит начальнику госпиталя, без которого никто тебя здесь не ост-тавит. Наш редактор - генерал, а генералы обладают даром уб-беждения. Не

возражай мне, тут нет ничего неудобного, ты же просишься в санитарки, а не в премьерши ансамбля песни и п-пляски! Твой отец останется здесь и до завтрашнего утра будет думать, что ему с тобой делать д-дальше. А ты поедешь ко мне и будешь до завтрашнего утра есть, мыться и сп-пать у меня дома, в п-промежутках удовлетворяя нездоровое любопытство моей мамы, Берты Б-борисовны. Лично я сп-пособен удовлетворить чье угодно любопытство, кроме маминого. Посмотрим, как с этим сп-правишься ты. Ну, так к-как? повернулся он к Лопатину. - - Ты, как всегда, умней всех.

- Спасибо. Мое тщеславие удовлетворено, и мы удаляемся, потому что мне некогда, п-передо-вая есть п-передовая.

Нина, поднявшаяся, когда вошел Гурский, подсела к Лопатину на кровать, поцеловала его и тихо спросила:

- Ты согласен, так все будет правильно? Он ничего не сказал, только кивнул.

- П-пошли. - Гурский взял за руку Нину и двинулся к дверям, но остановился. - Тебе пришло в редакцию п-письмо от ее матери, и я хотел было вернуться и отдать его тебе втихую, без

твоей дочери, но в последний момент уст-тыдился, это было бы не по-товарищески по отношению к ней. - Он отпустил руку Нины, подошел к Лопатину и отдал ему письмо Ксении. Судя по толщине конверта, наверное, длинное. Лопатин посмотрел на дочь, и ему показалось, что она тоже заметила толщину конверта.

- Это она, наверное, тебе про обмен квартиры. Она мне еще три месяца назад написала про это, просила, чтоб я на тебя подействовала.

В голосе ее был недетский холодок.

- П-пошли. - Гурский снова взял ее за руку и потянул за собой из палаты.

2

Лопатин положил письмо Ксении на табуретку, туда же, где лежало письмо сестры, и, закрыв глаза, вспомнил дочь маленькой, семилетней, когда они с Ксенией отводили ее первый раз в школу. У нее и тогда были длинные-предлинные ноги, и он дразнил ее жирафой, но она не обижалась: жирафы ей нравились за то, что они быстро бегают. А "потом она стала нескладным подростком, у которого все было не так, как хотелось матери.

"Ну почему, почему? - говорила Ксения. - Я во время своих мучений думала только о красивом, а она все больше и больше похожа на тебя".

Родила она легко, едва успев доехать до родильного дома, но, вспоминая роды, всегда повторяла слово "мучения", оно ей нравилось, а то, что ее дочь похожа на Лопатина, - не нравилось,

потому что у нее с самого начала все было задумано по-другому: чтобы Нина была похожа на нее и все обращали на это внимание.

А теперь Нина была не похожа ни на кого из них двоих. Вдруг снова появились длинные ноги, только не тогдашние тонкие, как у жеребенка, а стройные и сильные, как у бегуньи, и вся стать не материнская - с покатыми плечами и доброй ленью, а какая-то задорная, размашистая. А лицо - как групповой фамильный портрет.

Лопатин усмехнулся. Вся нелепость их семейной жизни с Ксенией, вся их несоединимость друг с другом, словно в насмешку, отпечатались на лице дочки: прекрасные глаза Ксении и между ними его, лопатинский, нос. Да, не повезло девке с этим носом, хорошо бы не оседлывать его еще и очками, обойтись без этой наследственности. Он уже раз спрашивал ее в письме: как с глазами? Отвечала, что хорошо. Но может быть, все-таки послать ее к окулисту, пока она будет здесь, в госпитале?

А тогда в школу они с Ксенией вели ее за руки, один за одну, другой за другую. И Ксения потом любила вспоминать этот день, а если на нее нападала меланхолия, говорила, что это был последний счастливый день в их семейной жизни.

Это была неправда. Счастливые дни в определенном смысле этого слова были у них и потом, иначе не прожили бы еще семь лет. А счастливых дней в том идеальном смысле, который имела в виду Ксения, уже давно не было и до этого. Просто была запомнившаяся Ксении умильная картинка: папа и мама, держа один за правую руку, другая - за левую, вели дочку в первый класс школы начинать новую жизнь. Вели каждый за свою руку и думали об ее будущем каждый по-своему.

И еще Ксения любила говорить, что ей потому так вспоминается этот день, что он, Лопатин, постепенно лишил ее радости следить за тем, что происходит с девочкой в школе. "Да, - без раскаянья подумал Лопатин. Сначала и не думал лишать, а потом как-то само собой постепенно вышло, что лишил. После ее глупых, а в сущности, безнравственных разговоров с учителями все, что было связано со школой, раз и навсегда взял на себя". Да и не так уж это было и трудно. Сладкая возможность говорить об этом как о лишении стала для Ксении привычной и вполне заменила ей то, чего она лишилась.

Он подумал о ее письме, которое ему предстояло прочесть.

Да, конечно, живя с ней, по каким-то пунктам он никогда ей не уступал. Таким пунктом была работа, те, не подлежавшие семейному обсуждению четыре часа в день, Когда Ксения могла хоть кулаками стучать в запертую дверь его комнаты, грозя слезами, ссорой, уходом - чем ей заблагорассудится. Таким

пунктом были его поездки, иногда далекие и долгие, от которых, уже решившись, он никогда потом не отказывался, хотя перед каждой из них выяснялось, что она не желает оставаться без него одна - вначале это было вполне искренне, впоследствии - вполне неискренне. Но где кончилось одно и началось другое, он затруднился бы ответить.

Третьим пунктом была дочь и то, что он считал ее воспитанием. Оно сводилось к тому, чтобы стараться быть справедливым и не становиться на сторону дочери только потому, что она твоя дочь; знать, что она думает, то есть требовать от нее правды и самому говорить ей правду. Во всяком случае, о себе. В сущности, он хотел, чтобы их дочь стала им, а не Ксенией. И его жена, хотя и не сразу, поняла это.

Вот, пожалуй, и все пункты, где он стоял на своем, и сколько ни пробовала сдвинуть его Ксения. так и не сдвинула.

А вся остальная их жизнь шла через пень-колоду, в духе полного взаимонепонимания, как пошутил когда-то Гурский, заставший клочок их семейного быта в первое лето войны.

В невеселом старом анекдоте, кончавшемся утренней просьбой женщины: "Ну а теперь скажи мне, что ты меня уважаешь", - было что-то, горько напоминавшее ему его собственную семейную жизнь. Так это бывало и у них только не просьба, а требование: "Ну а теперь скажи мне" что ты меня уважаешь!" И сколько раз он всуе исполнял это требование, исполнял уже в ту пору, когда тянуло ответить: нет, не уважаю. Но как после такого ответа жить вместе завтра и послезавтра?

Чем беспощадней он думал сейчас о своей жизни с Ксенией, тем ясней ощущал, что одно из двух - или безнравственно вспоминать так о женщине, с которой прожил пятнадцать лет, или - раз не можешь вспоминать о ней по-другому - значит, безнравственно было жить с ней. Если не с самого начала, то с какого-то дня и часа. Есть что-то непростительно рабское в многолетней власти чужого тела над твоей, чужой этому телу, жизнью.

"Но отлетела от любви душа, а тело жить одно не захотело", - вспомнил он читанные ему вслух на фронте стихи одного из нынешних молодых поэтов. Вспомнил и усмехнулся простоте решения задачки. В жизни у него вышло потрудней: душа-то отлетела, а тело все-таки захотело жить и дальше, и еще долго и унизительно хотело. Унизительно не потому, что домогался, - нет, этого не было, с этим все, как говорится, было у них хорошо. Но в самом этом "хорошо" было тоже что-то унизительное, какая-то - черт ее знает игра в жмурки с человеком, на которого потом, развязав глаза, смотришь, как на что-то чужое и несовместимое с

тобой.

Мысли были не новые, только более жестокие, чем обычно. Приехавшая сегодня девочка с ее желанием, Кончив курсы медсестер, ехать на фронт, была оправданием его стойкости в той прежней семейной жизни. Но рядом с собственной стойкостью собственная слабость казалась еще очевидней. А письмо Ксении, хочешь не хочешь - все равно надо читать, а прочитав его, что-то делать, потому что письмо толстое, а толстые письма она пишет, когда для нее надо что-то сделать.

Скосив глаза на письмо, он бессмысленно представил себе, что Ксении вообще не было. Просто-напросто не было, нет и не будет - ни раньше, ни теперь, ни потом.

Он резко повернулся на койке, чтоб взять письмо, и чуть не вскрикнул: ребро почти срослось, но при каком-то, еще не уловленном до конца, движении давало себя знать - задевало плевру.

Оттягивая необходимость читать письмо Ксении, он сначала взял все-таки письмо от сестры.

"Я рада, что она едет к тебе, она учится хорошо и, если не задержишь ее дольше недели, школу кончит нормально. Не вздумай оставлять ее с собой. Думай о ней, а не о себе. До сих пор тебе это удавалось. Ты будешь уезжать и приезжать, а она - болтаться без тебя в Москве, куда в любой момент может явиться ее мать. Наедине с этой проблемой ей пребывать еще рано. Пусть возвращается, кончает школу и идет на курсы медсестер. Влияние не мое, а хирурга из госпиталя, где она дежурила, но я одобряю. Иногда слышу, что мы, педагоги, до войны как-то не так воспитывали своих учеников. Не уверена в этом. Заранее воспитывать в детях готовность убивать себе подобных не бралась и не берусь. Бралась и берусь воспитывать в них только честь и совесть, которые продиктуют им, как поступать в жизни, в том числе на войне. Столкнулась с людьми, думающими иначе, в том числе с человеком, который при этом считает себя педагогом, а меня пацифисткой. Скажи свое мнение об этом своей дочери. Она склонна считать, что прав он, а не я, потому что он воевал, он инвалид войны, а я невоевавшая и не нюхавшая войны старуха. Что невоевавшая - верно, что не нюхавшая войны - неправда: нюхала и нюхай ее каждый божий день. Медики не педагоги. Медики всегда правы. Тем более, когда война. Пусть идет в медики. Я за это. Не давать живому делаться мертвым - самая бесспорная профессия. Письмо дам прочесть твоей дочери. Обо всем этом с нею не раз говорено. Мой Андрей Ильич шлет тебе привет, он, к сожалению, плох. Нина объяснит тебе. Будь здоров. Анна".

Интересно, кто этот инвалид войны из педагогов, не новый ли директор их школы, с который Анна Николаевна уже успела схлестнуться?" Лопатин вспомнил, как вскоре после его женитьбы Анна Николаевна, остановившись у них в Москве, вечером выслушала первую исповедь Ксении, а утром съехала от них к своим знакомым.

Ксения плакала я говорила, что ни в чек не виновата и ничего не понимает.

Лопатин поехал объясняться с сестрой, которая заявила ему, что нежелание его жены разобраться в собственных чувствах, прежде чем вываливать их на первого попавшегося родственника, есть не что иное, как привычка жить за чужой счет, - не за счет чужого кармана, а за счет чужой души, что еще хуже.

Выслушав это, Лопатин спросил ее: "А что ты сказала Ксении?" "Сказала, что я дура, неспособная выдерживать рассказы жен об их отношениях с их мужьями. И она с сожалением посмотрела на меня как на действительную дуру, которая лишает себя в жизни самого интересного. А тебе скажу другое: думаю, что вы с ней - люди, живущие по разным духовным законам, и тебе предстоит одно из двух: или найти в себе силы ц заставить ее жить по твоим духовным законам, или поднять руки вверх. Что-нибудь третье вряд ли возможно!"

Тут она ошиблась. Вышло как раз третье. Ксения продолжала жить по своим духовным законам, а он - по своим. Другой вопрос, что его старшая сестра не считала это жизнью.

Нет, судя по ее письму, тетка не так уж сдала, как показалось племяннице. Может быть, девочке било в глаза несоответствие между силой духа и слабостью плоти и у нее появилось материнское чувство по отношению к больной старухе? Перед соблазном побольше взять на себя сильные натуры беззащитней слабых.

Да, сильная. Так ему казалось по некоторым письмам дочери, показалось и сегодня. Хотя война перетолкла на его глазах в одной ступке все поколения, все-таки хуже всего он знал тех, кому сегодня еще нет полных семнадцати, тех, которые в большинстве своем еще не были и, дай бог, не будут на войне! Как увидеть и понять войну их глазами? Что-то он уже понял из ее писем, пришедших за эти годы из Сибири; что-то, но далеко не все. Там, на дежурствах в госпиталях, главным звуком войны для этих девочек был стон раненого. Салюты - это по радио. А ночью в палате - стон и бормотанье, вопли боли, клокотанье предсмертной пены в горле. И, слыша этот, именно этот звук войны, все-таки решение - на курсы сестер, а потом - на фронт. Так что же там, внутри, под этой решимостью? Жажда участия в

чем-то самом-самом трудном и самом-самом страшном, последствия которого - все эти костыли, культи, дренажи, гной, перевязки с отмачиванием, со скрипом зубов? Боязнь разминуться, пусть с самым тяжелым, но и с самым главным в жизни, не пропустить его? Или просто желание быть не хуже отца и там, где он? Или, наконец, какой-то уехавший на фронт добровольцем мальчик, провожая которого поклялась оказаться там же, где он, и верит, что это возможно? Война идет уже скоро три 'года, а представления, какая она на самом деле и как мало на ней зависит от собственного выбора, все еще нет...

3

- Василий Николаевич, в шахматы не сыграете?

Лопатин открыл глаза. Оказывается, он, задумавшись, так и полусидел на койке с закрытыми глазами, словно это помогало лучше вглядеться в душу дочери.

Над ним, держа под мышкой шахматную доску, стоял вернувшийся после долгого перекура капитан.

- Нет, Миша, сейчас не сыграем. У меня еще почта не дочитана. Лопатин взял с табуретки письмо Ксении и кивнул на продолжавшего похрапывать под одеялом соседа. - Сыграйте с полковником, ему пора и побудку объявить.

- Мне с ним неинтересно, - сказал капитан. - Я ему фору даю, а вы меня, как фриц в сорок первом, бьете и бьете; закаляете мою волю к победе.

- Коли так, на ночь глядя сыграем партию. Закалять, конечно, закаляю, но до выписки побед надо мной не ждите. Когда у вас комиссия?

- Сейчас сказали, как и у бас, через три-четыре дня.

- Тем более. Перелома в наших с вами военных действиях не произойдет.

- Не думал тогда о вас в Крыму, что вы так сильно в шахматы играете, сказал капитан.

- Не думали, потому что я казался вам старым, не способным ни на что лопухом, а вы мне - нахальным адъютантиком. Только потом, когда везли Пантелеева и вы над ним полдороги проплакали, понял, что вы - другой, чем сначала подумал.

- А я часто вспоминаю Пантелеева, - сказал капитан. - Особенно этой весной, когда Крым обратно брали, часто думал - как его нам теперь не хватает.

- А не приходило вам в голову, как ему тогда не хватало вас, теперешних? С вами, с теперешними, Крыма-то, наверное, не сдали бы! А с вами, с тогдашними, пришлось сдать. А как было сделать, чтобы все мы, с самого начала войны, оказались, не тогдашними, а нынешними, не берусь ответить. Хотя иногда

фантазирую - пересаживаю на машине времени всех нас с нашим нынешним опытом обратно, в начало войны, - и не сдаю немцам Крыма. Да и многого другого.

- В шахматы и то обратно ходов не берут. А на войне тем более, сказал капитан. - Раз не будете со мной играть, пойду в коридор, кого-нибудь поймана - И, уже направляясь к дверям, спросил: - А ваша дочь в шахматы играет?

- В письмах не сообщала, но все возможно. Завтра спросите сами.

- С вашего разрешения, спрошу.

- Можно и без разрешения.

- Смотрите, Василий Николаевич, я ведь неженатый.

- Спасибо, что напомнили, теперь буду следить в оба, - улыбнулся Лопатин, с запоздалым удивлением подумав, что его дочери - семнадцать и для нее, как это ни странно, уже может иметь значение - женат или не женат этот двадцатипятилетний гвардии капитан Велихов с его тремя пулевыми ранениями а с его тремя орденами и Золотой звездочкой в несгораемом ящике в канцелярии госпиталя.

Десять дней назад он явился из другой палаты в эту, с костыликом и шахматной доской под мышкой.

- Товарищи офицеры, разрешите обратиться. Тут сестричка мне доложила, что кто-то из вас имеет не то первую, не то вторую категорию по шахматам.

- Насчет второй не знаю, первую когда-то имел я, - сказал Лопатин, - А вы?

- А я уж было за. вторую зацепился, во война помешала. Сыграем?

- Сыграем, - ответил Лопатин и, пока, сев на табуретку и прислонив к стене костылик, капитан расставлял шахматы, внимательно смотрел на него. Этого человека Лопатин где-то видел. Но что-то мешало узнать его: то ли выбоина под глазом в скуле, придававшая странную асимметрию его пригожему лицу, то ли халат и костыль, то ли фронтовая бывалость в повадке и хрипотце голоса, не совпадавшие с мелькнувшим в голове воспоминанием. И только когда капитан протянул на выбор зажатые в кулаках пешки, совсем близко увидев его молодые, намного моложе остального лица глаза, Лопатин вдруг и сразу вспомнил все.

- Скажите, Велихов, я не ошибаюсь, это действительно вы? - спросил он, хотя уже знал, что не ошибся.

И, достав из-под подушки, надел очки, которые иногда снимал, потому что устаешь целыми днями лежать в очках.

- Вот теперь и я бы сразу вас узнал, - обалдело сказал

Велихов. И долго, и осторожно тряс ему руку.

Да, как ни странно, это был все тот же Велихов, ставший из свежеиспеченного адъютанта при большом начальстве командиром стрелкового батальона в той же самой своей, некогда Особой Крымской, армии, в сорок первом отдавшей, а теперь, в сорок четвертом, обратно взявшей все тот же самый Симферополь.

Там, в третий раз за войну, тринадцатого апреля этого года он был ранен в ногу, на той самой улице, по которой они в сорок первом ночью везли убитого Пантелеева. Где и как был ранен - рассказал в первый же день, а что, ворвавшись в Симферополь в голове своего батальона, получил за это Золотую звездочку - только на третий, объясняя, почему он, капитан, попал в эти палаты для старших офицеров, где по большей части лежат от майора и выше. Было в этом нынешнем Велихове что-то заядлое, когда он говорил о войне. Беспощадно ругал себя и других за все, что в разное время не смогли или не сумели, хотя был" не дурак и понимал, что войне за один день не научишься. И в шахматы тоже играл заядло, холодея от страсти и упрямо веря, что в конце концов хоть одну партию, а выиграет. И хотя ему оставалось до выписки всего несколько дней, но чтобы наиграться до упаду, добился своего и перевелся вчера к Лопатину на освободившееся место. И была в его страсти к шахматам не только любовь к самой игре, а еще и какая-то сила заведенной на всю войну пружины.

И жалко было сейчас отказать и не сыграть с ним партию, и не так уж хотелось читать толстое письмо Ксении. Но надо было заставить себя и прочесть.

Письмо Ксении начиналось просьбой никуда не уезжать. "Я сначала ужасно переволновалась за тебя, когда узнала, впрочем, думаю, ты все понял из моей телеграммы".

Из ее телеграммы он понял, что она со старанием сочинялась и, наверное, не раз читалась по черновику знакомым. В телеграмме было написано, что, как бы ни складывались их отношения, она всегда беспокоилась за него и всегда молила и будет молить бога, чтоб он остался жив и невредим. В бога она не верила, но "молить бога" было сейчас модно, во всяком случае, среди актрис - вот она и молила.

Теперь в письме предполагалось, что он уже успел выздороветь и готов снова ехать на фронт, но не должен делать этого, пока она не приедет в Москву. "Дождись меня, потому что дело, из-за которого я приеду, слишком важное для нас обоих". Слишком важное для них обоих дело сводилось к тому, что он должен теперь же заняться вместе с нею обменом квартиры. Ему предстояло вселить к себе - в две комнаты из трех - каких-то

людей, которые жили в одной квартире с ее нынешним мужем, - у него в Москве была не квартира, как она раньше говорила, а комната, - а Ксения должна была, получив взамен две комнаты этих людей, съехаться со своим нынешним мужем и жить с ним, как она выражалась, в человеческих условиях. Оказывается, накануне отправки этого письма ее нынешний муж вернулся из Москвы, куда летал по делам, связанным с возвращением их театра, и она выписала ему на бумажке все, о чем ему надо поговорить с Лопатиным. Как мужчине с мужчиной, в связи с предстоящим квартирным обменом, но: "...узнав, что хотя ты и выздоравливаешь, но все еще лежишь в госпитале, Евгений Алексеевич из-за своей щепетильности не захотел тебя беспокоить. А я приеду и побеспокою, уж такая моя доля". В том, как она об этом писала, чувствовалась досада на излишнюю щепетильность ее Евгения Алексеевича.

Как следовало из дальнейших объяснений, она считала, что Лопатин должен ей помочь, потому что это нужно для ее счастья с ее новым мужем и для счастья ее дочери.

По началу письма Лопатину казалось, что Ксения вообще забыла об их дочери, которой тоже предстоит где-то жить. Но нет, оказывается, все-таки вспомнила.

"Не знаю, может быть, после войны мы с тобой будем уже не нужны ей, может быть, она полюбит кого-то и выйдет замуж". Прочитав это, Лопатин усмехнулся: "Коли негде жить, так, конечно, лучше всего замуж, да поскорее". "А если нет, - писала Ксения, - если я еще буду ей нужна, то я всегда приму ее к себе, где бы и как бы я ни жила, пусть хоть в одной комнате, пусть хоть сидит у меня на голове, все равно сделаю это без колебаний, потому что мать есть мать".

"А почему в одной комнате и почему на голове? - с вдруг вспыхнувшим раздражением подумал Лопатин. - Почему на голове, когда она собирается меняться и жить вдвоем со своим теперешним мужем в трех комнатах? Почему на голове? Потому что ей, матери, так и не пришла в голову самая естественная мысль, что одна из трех комнат, которые, к их великому и не частому в Москве счастью, были у них троих до войны, - это комната ее дочери, из которой ее дочь может захотеть и не захотеть уехать".

Да, конечно, она в не злая, и не жадная, и не грубая, и если на нее найдет соответствующий стих, то может, тем более у кого-нибудь на глазах, неделю смиренно ходить на цыпочках, заплетать косички, поить в кровати молоком и, пока не надоест, играть в дочки-матери. Играть - да! Но написать про себя "мать есть мать"?

Лопатин вспомнил исхудалую, маленькую, как ребенок, казахскую старуху, которую он видел в поезде, когда полтора года назад зимой ехал в Ташкент. Она была такая маленькая, что почти не верилось, что ехавшие с нею две рослые женщины - обе от нее, и шестнадцатилетний мальчик, высокий, выше нее на голову, самый младший ее сын, - тоже от нее, и набившиеся все вместе в одно купе - еще три девочки и два мальчика - внучки и внуки - тоже от нее, что вся эта семья - от нее. Глядя на нее тогда, он подумал, что она отдала им все, что все они - здоровые, крепкие - вышли из нее, и поэтому она и осталась вот такая маленькая, исхудавшая, без живота, без груди, дочти без тела; и все, что у нее еще было, - лишь остаток того, что она отдала им, почти ничего не оставив себе. Он даже записал тогда эту, поразившую его, мысль о жертвенности материнства, на которую натолкнулся среди войны. Тогда записал, а сейчас вспомнил, подумав о Ксении. "Мать есть мать". Какая ты ей мать, хотя ты ее и родила и даже почти два месяца кормила сама, пока не появилась одна из твоих кукушек-подруг и не убедила за один присест, что ты испортишь этим грудь...

Все эти, всколыхнувшие прошлое, мысли надо оставить при себе, но об остальном, о сути письма, придется говорить с дочерью, и хорошо, что она приехала.

Хотя письмо Ксении, особенно под конец, рассердило Лопатина, в практическом смысле она по-своему была права. Война идет три года, и неизвестно, сколько еще продлится, он жив, дочь выросла, его бывшая жена вышла замуж и собирается вместе с мужем и театром вернуться из эвакуации в Москву, стало быть, следует, не откладывая до конца войны, определиться: кто, где и как намерен жить дальше.

В последнее время московский быт Лопатина складывался между поездками на фронт не совсем так, как ему думалось весной сорок второго года, когда он, давая вольную жене, сказал, что их московская квартира будет не нужна ему до конца войны. Она уже давно была нужна ему, не до зарезу, но нужна. На казарменном положении в редакции уже давно никто не жил; в гостинице "Москва", где когда-то на шестом этаже ютились корреспонденты, теперь москвичей уже не селили. В последние два своих приезда с фронта, осенью и зимой, он жил у Гурского, который еще не привез тогда из эвакуации мать. Короче говоря, выйдя из госпиталя, после которого сразу на фронт не пошлют, жить в Москве будет негде, хотя придется где-то сидеть и писать - и обещанный редактору рассказ, и никому, кроме себя, не обещанные дневники, запущенные из-за ранения и из-за того, что уже полтора месяца, никогда не оставаясь один, лежишь между

кем-то и кем-то. Ему хотелось вернуться домой, в свой кабинет, спать там на своей привычной тахте и скрипеть перышком за своим привычным столом. И плевать он хотел на все остальное! Горечь давно успела превратиться в оскомину, а с оскоминой жить можно. В последний год от возвращения в квартиру его удерживали только собственные слова, когда-то сказанные Ксении. Он не привык неаккуратно обращаться со словами.

Сегодняшнее письмо Ксении при всех его глупых подробностях упрощало дело. Как быть с остальным, следовало подумать, но явится Ксения или не явится, уедет или не уедет он на фронт до ее появления в Москве, чтобы перебраться из госпиталя домой, в свой собственный кабинет, не оставалось никаких, самому себе придуманных препятствий.

Сосед справа, полковник-артиллерист, уже не спал и, сидя на койке, прилаживался, как ненадежнее стать на костыли - собирался выйти. Он так же, как и Велихов, был ранен в ногу, но потяжелее.

- Долго же вы спали, - сказал ему Лопатин.

- А что еще делать, когда войны нет? - Полковник, приладясь к костылям, встал на них. - Пошкандыбаю, разведало, где лежит командир нашего батальона связи, некто Трофимов, подполковник. Не встречались с ним, когда бывали у нас в армии?

- Нет, - сказал Лопатин.

С подполковником Трофимовым он не встречался, так же как и с этим полковником-артиллеристом, так же как и с тысячами других людей, составлявших ту армию, в которой он бывал. Сколько ни пробудь даже в одной и той же армии, все узнанное там - лишь крупица неузнанного.

- Интересно понять, где теперь, после Крыма, наша армия, - сказал полковник. - Из одного письма усмотрел, что на Белорусских фронтах. Приезжай, пишут, поправляйся. Дышим самыми полезными для здоровья запахами: елкой и березой. Намекнули, что не кипарисами.

Полковник проковылял из палаты в коридор, а Лопатин подумал, что хорошо бы, когда начнется летнее наступление, угадать именно в их армию, которая дышит теперь елкой и березой. Тех, кто остается жив, война чем дальше идет, тем чаще возвращает к прошлому. И не такая уж случайность, что здесь, в госпитале, оба твоих соседа из двух армий, в которых бывал раньше. Когда на всех других фронтах уже затихало, самые последние и жестокие весенние бои вели в Крыму как раз обе эти армии, и та, из которой полковник, и та, из которой Велихов, и если обойти госпиталь, наверное, каждый третий долечивающий

раны офицер сейчас оттуда, из Крыма.

Все, о чем он думал сегодня после встречи с дочерью, вышибло его из привычной колеи войны, а мысли, пришедшие сейчас, вновь вернули -туда. Да, еще последний день весны, еще не лето, - он оглядел палату, где вольготно стояли всего три койки и куда при нужде можно воткнуть еще три.

"И воткнут! Начнется наступление и - как только начнется - набьют до отказа все госпиталя и легкими, и тяжелыми, и безнадежными..."

Он, сам не желая того, вдруг вспомнил свой первый разговор с той женщиной, о которой уже давно старался не думать, - разговор об ее отце и о госпитале для безнадежных.

4

На следующее утро, сразу после выхода газеты, приехал невыспавшийся редактор, не заходя к Лопатину, поговорил и с главным и с лечащим врачом и все перевернул по-своему.

- Тоже мне, придумали с Гурским - две умных головы - ерунду какую-то, - вместо приветствия сказал он. - Я не для того твою дочь из Сибири вызывал, чтоб в санитарки пристраивать.

- А ты бы меня спросил, прежде чем вызывать.

- А чего тебя спрашивать? Не рад, что ли?

- Рад.

- А если рад, поезжай и живи с ней у себя на квартире. Ключи твои, которые у нас в АХО лежали, велел отдать ей.

- А мне когда прикажете отбыть на квартиру, товарищ генерал? - спросил Лопатин.

- Тебе через три-четыре дня. Я уже договорился. Последние рентгены и прочее сделают и отпустят. А она, чем тут горшки носить, пусть пока там уберется. Небось у тебя там - хлев!

- Кто его знает, - пожал плечами Лопатин. Прошлым летом, когда он был на фронте, Ксения, не застав его в Москве, завезла ему в редакцию сделанные ею вторые ключи и записку, - что прибрала квартиру. Так что квартира была убрана. Но произошло это без малого год назад. И как убрана, неизвестно.

- Дочь приберет, и переедешь, - сказал редактор. - Захочешь оставить ее у себя в Москве - оставишь. Надо будет что-то сделать для этого сделаем. Врачи отпускают тебя с условием пока не выходить. На это время харчей подкинем. Да и коммерческие магазины работают, а деньги у тебя, как я понимаю, раз книга вышла, есть.

Лопатин рассмеялся. Редактор и Гурский, с их любовью решать за других, были два сапога пара!

- Подумал, как бы ты мною командовал не в редакции, а где-нибудь на фронте. Интересно!

- Если пошлют на фронт, могу к себе вызвать. Там увидишь, интересно или неинтересно. А пока берясь за рассказ. Еще не начал?

- Пока нет.

- Тем более. Поезжай домой и берись! На фронте тишина, а в газете пусто. Самое время для рассказа на пять-шесть подвалов, с продолжениями. А то, пока рассусоливаешь, начнутся события, все полосы забьют, и рад бы - да некуда!

Редактор наморщил лоб, силясь вспомнить что-то еще, что нужно было сказать Лопатину, и, помолчав, все-таки вспомнил:

- Как себя чувствуешь?

- Со вчерашнего дня совсем хорошо. Спасибо, что дал возможность увидеть дочь. Хорошо понимаю, насколько это недоступно для девяноста девяти из ста оказавшихся в моем положении. И она тоже понимает. Так что спасибо от нас обоих.

- "Спасибо" на полосу не поставишь, - сказал редактор. - Нужен рассказ. Раз не можешь его тут начать, хотя бы подумай над ним в оставшиеся три дня,

На том и расстались. А ровно через трое суток после этого Лопатин вместе с дочерью ехал из госпиталя к себе на квартиру, в которой, считая с внезапного приезда и такого же внезапного отъезда Ксении в декабре сорок первого, не был два с половиной года. Странное это было чувство, чем-то похожее на возвращение с войны. Привык к мысли, что не вернется в свою квартиру до конца войны. А теперь выходило так, словно не дотерпел.

В госпиталь его привезли лежачего, на санитарной машине. Сквозь проливной дождь тогда не было видно ничего, кроме крыш и верхних этажей домов. А сейчас ехал сидя рядом с дочерью в "эмке", правда, с закрытыми стеклами, чтобы не простудиться после плеврита. Но за этими стеклами Москва была летняя, теплая, женщины шли в платьях и без чулок, - то ли радовались нахлынувшему вдруг лету, то ли хотели сберечь чулки до осени. Где их сейчас возьмешь, чулки?

За эти три дня он мало видел дочь. И когда она по вечерам, замаянная уборкой, добиралась к нему в госпиталь, поскорей гнал ее обратно - спать, откладывая предстоящие серьезные разговоры на потом, когда окажутся дома.

И сейчас, пока ехали через Москву, говорили о сегодняшнем, житейском.

- В коридоре и на кухне, где крашеные полы, совсем хорошо отмылось, говорила дочь. - А в комнатах паркет - никак не оттирается, сколько ни мыла. Кухонным ножом скребла, все равно черный! И много паркетин совсем повылетало. Василий Иванович вчера помогал мне, прибивал.

- Конечно, повылетало, - не оборачиваясь к ним, сказал водитель. - Два лета взаперти пересыхал. А из трех зим, только эту, можно считать, топили, вот и повылетало.

- Спасибо, - сказал Лопатин,

- Не за что, - по-прежнему не поворачиваясь, сказал Василий Иванович. - Вижу - старается, а не умеет.

Василия Ивановича Лопатин знал еще с финской, где он возил на "эмке" редактора.. А в эту войну, когда у редактора появился ЗИС, по Москве на ЗИСе его не возил. Остался при своей чиненой-перечиненой, но всегда исправной "эмочке" и возил на ней на фронты то редактора, то корреспондентов. Был он человек хмурый и немолодой, ездил на бронеавтомобиле еще в первую мировую и к Лопатину, как к своему ровеснику, относился снисходительней, чем к другим. Слово "старается", сказанное им про дочь Лопатина, означало высшее одобрение. ,

Но Нина, не понимая его характера, - оправдывалась, что та Mr в Омске, - и дома у тетки, и в госпитале - полы всюду крашеные, и она их умеет мыть так, чтоб и чистые были, и в щели не затекало, а здесь, с паркетом, ничего не вышло.

- А в кранах такая ржавая вода, - говорила она. - еле дотерпела, пока ржавчину спустила: воды-то жалко.

И Лопатин вспомнил, что там, в Омске, у сестры они таскали воду ведрами из колонки.

Доехав до дому и поблагодарив Василия Ивановича, Лопатин стал вместе с дочерью подниматься к себе. По этой же лестнице два года назад, проводив Ксению до дверей и так и не зайдя с нею в квартиру, он спускался вниз, а она глядела ему вслед.

Отобрав у отца, Нина сама волокла вверх по лестнице тяжелый чемодан. Там, в госпитале, она еле-еле запихнула в него, поверх еще отдававшего дезинфекцией обмундирования, все книги, за месяц притащенные отцу Гурским.

Лопатин впервые с начала войны возвращался домой в штатском костюме, который дочь, вычищенный и выглаженный, привезла ему в госпиталь вместе с рубашкой, бельем, ботинками и шляпой. Костюм оказался впору, и Лопатину было даже приятно, что война ничего с ним не сделала - и не усох, и не раздался - такой же, каким был. Только странно, что все лежит не там, где привык, - пистолет в заднем кармане брюк, а не на ремне; очешник с запасными очками - не в правом нагрудном кармане гимнастерки, как всегда, а в пиджаке, в боковом; документы не в левом нагрудном, а во внутреннем пиджачном.

Оказывается, привычка к обмундированию начинается не с того, как в нем выглядишь, а с того, где что лежит - - усмехнувшись, подумал он. - Если бы сейчас продолжал курить,

полез бы за папиросами и спичками в брюки, а не в карманы пиджака..."

Дочь открыла дверь другим ключом, чем- он помнил. Значит, Ксения в прошлом году не только заказала вторые ключи, а и врезала другой замок.

"Смотри, какая хозяйственная, даже не похоже, - подумал Лопатин. - Кто это ее надоумил? Новый муж, что ли?"

Подумал мимоходом, но, когда вошли в квартиру, пришлось вернуться к этой мысли. Как объяснила Нина, на том колечке с ключами, которые ее мать оставила в редакции, ключей было два - от входной двери и от комнаты Лопатина, которая отроду на ключ не запиралась. В ней была только задвижка изнутри, которую Лопатин собственноручно приделал после того, как Ксений взяла в привычку выяснять с ним отношения по утрам, пока он сидел и писал. А теперь она, оказывается, врезала замки не только во входную дверь, а и в двери его кабинета, собственной комнаты и даже в двери третьей, маленькой комнаты, которая называлась у них столовой, хотя на самом деле с первого же дня их жизни здесь была комнатой дочери, а в столовую превращалась лишь изредка, по вечерам, когда приходили гости, и Нина перебиралась из нее учить уроки, а иногда и спать в комнату отца.

- Когда мы в первый раз пришли сюда с дядей Борей, я даже растерялась, не знала, что делать, - сказала она.

"Все-таки приучил ее называть себя дядей Борей", - отметил про себя Лопатин. И вспомнил. как однажды, когда они оба в один день уезжали на разные фронты, Гурский сказал: "Д-давай условимся. Если вдруг дашь дуба ты, я уд-дочерю твою д-дочь. А если дам д-дуба я, т-тебя удочерит моя мама..."

- Он ужасно рассердился, - сказала Нина про Гурского, - спустился в машину, и они вместе с водителем взломали дверь. Я сначала поспорила с ним, что не надо, что я буду спать у тебя, но он сказал, что не потерпит никаких "мюнхенов"! И стал ломать дверь. А я замолчала, потому что вспомнила, как ты, когда пишешь, не любишь, чтоб у тебя сидели над душой. Когда я уеду, ты можешь вставить этот замок обратно, чтобы мама не обижалась...

- И не подумаю, - сказал Лопатин. - Ее-то комнату, надеюсь, не взламывали?

- Нет, конечно.

- Ну и слава богу, - сказал Лопатин, подумав, что изложенная Ксенией в письме идея насчет обмена двух комнат возникла у нее, стало быть, еще в прошлом году.

Он прошел на кухню, потом в столовую, потом в свою

комнату - всюду была наведена чистота.

Взяв за спинку свое, стоявшее у письменного стола кресло, он покачал его - попробовал; не расшаталось ли? - и сел, привычно опершись локтями на стол.

Давно уже он не сидел за этим столом, почти два с половиной года!

Приучив себя к бездомности, было легче не менять заведенной, казалось, уже на всю войну, колеи: с фронта в редакцию - из редакции на фронт! А вот так, привычно положив локти на стол, хотелось задержаться тут и никуда больше не ехать...

- Я тебя всего несколько раз видела в военном, - сказала Нина, стоя перед ним и внимательно разглядывая его. - А все равно, никогда, там, в Омске, не вспоминала тебя в штатском. Не знаю, но мне, наверное, было бы стыдно, если б ты был не на войне...

- Это, положим, ересь.

- А мне все равно было бы стыдно. Может, приляжешь?

- Нет уж, с вашего разрешения, посижу. Для того и приехал, чтобы вот так сесть и посидеть..

- Ты сиди, а я приготовлю позавтракать. Утром ничего не успела, проспала. Так люблю спать - даже совестно. В поезде столько спала, что все удивлялись!

Она вышла из комнаты. А он остался один и несколько минут просидел, глядя на висевшую над столом старую фотографию, на которой снялся вместе с тремя пограничниками и одним штатским во время переписи тысяча девятьсот двадцать девятого года, на Памире. Он тогда попал в первую в своей жизни переделку, и если б не эти трое пограничников, все бы кончилось плохо. Ему впервые пришлось стрелять из винтовки и слышать, как рядом кричал от боли раненый. На другой день они снялись на память впятером, шестой лежал в лазарете.

Рассказывает или не рассказывает потом человек о таких вещах, молчит или врет, все равно впервые пережитый страх остается в глубине памяти.

И даже то нелегко приобретаемое свойство, которое называем привычкой к опасностям, совсем не привычка, а насильственно выработанная в себе готовность к встречам с ними. И сколько бы ни повторялась опасность, душа все равно содрогается перед ее очевидностью. Другое дело - ноги, руки, губы, голос - Другое дело - не позволить им подгибаться, трястись, дрожать, заикаться от страха. Это и есть та выдержка, которую иногда спешим окрестить в своих корреспонденциях бесстрашием, награждая им, как орденом, одних пои жизни, других - после смерти.

"В прошлом году немцы начали свою летнюю кампанию пятого июля, подумал Лопатин. - Если и этим летом начнется не раньше, можно успеть заняться дневником. Сегодня только третье июня..."

Он пододвинул к себе по столу перекидной календарь. Календарь был старый, сорок первого года, и последнее число, до которого он был перевернут, было двадцать четвертое декабря, когда он в последний раз работал за этим столом. Вернее, попытался с утра работать, а потом пришла Ксения, а потом, в середине дня, уехал на фронт, под Калугу.

Хорошо помня, что это календарь сорок первого, а не сорок четвертого года, он все-таки придвинул его к себе и стал листать назад, пока не долистал до третьего июня.

На этой страничке календаря было две записи, сделанные его рукой: "Позвонить Пугаченкову сегодня же" и "Сходить за билетами в театр". И сбоку - почерком Ксении, круглыми большими буквами, - против записи о Пугаченкове: "Это как раз можно и потом", а против записи про театр: "А вот это действительно не забудь".

Кто такой был этот Пугаченков, звонить которому за девятнадцать дней до начала войны он считал необходимым, а Ксения - не обязательным, сейчас он - хоть убей! - не помнил. А билеты в театр он взял, и они были с Ксенией в тот вечер на "Норе", и он хорошо помнил, как всю дорогу домой и дома она говорила о том, как разворошил ей душу этот спектакль в как мучительны для нее ассоциации между той жизнью на сцене и их жизнью дома.

Лопатин слушал и злился. Никаких ассоциаций у него не возникало. На сцене была одна неудачная семейная жизнь, а у них дома тоже неудачная, но совсем другая. А Ксения все жужжала и жужжала про свои ассоциации.

- Ну ладно, - сказал он наконец. - Я - Хельмер, а ты - Нора. Согласен. Что дальше?

- Я совсем не хотела тебя обидеть, - сказала она, хотя именно этого и хотела.

Да, тогда, третьего июня, была последняя из их предвоенных вечерних ссор и последнее из ночных примирений. Можно, конечно, называть такие вещи и по-другому, но суть от этого не меняется.

Он стал один за другим выдвигать ящики письменного стола. Стол был старый и вместительный. Когда-то, когда они начинали свою семейную жизнь в одной комнате в Сокольниках, стол был у него за все про все! И рукописи, и книги, и папиросы, и рубашки, и белье, и носовые платки - все было в этих ящиках. Потому что

всю остальную комнату заполнила собою Ксения, которую он тогда любил и которая неслышно парила где-то сзади него, не мешая ему работать.

Это уже потом она научилась входить на цыпочках с каким-то особенным, старательным скрипом, который невозможно было не услышать, и, приложив палец к губам, - неизвестно для чего, просто как условный знак того, что она боится ему помешать, - подолгу бродила вокруг него, разыскивая что-то, как потом выяснялось, вовсе не так уж ей и нужное.

Но это все стало потом и было так долго, что, казалось, иначе никогда и не было. Но когда-то было иначе, может быть, недолго, но все-таки было...

В ящиках стола, которые он открывал один за другим, все было на месте.

Так они и дожили, все эти ящики со всем их нетронутым содержимым, до нынешнего, четвертого лета войны. От стола припахивало керосином: наверное, Нина плеснула его на сырую тряпку, когда протирала ящики. Значит, все вынимала, но обратно положила так, как лежало.

В самом нижнем ящике справа, на дне, лежала большая канцелярская папка, завязанная на тесемки. В ней были письма Ксении за все пятнадцать лет их довоенной жизни. Он думал, что она забрала свои письма. Оказывается, нет. Кто знает почему? Может, ее нынешний муж ревнив, везти их с собой в Ташкент не захотела, а порвать пожалела, потому что жалела себя. Со всей написанной в них правдой и ложью письма как-никак были частью ее самой вот и пожалела!

Когда они переехали в эту квартиру, он сначала предложил Ксении ту комнату, которая потом стала его кабинетом. Она была квадратная и казалась самой уютной. Но Ксения выбрала себе для спальни другую, побольше и выходившую окнами не во двор, а на улицу Горького. Она очень радовалась, что они будут жить на улице Горького, и в первый год после того, как переехали, любила вставлять в разговор. "Нам совсем недалеко, мы прямо тут, на улице Горького". Или: "От нас, с улицы Горького, рукой подать до всех театров!" Или что-нибудь еще в том же духе...

Его и самого ошарашило, когда ему тогда, в тридцать восьмом году, дали эту квартиру. Сначала "Знак Почета" за участие в экспедиции, снимавшей со льдины папанинцев, а еще через неделю, после одиннадцати лет жизни втроем в одной комнате в Сокольниках, вдруг эта квартира, по комнате на каждого.

- Идем, буду тебя кормить, - неслышно войдя в комнату и сзади положив ему на плечи руки, сказала дочь.

- Сейчас...

- О чем ты думаешь?

- Вспоминаю, как мы когда-то переезжали в эту квартиру...

- Я пока убирала, ни о чем не думала, - сказала она. - Только думала, чтобы все поспеть. Терла и терла, мыла и мыла. А потом, когда вчера легла, - я здесь у тебя на тахте легла, - перед тем как заснуть, - я почти сразу же заснула. - все таки, перед тем как заснуть, стала смотреть на потолок, там есть трещинка, около карниза, в углу, она уже так и была, когда мы переехали сюда, я ее запомнила.

- Я тоже запомнил, - сказал Лопатин. - Не одна ты тут в потолок смотрела...

Он пошутил, не поняв, что она собирается сказать ему что-то важное. А она, не заметив или не захотев заметить его, шутки, повторила:

- Я ее очень хорошо запомнила. И пока вчера не заснула, смотрела на нее и думала: неужели у нас дома все не могло быть иначе? Неужели правда, так с самого начала и не могло быть иначе? - повторила она с тоской.

- Не знаю, - ответил ей Лопатин. - Как - иначе? Что под этим понимать? Если бы, например, я из-за своей близорукости записался в белобилетчики и уехал не на войну, а в эвакуацию вместе с вами, то твоя мама не ушла бы? Не знаю, может быть, и так. Во всяком случае, когда я собирал вещи, у меня мелькнуло в голове что-то похожее.

- Неужели ты уже тогда думал об этом? - прервала его Нина.

- Нет, думал я совсем о другом: сколько буду добираться до Минска. Но твоей маме стало плохо, она не поехала на вокзал, и у меня возникло дурное предчувствие. А кроме предчувствия, ничего не было.

- Ну, ты не мог иначе, но мама же, мама же могла иначе! Она же могла остаться в Москве!

- Остаться в Москве она не могла, во всяком случае, после пятнадцатого октября, когда всех жен у нас в редакции отправили в эвакуацию. Другое дело, что вы с ней могли бы оказаться в эвакуации в одном месте, а не в разных.

- А я, например, не жалею, что все так вышло, - с вызовом сказала Нина.

- Верю. Но кроме догадок, что могло и чего не могло быть, есть и другой способ размышлений о прошлом: что мы сделали правильно и что неправильно? Думаю, что твоя мама, уехав в эвакуацию отдельно от тебя, поступила неправильно. И это единственное, за что я ее осуждаю.

- А с тобой она поступила правильно, когда бросила тебя?

Это" по-твоему, правильно?

- Я не хотел возвращаться к этому разговору, - сказал Лопатин. - Но раз уж заговорили, договорим до конца. Бросить можно ребенка, калеку, беспомощного старика. Человека, который здоров и находится в здравом уме и твердой памяти, не бросают, от него уходят. Иногда он этому пробует помешать, иногда - нет. Я не пробовал.

Он думал; что она спросит - почему? - но она не спросила, спросила другое:

- Ты сейчас не хотел бы, совсем не хотел бы, чтобы мама вернулась к тебе обратно?

- Нет, не хотел бы.

- А когда она только что ушла, когда ты меня вызвал летом к себе? Ты был такой печальный. Ты и тогда не хотел, чтобы она вернулась обратно? Ты мне тогда правду сказал, когда я тебя спрашивала?

- Правду. Веселого было мало. Но чтоб обратно - нет, и тогда не хотел.

- Я очень рада, - воскликнула она с поразившим его воодушевлением. - Я переживала за тебя, когда получала от нее письма, что у нее все хорошо! А ты никогда не писал мне этого. И мне было обидно за тебя, когда я думала, что у нее все хорошо, а ты в это время хочешь, чтобы она вернулась к тебе. Я несколько раз собиралась тебя спросить. Но как об этом - в письме? Верно?

- Верно. - Он подумал, что за эти два года и у него было такое, правда короткое, время, когда он мог бы написать, что у него все хорошо, - но как написать об этом в письме, дочери? Да и что понимать под словом "хорошо"? Дочь рада, что ты не унижен и уже не любишь женщину, которая перестала любить тебя, хотя эта женщина - ее мать. Но одно дело - хорошо одному, без ее матери, а другое дело - хорошо с женщиной, которой она не знает. Это совсем другое "хорошо", способное превратиться в испытание для ее собственной любви к тебе.

- Часто ли ты пишешь матери? - спросил Лопатин, насильственно обрывая непрошеные мысли; проблемы, как отнесется его дочь к его счастью с другой женщиной, уже давно не существовало, не было ни проблемы, ни счастья, ни женщины... И бессмысленно возвращаться к несуществующему.

Дочь пожала плечами.

- Когда она мне пишет, я всегда отвечаю. В этом году она написала мне три письма, и я на все три сразу ответила. Она что, жаловалась тебе на меня?

- Один раз.

- На что?

- На то, что ты только отвечаешь на 'ее вопросы, а сама никогда ни о чем у нее не спросишь.

- А я ни о чем не хочу ее спрашивать.

- Почему?

- А потому, что я никогда бы не ушла от человека, который на войне. Никогда бы, ни за что бы не ушла! О чем же мне ее спрашивать? А ты:

"Почему, почему?" - У нее дрогнули губы, но она не заплакала. Ей было обидно, что он ее не понял, и вдруг с этими письмами оказался заодно с матерью, вдвоем против нее одной.

- Ладно, - сказал Лопатин и, вынув из кармана пиджака прочитанное в госпитале письмо Ксении, положил перед дочерью. - В конце концов, как отвечать тебе на письма твоей матери, твое дело. Но вот письмо, которое касается нас обоих, и как отвечать на него, нам придется решать вместе, И как отвечать, и как быть.

Она вынула письмо из конверта, развернула, начала читать, но, оторвавшись после первых же строчек, посмотрела в глаза отцу:

- А скажи, если б вот сейчас мама все бросила, что у нее там, в приехала к тебе, и попросила прощения, и обещала, но с этого дня все будет по-другому, что бы ты сделал?

Лопатин не мог вонять причины этого взрыва. Может быть, несмотря на всю внешнюю черствость, которую она проявляла к матеря, ей вдруг захотелось чуда? Или, наоборот, еще не читая письма, она хотела заранее знать, что он не предаст ее представлений о нем своею внезапною слабостью?

- Плохо представляю в этой роли твою маму, еще хуже - себя. Теперь я уже не мог вы жить вместе с ней. Думаю, что и вел тоже. А тебе, значит, иногда еще приходит в голову соединить нас? Не стоят об этом думать. Никто из нас не станет счастливей. И ты тоже. Подумай лучше над тем, что в этом письме. И не бойся читать его, в нем просто дела, которые надо решать.

Она опустила глаза и стала читать письмо, а он смотрел на нее к думал, что хотя еще не может отвыкнуть от чувства, что он большой, а о"а маленькая, все равно он обязан бить откровенным с лею. Иначе рано или поздно нарушится то, что ей сейчас всего дороже возможность без колебания говорить ему все, что она думает.

И хотя того, о чем он должен ей сказать, уже к существует, все равно это - как камень за пазухой. И от него надо избавиться.

- Прочла. Ну в что? - Нина засунула письмо в конверт, и в ее голосе Лопатину послышался какой-то езде непонятный ему вызов.

- А то, что нам с тобой предстоит над этим подумать, только

в всего. Но сначала о другом. Полтора года назад я полюбил одну жевание Потом из этого ничего не произошло. Но это было. И я должен тебе об этом сказать,

- А мама мне писала об этом.

У него было такое чувство, словив его ударяли во лицу м исчезли, прежде чем он успел обернуться.

- О чем писала? - Он с трудом заставил себя сказать эти слова спокойно.

- Об этом. Что ты приехал в Ташкент в таком хорошем настроении, что, кажется, даже наспех влюбился в какую-то ее подругу и что она ужасно радовалась за тебя.

Он усмехнулся и простоте этого вдруг происшедшего объяснения, в глупости своего положения.

- Но я тогда всему этому не поверила. - Дочь заметила его усмешку.

- Почему?

- Она как-то так обо всем этом нависала, что я не поверила,

- - Это было не так, как ома тебе написала, но било.

- Ну и очень хорошо. Если бы я знала, я бы меньше тебя жалела. Я иногда прямо до слез тебя жалела за то, что тебя никто, кроме меня, не любит.

Она сказала это так самопожертвование, что ему пришлось встать я пройтись по комнате, чтобы скрыть о" лее выражение своего лифа.

- Вяжу, с тобой не пропадешь. - Он поцеловал ее сзади в коротко подстриженный, мальчишеский затылок.

- Конечно, не пропадешь, - не поворачиваясь, сказала дочь. - А что, она тебя тоже любила?

- Мне казалось, что да.

- А почему же у вас с ней ничего, не вышло?

Он не ответил, только пожал плечами.

- Не знаю, как это может быть. Какое-то дворянское гнездо! Все друг друга любят, и ничего у них у всех ее выходит!

- А ты что, сердишься? Хочешь меня заново женить, что ли?

- А разве это правильно, когда у тебя одна я и больше никого? Вот ты последний раз уезжал на фронт, кто тебя провожал? Никто?

Он кивнул. Это была правда, его никто не провожал ни в последней) ни в другие разы, когда он уезжал на фронт. С того зимнего утра в Ташкенте, когда он уезжал на Кавказский фронт, больше никто не провожал.

- Разве это правильно? - повторила она, когда он кивнул.

- Если говорить серьезно, то большинство людей, ушедших на фронт, проводили всего один раз, когда они ушли. И встретят

тоже один раз, когда вернутся, если будут, живы. Так что жалеть меня не за что.

- Это я знаю. Это я все знаю, - запальчиво сказала она. -- Но ведь у тебя такая работа, что ты все время ездишь я возвращаешься. И не потому, что не хочешь быть на фронте, а потому, что у тебя такая работа. Да?

- В общем, да. Хотя, чтоб не врать, могу вспомнить случаи, когда возвращался в Москву без прямой необходимости. Мог бы задержаться еще, но не задерживался. Бывало, правда, м по-другому. не хочу клепать на себя.

- Ну и что? Разве это называется возвращаться домой, когда у тебя и дома-то никакого не было? Я еще понимаю, когда немцы были под Москвой, когда всех эвакуировали - и кто хотел, и кто не хотел. А в последнее время все едут сюда едут и едут! У дяди Бори даже мама приехала. Ей семьдесят лет, а она приехала. И уже трете! месяц живет в Москве. Он мне говорил: кто только сюда не едет! Даже те, кого он вообще не пустил бы обратно в Москву.

- Значит, обсуждали этот вопрос и с ним?

- Конечно, обсуждали. А ты все один и один. Уезжаешь - один, приезжаешь - один.

- Ну что ж, перебирайся ко мне, чтоб я был не один.

- Зачем ты это говоришь? Ты же понимаешь, что я не могу. Если б я была маленькая или если бы я, наоборот, была уже старая, я бы, конечно. приехала. Но я же сказала тебе, что окончу курсы и поеду на фронт. И ты согласился, что это правильно.

- Этого я, положим, не говорил.

- Нет, сказал. Не прямо, но сказал. Думаешь, я не понимаю твое выражение лица? Не дразни меня, пожалуйста, а то я разревусь и поток сама себе этого не прощу. Лучше приезжай хоть на неделю к нам в Омск, и я тебя сразу женю.

Она встала и, сделав вид, что поправляет свои вихры, кажется, все-таки смахнула слезинку.

- А сейчас, ровно через пять минут по твоем часам, приходи есть. Я солью воду с картошки, а все остальное готово, я накрыла на кухне, добавила еж, уже уходя. - Мне все время неудобно, что мы взломали эту дверь в столовую, которую мама заперла, даже не хочется туда заходить.

- Чепуха. Взломали и взломали! - сказал Лопатин.

5

Картошка оказалась сваренной так, как он любил, в мундире. И он чистил ее, обжигая пальцы и Перекатывая из руки в руку. Была еще банка простокваши, с которой он любил есть картошку, особенно по утрам. Нина купила эту простоквашу и пучок укропа

на базаре.

- Не знаю, чего она выдумала - сейчас меняться, - говорила Нина, сидя против отца и тоже чистя горячую картошку. - Почему не могла до конца войны оставить тебя в покое. Сама же писала мне, что у нее все есть и ей ничего от тебя не надо, а теперь выходит - надо.

- Не брани мать, тем более за глаза. В этой квартире раньше или позже кто-то должен перестать жить - или она, или я. И я должен пойти ей навстречу, вопрос только - в каких пределах. Глупо все время повторять себе: "пока идет война", "если будем живы". Если не будем живы, не о чем и говорить. Значит, следует считать, что мы с тобой будем живы и вернемся с воины.

Она потянулась и стиснула в ладонях его лежавшую на столе руку. Это была молчаливая благодарность за слова мы с тобой".

И он задним числом выругал себя за то, что так неожиданно просто согласился с нею, хотя это согласие, если она успеет попасть на войну, может стоить ей жизни.

- Так вот, - сказал он, гоня от себя слишком далеко заводившие мысли, - когда кончится война, нам с тобой надо будет где-то жить. Не обязательно со мной, ты можешь захотеть жить и отдельно. Но чтобы жить, нужно иметь угол: этот или другой. Когда ездишь по освобожденным от немцев местам, сатанеешь от количества развалин! Такое чувстве, что еще лет двадцать после войны будем жить в них. Вот. почему я сторонник того, чтобы твою маленькую комнату не отдавать каким-то людям, с которыми мама с бухты-барахты решила ее менять. По-моему, так.

- А по-моему, пусть ода меняется, а я как-нибудь проживу. Если пойду после войны учиться, буду жить в общежитии. Не надо ей мешать, пусть делает, как хочет. А то приедет я начнет объяснять, почему ей это нужно, и обижаться и домучает тебя до того, что ты все равно согласишься, только бы она отстала! Я же знаю! Бог с ней, с этой комнатой, не нужно мне ее, только бы ока тебя не мучила.

Лопатин улыбнулся:

- Знаешь ты об нас обоих, конечно, много, жили у тебя на глазах. Но боюсь, что я переменился за эти годы к худшему и меня не так-то легко замучить. Однако, застанет ли меня в Москве твоя мама или мне придется писать ей, я честно изложу ей твое мнение, хотя и не согласен с ним.

- А ты считаешь, что мама может уже не застать тебя в Москве?

Лопатин чуть было не ответил, что он уже давно взял за правило не размышлять заранее над тем, как поступит ее мать.

Все равно не угадаешь. Но вслух сказал только, что все может случиться.

- А как ты думаешь, когда тебе разрешат снова ехать на фронт?

- Считай, что меня уже выписали в команду выздоравливающих. Сколько в ней держат солдат после такого ранения, как у меня? Неделя три-четыре?

Она подумала и кивнула.

- А когда, по-твоему, кончится война? Много раз слышала, что это глупый вопрос, и я- сама знаю, что глупый, но я все равно всегда всех спрашиваю.

- Какой бы ин был глупый, - сказал Лопатин, - а никуда от него не денешься. И сам себе отвечаешь на неге по-разному. Бывает, что зеленая тоска возьмет, а сейчас наоборот, вспомнил, как за эту зиму и весну проперли от Киева до Карпат, и подумал: чем черт не шутит, вдруг этим летом допрем и до Германии! И дочь моя Нина Васильевна и курсы медсестер кончит, и практику после них пройдет, и на войну, к моей радости, уже не успеет. Когда кончится война, не знаю и врать не могу. А когда ты окончишь свои курсы, давай подсчитаем!

- А чего считать? Начало занятий первого июля, выпуск двадцать пятого декабря, - все уже известно.

- С годовыми отметками за десятый класс не засыпешься из-за поездки ко мне?

- Не засыплюсь. Я и в поезде все время занималась.

- А говорила - спала.

- И спала. А когда не спала, занималась. И сейчас посуду помою, поставлю суп варить и начну заниматься.

- И намерена быть именно хирургической сестрой?

- Они нужней всего... А у меня твердая рука.

- Откуда ты это взяла?

- Зоя Павловна сказала мне, что у меня руки хирурга. Я много раз хирургическим сестрам перевязки помогала делать и даже кровь переливала и сама гипсовые повязки накладывала. Я У Зои Павловны при таких операциях была, что другим девочкам дурно делалось, а у меня голова ни разу не закружилась. Так не боюсь крови, что сначала сама удивлялась.

- Я тоже не боюсь, - сказал Лопатин. - Один раз в начале войны пришлось у раненого размозженные четыре пальца руки перочинным ножом отрезать; они на коже висели. Попросил - и пришлось.

Он хотел добавить, что все оказалось зря, потому что этого раненого почти тут же добили немцы, но удержался, не сказал. А то опять начнет расспрашивать о тех первых днях войны, о

которых пока записано только в дневнике - про запас, на будущее, если оно будет.

- Это когда ты из окружения выходил? - спросила Нина. Он кивнул.

- Зоя Павловна тоже в начале войны была в окружении, в Прибалтике. Она даже в плену три дня была, когда на их медсанбат немцы напали, а потом убежала и переодетая из окружения выходила. Ее муж был командир медсанбата, и когда война началась, она только дочь к родным в Омск отправила, а сама осталась с ним. И ее мужа убили. Прямо при ней. Я один раз по-дурацки ее спросила: как это было? А она посмотрела на меня и говорит: ну, как? Вот мы стоим с тобой сейчас в трех шагах друг от друга, обе живые, дверь стукнула, ты повернулась туда, а потом обратно, а меня уже нет. Вот и все. Что тебе еще объяснять.

Лопатин уже знал из писем дочери об этой Зое Павловне, которая, как видно, за последние два года стала играть важную роль в ее жизни. Уже знал, что она ведущий хирург того госпиталя, где его дочь все эти два года, по три раза в неделю, дежурит ночной санитаркой; знал, что ее дочь - ровесница и подруга его дочери и что они все делают вместе - и занимаются в школе, и ходят на дежурства, - но с тем, о чем сейчас заговорила

Нина, еще не сталкивался ни в письмах, ни в разговорах.

- Расскажи подробней про свою Зою Павлова ну. Тем более что решение на будущее ты, очевидно, приняла под ее влиянием. Такая же судьба запроектирована ею и для собственной дочки.

- Да.

- Так я и думал. И ни в чем тебя не упрекаю. Но хочу понять, почему ты сблизилась с ней и отдалилась от тетки?

- Я не отдалилась. Просто у тети Ани нет на меня сил - ни разговаривать со мной, ни слушать меня, ни самой говорить - ни на что нет сил. С тех пор как Андрея Ильича вернули из больницы, не став делать операции, она все поняла и живет в ужасе, что останется без него. Делает все, как всегда, а думает только об этом. Как глухая. А Зое Павловне всегда все можно сказать. Правда, времени у нее очень мало, но они живут с Олей прямо в госпитале; раньше там, в школе-десятилетке, была комната для уборщицы, а теперь эта комната их, они в ней живут. Я у них и уроки с Олей учу, уже не иду домой после ночного дежурства, а сижу до школы, до второй смены. Немножко спим, конечно, клюем носами, а потом опять учим.

"Да, - услышав это, подумал о дочери Лопатин, - пожалуй, в том ожесточении против матери, с которым ты приехала, сыграло свою роль и это горькое сравнение их с собою; они - мать и дочь и ты - дочь без матери..."

Из дальнейшего рассказа Нины он понял то, чего не мог понять сначала: почему эта женщина-хирург, начав войну на фронте, потом осела в Омске. Конечно, хирурги нужны везде, но характер этой женщины, каким он представал из рассказов Нины" заставлял предполагать, что она должна стремиться на фронт. И оказывается, так оно и было, она несколько раз подавала рапорты, но ее не отправили.

"И причина тому - те три дня, что она была в плену, прежде чем бежала, все они, эти проклятые три дня! - подумал Лопатин, сопоставляя одно с другим. - И на фронт из-за этого на всякий случай не отправляют, и в звании неизвестно почему - а на самом деле все поэтому же - не повышают, держат в капитанах медицинской службы, и случись - представят к ордену, где-нибудь да засохнет!"

А в женщине этой была, видимо, такая нравственная сила, что непонятные Нине. а может, и ее собственной дочери, но, конечно, хорошо понятные ей самой затруднявшие ее жизнь обстоятельства не пригнули ее к земле, с уважением подумал о ней Лопатин и чуть было не рассмеялся, когда после всего этого серьезного разговора Нина вдруг стала расхваливать ему свою Зою Павловну, как это умеют делать только влюбленные в кого-нибудь дети. Оказывается, у нее и удивительно легкая походка, и вообще она самая красивая женщина во всем госпитале и, несмотря на свои тридцать восемь лет, самая стройная, прямо как девушка, особенно в халате и шапочке, но и без шапочки она тоже красивая, и седых волос у нее почти нет, и к ней очень идет, что она стрижется под мальчика! При этих словах Лопатин, покосившись на дочь, подумал, что и ее стрижка тоже от желания быть похожей на женщину, в которую она влюблена и на которой, кажется, не прочь женить своего отца.

Он улыбнулся, но Нина в увлечении не заметила этого и все продолжала говорить про свою Зою Павловну и про то, как она много читала, и даже и сейчас успевает читать, и что ей нравится, как пишет он, Лопатин, потому что у него получается ближе к истине, чем у многих других.

- Значит, ты твердо решила стать медиком?

- Да. Потому что медицина - единственное действительно полезное дело, - выпалила Нина.

- Так-таки единственное?

- Да, единственное.

- Это Зоя Павловна так говорит?

- Нет. Она так не говорит. Это я сама считаю. Потому что а медицине мне все ясно.

- А в других профессиях все неясно?

- Неясно. Когда я приехала в Омск, я, глядя на тетю Аню, как ежа тетрадки дома проверяет, сначала думала, что стану учительницей, а сейчас не хочу.

- Почему?

- А потому, что я не понимаю. Вот наш новый директор школы за два года войны из бывшего учителя, из лейтенанта запаса, стал командиром полка, у него два ордена, он четыре раза ранен, три - легко, а последний раз тяжело, у него ногу отняли у нас в госпитале, он поэтому и попал к нам в школу. Я его еще в госпитале видела и разговаривала с ним. Он замечательный человек, и тетя Аня тоже замечательный человек, раз она еще до революции за Андреем Ильичом в ссылку в Сибирь поехала. И сколько у нее учеников было все ее уважают! А сейчас она дошла до того, что хочет уходить из школы. Они с директором, с Николаем Петровичем, на педагогическом совете поспорили: он - одно, она - другое, оно одно, она - другое...

- Она мне написала, - сказал Лопатин.

- Она не все тебе написала. Он просто трясется, когда вспоминает начало войны, что мы не готовы были к ней: это мы, говорит, учителя, неправильно воспитывали, не так надо было воспитывать. Я, говорит, это уже в войну на своей шкуре понял, когда мальчишками командовал, которые, ничего не успев сделать, гибли! А тетя Аня говорит: ну, если, по-вашему, нужно было так детей воспитывать, как немцы воспитывали, - слуга покорная! Не участвовала в таком воспитании и участвовать не буду. Я, говорит, во что верила до войны, в то и верю и буду верить, и никакие фашисты меня в этом не могут переубедить, как бы ежи хорошо ни воевали и сколько б они стран ни заняли. Чтобы победить зверя, я другого зверя воспитывать не хочу и не буду.

- И вся эта баталия у них на педсовете разгорелась? - с удивлением спросил Лопатин.

- Нет, там только началось. Там у них началось с разговора, что вот, разделяли мальчиков м девочек, сделали раздельное обучение, и Николай Петрович хвалил это и говорен, что, если б еще до войны это сделали, лучше бы воевали, а тетя Аня вскинулась - что мы не дав того делали революцию, чтобы снова устраивать женские к мужские гимназии! С этого у них все началось, а потом Николай Петрович пришел вечером сам к нам домой, это, уже недавно было, но еще лед был, скользко, у нас от трамвая далеко, целый километр, он на костылях пришел и стал говорить, что он ее уважает и не хочет, чтобы она подрывала свой авторитет, и хочет поговорить с ней не на педагогическом совете, а по душам. А она опять вскинулась: если, говорит, мы на

педагогическом совете не будем говорить по душам, то какие же мы после этого педагоги! И пошла, и пошла. Он все-таки с ней простился, а о"а даже не простилась. А я знала, что скользко, боялась, как бы он не упал на костылях, и провожала его до трамвая. Он всю дорогу молчал. Наверное, не хотел мне про тетю Аню что-нибудь плохое говорить без нее. Только когда уже трамвай подходил, вдруг сказал: у нее, говорит, женские и мужские гимназии из головы не выходят, а у меня из головы не выходят мои солдаты, если бы мы, начиная со школы, их по-другому к войне готовили, может быть, половина из них была бы живая, - вот чего у меня из головы не выходит! У нее ее гимназия, а у меня - это!

- А ты что ему сказала? - спросил Лопатин, который и по сей день, думая о начале войны, чувствовал себя человеком, пытающимся решить задачу со слишком многими неизвестными.

- Ничего не сказала. Подержала костыль, помогла сесть в трамвай, и он уехал,

- А подумала что?

- Подумала, что ничего я не понимаю в этом. И тетя Аня замечательная, и, он замечательный. А если бы на месте тети Ани был мужчина, он бы его, наверное, костылем ударил, так они друг с другом сверили. Буду хирургом, вот и все! После того как его проводила, я окончательно, на всю жизнь решила, что никем другим не буду, только хирургом.

- Ну что ж, молодец, - сказан Лопатин. - Только не знаю, как теперь мне прикажешь быть. Может, бросить свою профессию и пойти на курса санинструкторов, чтоб на старости лет не попадать в трудные положения, не мучиться над тем, кто прав, а кто не прав.

В его голосе прозвучала жесткая нота, которую Нина еще ни разу не слышала, когда отец разговаривал с ней. Слышала, только когда он разговаривал с другими.

- Может быть, я не права, - сказала она, - но я все равно хочу быть хирургом, больше никем. - Начала виновато, а кончили твердо, как отец.

- Ты права, считая, что на войне нет ничего бесспорней профессии хирурга и вообще медика. Но хочу, чтоб ты знала, даже война не освобождает людей от необходимости думать. И пока она идет - приходится думать. И когда она кончится, тоже придется. Желание стать медиком достойно похвалы, но мне не понравилось, что ты связываешь это с нежеланием думать.

- А все-таки, как ты считаешь: кто прав, тетя Аня или Николай Петрович?

- В данном случае мне важней будет знать, как считаешь ты, -

сказал Лопатин. - И хотя над такими вещами проще не думать, думай сама и, придя к собственным выводам, скажи мне. И тогда мы с тобой или согласимся, или вступим в свор. Ты ведь уже вышла из того возраста, когда считала, что я все знаю лучше всех. Сейчас я, по-твоему, что-то знаю лучше тебя, а что-то хуже. Разве нет?

- Да, - сказала Нина.

- А теперь приступай варить суп и готовить уроки, если ты способна это совмещать. А я пойду к себе и попробую сесть за стол и нацарапать хотя бы начало рассказа, который обещал редактору,

6

Он пошел к себе в комнату, во не сел за стоя в не принялся за рассказ, а вместо этого, не расшнуровывая - поддев под задники, - сбросил ботинки, повесил на стул пиджак и лег на тахту. Лег и лежал так, не двигаясь, наверное, целый час, закинув руки за голову и глядя в потолок. Женщину, которая, по словам его дочери, была в хорошей, и умной, и даже красивой, он не знал и не хотел видеть, а хотел видеть совсем другую женщину, которую знал и, на свою беду, не мог забыть. Ругал себя и мысленно ставил в глупые и смешные положения, словом, не покладая рук трудился над тем, чтоб ее забыть, а забыть не мог, хотя ничего другого не оставалось.

Когда зимой сорок третьего года он прощался с Никой в Ташкенте, на вокзале, загадав, что напишет ей первое письмо, только возвратясь в Москву, он не думал, что его поездка на Кавказский фронт будет короткой, но и не представлял себе, какой длинной она окажется. Он вернулся в Москву лишь на четвертый месяц. Побывав до этого на всех южных фронтах, а под конец, неожиданно для себя, еще и на Воронежском Во время вторичного захвата немцами Харькова, в третий раз за войну выходя из окружения, несколько суток месил весеннюю грязь и, вернувшись наконец в Москву, сказал редактору, что сразу же садится за корреспонденцию, а на самом деле весь первый вечер и ночь сидел и писал письмо в Ташкент. Выяснилось, что наутро будет оказия. В Чирчик под Ташкентом ехал в отпуск к семье фотокорреспондент Витька Брагин, парень непутевый, но верный, из тех, что, если обещали, расшибутся. Он обещал, если к пяти утра у Лопатина будет готово письмо, доставить его в Ташкент прямо по назначению, из рук в руки.

Лопатин писал это письмо долго и трудно, помня, что ему скоро сорок семь, а ей тридцать; помня, как она сказала ему на прощанье - сдавайте воздержимся от обещаний писать письма"; писал, понимая, что у нее до его приезда была к после его

отъезда продолжалась своя собственная жизнь, и не до конца ему известная, и ничем не связанная с его жизнью, кроме одной короткой близости и нескольких долгих разговоров.

И все-таки писал, потому что и об этой короткой близости, и об этих долгих разговорах думал как о счастье, которое должно повториться. Это и предстояло сказать в письме, объяснив, почему считает себя вправе писать ей об этом он, проживший долгую жизнь с другой женщиной, разведенный, имеющий взрослую дочь, уже далеко не молодой и начинающий все больше уставать от войны человек.

К пяти утра письмо было дописано и отдано.

В ответ на объяснения Лопатина, как лучше всего доставить письмо, Брагин только отмахнулся.

- Не беспокойтесь, Василий Николаевич, гад буду, если не отдам ей в собственные руки, тем более если молодая и красивая!

По лицу его было видно, что он не больно-то верит, что женщина, которой пишет Лопатин, может быть молодой и красивой.

Брагин улетал рано, до начала рабочего дня, в Лопатин не удержался, напросился проводить его до аэродрома на "эмке", которая все равно возвращалась в редакцию. Ехал с ним на аэродром, словно хотел проделать сам какую-то часть пути вместе с этим письмом, уже лежавшим в полевой сумке у Брагина. Мало того, не удержался и несколько раз снова принимался объяснять, как там, в Ташкенте, сразу же найти ее в театре. Такая прыть в человеке, которому оставалось всего ничего до пятидесяти, наверное, казалась смешной двадцатипятилетнему Брагину. Окажись потом все хорошо, Лопатин, наверное, вспоминал бы эти подробности с улыбкой. Но когда все вышло наоборот, и эта ненужная поездка на аэродром, и собственная суетливость во время нее выглядели чем-то беззащитно смешным.

"Гадом" Брагин не оказался и письмо отдал в собственные руки. Вечером, уже после начала спектакля, прорвался за сцену, когда Ника помогала там переодеваться перед выходом какой-то артистке.

"Зовут точно, как вы сказали - Нина Николаевна, спросил - сразу отозвалась, письмо отдал, объяснил, что через две недели могу зайти взять у нее ответ, но она сказала, что сама сразу отправит по почте. Высокая, худощавая, а больше ничего не разобрал, у них там за сценой темновато, а еще раз зайти - времени не было", - наспех отрапортовал Лопатину вернувшийся через семнадцать дней Брагин. За опоздание из отпуска на двое суток его вызывали утюжить к редактору. А после утюжки в тот же день загнали на Карельский фронт. Он совершил

психологическую ошибку, привез справку, что проболел; редактор в таких случаях предпочитал повинные.

К приезду Брагина письма от Ники еще не было. Прошла неделя, еще неделя, Брагин, замаливая грехи, уже прислал из-под Мурманска снимки оленьих упряжек, на которых там вывозили раненых. Напечатали и эти его снимки, и следующие. А из Ташкента по-прежнему ничего не было.

Лопатин попросил дежурную стенографистку поднять его ночью, когда подполковник Губер будет передавать из Ташкента свою очередную заметку по Туркестанскому военному округу. Две ночи Губер ничего не передавал, а на третью спавшего полуодетым у себя в кабинете Лопатина разбудили звонком из стенографического бюро, и он, назвав Губеру место работы, имя, отчество и фамилию, попросил узнать там, в театре, жива ли она, здорова и работает ли на прежнем месте.

Еще через несколько дней благоволившая к Лопатину старшая стенографистка утром принесла ему три машинописных строчки, отрезанные от сданной в набор заметки Губера. "Передайте Лопатину, жива, здорова, работает на прежнем месте, извещена о его запросе, сообщила об отправке ему письма двадцать пятого апреля. Губер".

Выходило, что письмо это идет из Ташкента, если оно идет, а не пропало, почти месяц. Если не пропало! Он ухватился за эту мысль и решил, подождав еще три дня - до месяца ровно, - дать телеграмму, что письмо пропало. Но оно пришло в редакцию утром на следующий же день.

Его письмо ей было одним из тех, на которые женщине приходится отвечать - да или нет. И она ответила ему "нет". Он спрашивал ее, готова ли она, несмотря на все препятствия, которые есть и могут возникнуть в будущем; несмотря на продолжающуюся войну, на продолжающуюся разлуку, на ограниченные и неопределенные возможности их встреч в ближайшие месяцы, а может, и годы; несмотря на то что у них обоих - дети, и у каждого своя память о прошлом; несмотря на то что неизвестно, когда судьба и их собственные усилия соединят их в одном городе и под одной крышей, несмотря на все это, готова ли она считать, что они все равно вместе, а не порознь? Готова или нет? И она ответила - нет!

По письму чувствовалось, что она не щадит себя, скорей наоборот. Она писала, что после отъезда Лопатина вернулась в ту жизнь, какой жила до его приезда. В этой жизни был и снова появился человек, которого она не любит, но который тем не менее появился. И она заново свыклась с этой жизнью как с меньшим злом.

"За те дни, что Вы были у нас в Ташкенте, Вы помогли мне поверить в себя, при Вас я стала сильней и считала, что уже не вернусь к тому, из чего Вы помогли мне вырваться. Считала, что не вернусь. Но когда Вы уехали, из меня словно выпустили воздух. Все, что я говорила про себя и про Вас тогда зимой, была правда. Но то, что я пишу Вам сейчас, тоже правда. Я не хочу быть для Вас второй Ксенией, а той, какой я хотела быть, из меня не вышло. Не пишите мне. Будет стыдно не отвечать Вам, но отвечать не буду".

Таким было ее год назад полученное и много раз потом перечитанное письмо. Тогда, в прошлом году, вопреки ее просьбе, он все-таки написал ей письмо, совсем короткое, короче некуда; "Так тому и быть. Прощайте". Написал, чтоб знала: понял и поставил крест. А теперь, через год, выходило, что крест на всем этом поставлен давным-давно, а могила, оказывается, еще не засыпана.

Вспоминая, как там, на ташкентском вокзале, в последнюю минуту он, заторопившись, снял очки и. она целовала его в лицо и в глаза, он снова ощущал жалкую беспросветность своей тоски по этой женщине, из которой, как бы она ни кляла себя, все равно не вышло бы второй Ксении. А крест все-таки поставлен. И в глаза тогда поцеловала, как покойника, словно знала, что дальше ничего не будет.

Думать обо всем этом можно было сколько угодно, радости это не прибавляло, сил тоже. а закалять волю, никому не показывая, что у тебя на душе кошки скребут, не требовалось. Никто этим не интересовался.

В квартире было тихо. Потом чуть слышно звякнула на кухне Нина, наверное, крышкой от кастрюли - снимала пену.

Он встал с тахты, надел пиджак, сел за письменный стол и вынул из ящика стопку бумаги, не слишком толстую и не слишком тонкую, такую, какую до войны любил класть перед собой, когда садился писать что-то новое. Никто не стоял над душой, можно было писать не торопясь, и он тем разборчивым и спокойным почерком, каким писал, когда не торопился, вывел заголовок: "Ночь как ночь".

Может быть, и даже наверное, редактор ждал от него чего-то другого, связанного с более существенными событиями, но ему хотелось написать просто-напросто о том, что делает и о чем думает командир роты в те несколько ночных часов, которые у него остаются до назначенной на рассвете атаки.

Этой весной ему довелось провести ночь с таким, погибшим наутро лейтенантом, и он дал себе слово написать о последних мыслях человека, не знающего своей завтрашней судьбы.

7

Перед отъездов дочери в Омск, рано утром, когда Лопатин по привычке уже встал, а Нина, просидевшая накануне допоздна над учебниками, еще спала, принесли телеграмму из Омска. Лопатин вскрыл телеграмму с тяжелым чувством: ничего хорошего ждать не приходилось.

В телеграмме было всего пять слов: "Вчера похоронила Андрея Ильича. Анна". И за этими пятью словами - решимость все до конца взять на себя. Телеграфировала не когда умер, а когда похоронила, когда уже поздно спешить к ней на помощь. А за пятью словами - вся жизнь, прожитая с человеком, к которому в девятьсот седьмом году, тридцать семь лет назад, невестой, поехала делить с век ссылку. И теперь, на всю остальную жизнь, - одна. приедет ли к ней твоя дочь или ты сам, все равно одна. Он подумал не о ближайшем, а о дальнейшем, что делать с сестрой, когда кончится война. Брать ее к себе - нет, не уедет! Ни от тех двух комнат в деревянном старом доме на окраине Омска, в которых прожила всю жизнь, ни от могилы. И от школы своей, бывшей Первой женской гимназии, никуда не уедет, а будет там работать, нока не умрет или не выгонят.

- А я испугалась, что ты куда-то ушел, хлопнула дверь, а потом тишина, - неслышно войдя в комнату, сказала за его спиной Нина.

Он обернулся. Она стояла босиком, в одной рубашке. Глаза у нее оставались испуганными, словно он, стукнув дверью, уехал на войну.

- Пойди оденься и приходи. Ты мне нужна, - сказал Лопатин.

- Сейчас, только чайник поставлю.

- Потом. Сначала оденься и приходи. Он еще раз прочел телеграмму. Она была отправлена из Омска вчера утром. Значит, хоронила она своего Андрея Ильича позавчера, а скончался он" выходило, не то седьмого" не то шестого, в день открытия второго фронта в Европе. Дождался и помер, усмехнулся Лопатин этой несуразной мысли, пришедшей в голову неизвестно отчего, наверное, от воспоминаний о разговорах про второй фронт с людьми, которых уже нет на свете. И было в этом, в том, что они уже отвоевали свое и их нет на свете, что-то несправедливое, чего уже никакой второй фронт не поправит и никакая победа не воскресят,

А сами воспоминания возникли после вчерашнего вызова к редактору, спросившему, когда он сдаст рассказ и когда отправит дочь. Лопатин сказал, что рассказ сдаст завтра утром, а дочь отправит завтра вечером.

- Это правильно, - сказал редактор и окинул Лопатина с ног

до головы быстрым, оценивающим взглядом- - С утра, прежде чем привозить рассказ, заезжай в госпиталь, можешь дежурную машину взять, пусть тебе там еще раз рентген сделают и все, что требуется. Если не застанешь меня в редакции, я, возможно, буду в Генштабе, рассказ оставь, но сам сиди дома, не отлучайся. Ясно?

- Ясно.

Действительно все было ясней ясного. Редактор предвидел в ближайшем будущем разворот событий и ехал завтра в Генштаб знакомиться с обстановкой и искать в ней подтверждения своим догадкам,

В редакции вчера было многолюдней обычного: по коридорам ходили вызванные с разных фронтов корреспонденты; чтобы они зря паслись в Москве, редактор не любил, значит, собирался куда-то отправить.

- Зачем он тебя вызывал? - спросила Нина, когда Лопатин вчера вернулся домой.

- Торопил, чтобы рассказ сдал.

- А еще?

- А еще - не знаю. Поживем - увидим. Оказывается, это "поживем увидим" так встревожило ее, что сегодня, услышав стук двери, она прибежала в одной рубашке.

Вернулась она быстро, умытая, причесанная и одетая, с видом человека, готового в дорогу.

- Я все-таки на всякий случай поставила чай. Он кивнул и протянул ей телеграмму. ~ А можно я полечу? - спросила она. - Надо помочь ей все сделать. Там у нас это очень трудно.

Услышав это, он понял, что она одновременно и прочла и не прочла телеграмму. Поняла, что в ней смерть, а тех слов, которыми было написано про эту смерть, не поняла. Она продолжала держать в руках телеграмму и смотрела на отца.

- Наверно, сегодня уже нельзя полететь? А может быть. все-таки можно?

- Прочти еще раз, - сказал он. Она прочла еще раз и поняла.

- Уже похоронила, - сказала она пораженно. - Почему же она...

- Не вызвала нас с тобой на похороны? - договорил за нее Лопатин. Наверно, потому, что знала из нашей с тобой телеграммы, что я недавно из госпиталя, а ты сегодня выедешь в Омск. Не захотела срывать меня, как она считает, с постели или сокращать наше свидание с тобой. Наверно, так. Как это у нее водится, подумала о нас, а не о себе.

- Что же теперь нам делать?

- Делать, как собирались: тебе ехать к ней в Омск, а мне сидеть и ждать, когда придет моя очередь ехать на фронт.

- А ты не сможешь сделать, чтоб я к ней не поехала, а полетела?

- Попробовал бы, если б речь шла о том, чтоб успеть к похоронам. А сейчас и вряд ли выйдет, и мало что изменит: будешь ты у нее на третий день после похорон или на седьмой. Дело уже не в это", а в намного более трудном. Ты должна заменить ей то, чего заменить нельзя. Но это не на несколько дней.

- Я понимаю.

- Ты больше уважаешь, чем любишь, тетю Аню, и я могу это понять, потому что так и у меня самого. Но нравственные долги надо платить, и иногда долго. До конца жизни.

- Я понимаю, - повторила Нина.

- Это должна понять не только ты, но и те люди, к которым ты в последнее время так привязалась. И твоя подруга, и ее мать, если она действительно такая, какой ты мне ее изобразила.

- Она лучше меня, - сказала Нина. - Она, когда я приеду, наверное, скажет мне то же самое, что ты.

- А ты, приехав туда, должна понять: любимый или тягостный, но все равно, пока ты там, в Омске, у тебя теперь только один дом. Я не приглашаю тебя менять планы на будущее. Если война еще не кончится, а ты окончишь свои курсы и добьешься отправки на фронт, никто - ни я, ни твоя тетка - не вправе тебя останавливать. "Но пока этого не случилось... Если я сказал тебе что-то, с чем ты не согласна, возражай сейчас, не оставляй на потом. Мы можем долго не увидеться, и я буду думать, что ты со мной согласна, а ты будешь думать, что я не орав, а это хуже всей.

- Нет, я согласна, - сказала она. - Я уже думала об этом.

- О чем?

- О том, как будет, когда Андрей Ильич умрет. Только я не думала, что так быстро.

Она сказала это с тем спокойствием, которое приобретают люди, привычные к виду смерти. У нее, ночной няни, эта привычка была. В памяти у Лопатина вдруг встало все, что она ему говорила о госпитале, о своих дежурствах, о раненых, какие они, что говорят, как ругаются, как плачут, что рассказывают о войне и о чем не хотят рассказывать. За эти дни для него стало ясно, что она куда больше знает о войне, чем он представлял себе раньше. Знает и намного глубже, и намного обыденнее, чем это приходило ему в голову.

- Он думал, что еще поживет несколько месяцев. Перед моим отъездом, когда тетя Аня ушла, а я была дома, он меня позвал и говорит: "К осени вы с Анной Николаевной останетесь вдвоем,

она совершенно не умеет думать о самой себе, подумай об ней ты".

- Что ты ему ответила?

- Ну конечно, глупости, которые все говорят: зачем он так и что он еще выздоровеет. Долго чего-то плела ему, даже самой стыдно стало, а он - ни слова, только постучал по табуретке у изголовья пальцем и остановил меня. Даже "замолчи" не сказал, просто постучал.

И Лопатин отчетливо представил себе мужа своей сестры, умирающего там, в Омске, на постели, рядом с которой стояла табуретка с лекарствами и каким-нибудь питьем. Представил себе, как от него, и прежде худого как мощи, осталась только тень человека, молчаливая и, наверное, бестрепетная перед лицом смерти. И, говоря с девочкой о предстоящем ему, он не изменил привычке всей жизни и назвал жену так, как они всегда говорили друг о друге за глаза и при других людях:

Андрей Ильич, Анна Николаевна.

- И все-таки он считал, что проживет до осени, - сказала Нина.

"Кто его знает, что он считал, - подумал Лопатин, глядя на Дочь. Может бить, наоборот" считал" что умрет со дня на день. А сказал Тебе про осень, чтобы ты без колебаний ехала к отцу. Как проникнуть не в свою душу? Гораздо чаще делаем вид, что умеем это, чем хотя бы приближаемся к такому умению. В чужой душе все равно что в Темноте в чужой комнате, - пойди найди там иголку!"

- Ты сегодня плохо выглядишь, - прервав его мысли, сказала Нина.

Но он поднял на нее глаза так, словно не слышал.

За чаем, видя, что отцу не хочется разговаривать, Нина тоже молчала. Только когда уже стала мыть чашки, а он все еще сидел на кухне и грыз пустой Мундштук, спросила:

- Ты не Думаешь, что тебя могут послать туда?

- Куда?

- На второй фронт.

- Не думаю. На это лето нам хватит своих забот. А если надумают посылать и туда, то вряд ли йене. Других вопросов по второму фронту нет?

- Что ты сердиться?

- А я не на тебя. Мне вчерашние гости своим вторым фронтом плешь проели.

На дочь он действительно не сердился. Хотя она за последние четыре дня, наверное, риз десять спрашивала его про второй фронт, но это был просто молодой, жадный интерес к тому, чего

так долго ждали, и не высказанное вслух детское желание, чтобы ее отца, побывавшего почтя на всех фронтах, теперь послали бы и туда, в Европу.

Ом отвечал на ее вопросы терпеливо в, вытащив большой довоенный "Атлас командира РККА", показывал ей по нему, где высадились англичане и американцы и Куда успели продвинуться на этом маленьком полуострове в Нормандии.

Но вчера его и в самом деде разозлили с этим вторым фронтом неожиданно свалившиеся на голову гости. Были они оба, и муж и жена, славные и легкие в общежитии люди и, только что вернувшись из эвакуации, спешили возобновить старые московские знакомства

С ним Лопатин когда-то учился, а потом, когда тот стал писателем, любил его книги, поражаясь завидному умению, отряхнув со своих ног прах обыденщины, превращать самое заурядное в жизни в пленительно красивое, безотчетно-печальное и чуть-чуть загадочное. Этот человек и в разговорах, и в своих книгах был так добр к людям, что порой казалось, он не хочет огорчать ни себя", ни других столкновениями с действительной тяжестью жизни. Но, даже иронизируя над этим, Лопатин все равно любил его утешительные повести и рассказы. И разлюбил только в годы войны. Не прежние, а новые, написанные ничуть не хуже, чем раньше, но в чем-то самом главном несовместимые с той войной, какую он знал. Его вчерашний гость видел кусочек войны, в самом начале и, кажется, не слишком близко. Ни годы, ни здоровье, давно оставлявшее желать лучшего, не предписывали ему непременно быть на фронте, но он все-таки поехал туда от одной из газет и вскоре вернулся, так ничего и не написав, наверное, не сладив с противоречием между той жизнью, в которую воткнула его война, и той, которой привыкли жить герои его прежних книг.

А потом, когда началась уже не первая, летняя, а решительная, осенняя, эвакуация Москвы, он, добросовестно отдежурив свое на крыше в ночи немецких бомбежек, уехал в эвакуацию и там, вдали от войны, сладив с противоречием, с которым не мог сладить вблизи, начал печатать свои утешительно-прекрасные рассказы, не столько о самой войне, сколько о связанных с ней приездах и отъездах, разлуках и встречах. И хотя Лопатин невзлюбил эти рассказы, он вчера заранее дал себе зарок не ввязываться в споры и не обижать человека, который хочет утешить своих читателей. Что ж делать, каждый утешает по-своему, и есть много людей, которые ответно любят смотреть именно в такие добрые, печально полузакрытые на правду глаза.

Гость пришел с неначатой коробкой "Казбека", и хотя Лопатин сказал, что пока не курит, все равно оставил ее.

- Ничего, когда закуришь, начнешь с них!

А жена его притащила еще теплый яблочный пирог, который и ели с чаем. Принесла как милое напоминание о своей довоенной стряпне и гостеприимстве. Лопатин ел и хвалил ее пирог, а она счастливо улыбалась своим добрым, когда-то круглым, как блюдечко, а за войну сильно похудевшим лицом и, перебивая мужа, болтала, перескакивая с одной темы на другую, но так ни разу и не вспомнив вслух Ксению, наверное, считая, что причинит этим боль Лопатину.

И все было бы хорошо, если б, когда и допили чай, и доели пирог, гостям не вздумалось перед уходом заговорить о втором фронте.

- Скажи, Вася, ты все эти годы намного ближе к войне, чем мы, что ты думаешь о высадке союзников?

Лопатин ответил то, что думал: будь эта высадка в сорок втором, он считал бы ее даже самопожертвованием. Случись это в прошлом году, особенно до Курской дуги, встретил бы эту новость с огромным облегчением, потому что не боится признаться до самой Курской дуги жил в тревоге, не пойдут ли немцы ломить нас и в третий раз, на третье лето. А теперь, на четвертое лето войны, конечно же, как и все, рад и счастлив, что эта высадка в Европе наконец произошла. С нетерпением слушает и вечерние, и утренние сообщения, но никаких особенных чудес от всего этого не ждет.

- А что ты называешь чудесами?

- Чудесами? Ну, например, если б немцы так перепугались этой высадки, что завтра же поснимали бы с наших фронтов половину своих войск и перебросили их на запад. А мы быстро расшлепали бы оставшуюся половину и оказались на Новый год в Берлине! Но в такое чудо я, к сожалению, как раз и не верю!

- А я как раз в него и верю, - возразил гость и стал развивать мысль, что все именно так и будет; немцам ничего другого не останется, как забрать с нашего фронта, по крайней .мере, половину своих войск, а то и больше и перенести главные усилия на запад, как это было в конце первой мировой войны.

- В конце первой мировой армия кайзера чувствовала себя хозяином положения на Восточном фронте, и так оно и было, иначе мы бы не подписывали Брестского мира, - сказал Лопатин. - А сейчас, после Курской дуги и десяти месяцев нашего почти беспрерывного наступления, хозяевами положения здесь, на Восточном фронте, сделались мы. И немцы оставят против нас все, что они здесь имеют, все, до последнего солдата. И, несмотря

на высадку союзников, нам все равно придется додалбливать здесь не четверть и не половину, а все, что стоит против нас. И твои сравнения с концом первой мировой совершенно ни при чем.

Но хотя самому Лопатину все это казалось очевидным, гостей он не пронял. Для них второй фронт был манной небесной, и они никак не могли расстаться с утешительной мыслью, что теперь, после высадки во Франции, главная война перекочует туда, на запад. Раньше была здесь, у нас, а теперь будет там, у них, и на нашу долю останется не так уж много! Они на разные лады все повторяли и повторяли эту мысль, упрекая Лопатина, что он только из упрямства не хочет быть оптимистом.

А у Лопатина, который после всего виденного на войне дорого бы заплатил, чтобы стать оптимистом, все нарастало и нарастало раздражение против чего-то, что делало этот их оптимизм пустым и легким, как гнилой орех. В их преувеличенном восторге и преувеличенных надеждах было какое-то обидно-глупое умаление всего, что происходило до этого, какое-то забвение безмерности всей той пролитой крови, ценою которой война была вытолкнута обратно от окраин Ленинграда и Москвы и развалин Сталинграда на ее нынешний передний край, где она тревожно замерла в ожидании предстоящего.

Они, эти люди, не понимали войны и не чувствовали всей силы того кровавого и страшного взаимного сцепления, которое сейчас держало и нас, и немцев по обеим сторонам этого переднего края. Они не представляли себе, как немыслимо страшно немцам после всего, что они сделали, вдруг взять и расцепиться с нами; как невозможно им вдруг взять из окопа где-то на Украине или в Белоруссии солдата, который лежит там со своей винтовкой или автоматом и ждет каждую ночь, когда мы опять начнем; как невозможно им взять этого солдата и отправить его во Францию, оставив вместо него там, где он лежал и ждал, пустое, не заполненное никем другим место.

Лопатин молчал, но, должно быть, в его молчании чувствовалось ожесточение, и гости увяли. Она, собравшись уходить, стала целовать Нину и хвалить за то, что приехала к отцу, а он, обняв Лопатина, сказала

- Ты так сердито молчал, что и даже подумал, неужели ты до того ожесточен войной, что тебя злит мой оптимизм?

- Злит, - сказал Лопатин. - И ожесточен я не войной, а твоим оптимизмом.

- Допускаю, что над оптимизмом можно шутить, но как можно на него злиться?

- Если он дешево стоит, можно. Прости меня, и не будем

продолжать поссоримся.

- Хорошо, не будем.

Пауза была замята поспешными и шумными прощаниями.

Таким был этот вчерашний разговор о втором фронте.

Когда Нина, помыв посуду, пришла к Лопатину в комнату, он уже написал телеграмму сестре и положил ее на стол вместе с деньгами.

- Пойди отнеси на телеграф. Перепиши на бланке и отправь. И деньги тоже отправь телеграфом. Остальное пошлю по почте, возьму завтра в сберкассе, а это на всякий случай, вдруг сразу понадобятся.

Она пробежала глазами написанное в телеграмме, кивнула головой и рванулась к двери.

- Я быстро-быстро вернусь. Но ему стало жаль отпускать ее от себя, в этот последний день, и он поднялся из-за стола.

- Выйдем вместе. Ты на телеграф, а я пока схожу в редакцию, отнесу рассказ.

- Подожди. - Она встревожилась. - Ты вчера говорил, что тебе дадут дежурную машину и ты еще до редакции съездишь в госпиталь на рентген.

- Ни на какой рентген я не поеду.

- Но ведь тебе редактор велел.

- Мало ли что он мне велел! Нет настроения ехать сегодня в госпиталь. Можешь меня понять?

- Могу, мне бы самой не хотелось.

- Сдам сегодня рассказ, на том и сойдет. А в госпиталь завтра, без тебя. Пошли!

Когда они дошли до угла своего дома, где ему надо было сворачивать направо - редакции, а ей налево - к телеграфу, Нина нерешительно предложила:

- Может, я отправлю и приду в редакцию, подожду тебя там у вахтера, пойдем домой вместе.

- А вдруг редактор тут же с ходу захочет прочесть рассказ и высказать соображения? Что тогда? Сходи на телеграф и возвращайся домой. А я, как освобожусь, позвоню. И ты пойдешь мне навстречу - по правой стороне, если считать от тебя.

Она поцеловала его и маханула своими длинными ногами через перекресток к телеграфу, а он. с завернутым в трубочку рассказом под мышкой, отправился в редакцию, до которой, как это давно сосчитано, четверть часа ходу, а впрочем, теперь, после госпиталя, на две-три минуты больше.

8

Редактор был на месте, но собирался ехать информироваться в Генштаб и читать рассказ не стал.

- Что у тебя за привычка? Обязательно ему нужно в трубку свернуть!

Он недовольно разгладил лопатинскую рукопись и, прочтя заголовок "Ночь как ночь", поморщился.

- Ночь как ночь, день как день! Все тянет заранее объяснить, что ничего особенного у тебя там не произойдет. Раз ночь как ночь - чего ж тут читать? Или сам перемени, или пусть тебе Гурский за двадцать копеек придумает. А нет - я переменю. Бесплатно.

Он зашел в заднюю комнату и, скинув там свою синюю рабочую куртку, вернулся в генеральском кителе.

- Что тебе в госпитале сказали? Только не ври, имею возможность проверить.

- Не был я в госпитале.

- Возьми машину и съезди, пока меня нет.

- Не хочется. Дочь провожаю обратно в Омск. Лучше дай машину свезти на вокзал. Сегодня провожу, а завтра с утра - в госпиталь!

- Смотри, тебе видней, - с запинкой сказал редактор и, ничего не добавив, первым вышел из кабинета.

Лопатин пошел к Гурскому. В начале войны. когда редакция дважды переезжала в другие большие дома с подвалам"" превращенными в бомбоубежища, каждый раз, считалось, что ее старенькое двухэтажное здание, втиснувшееся между двумя дряхлыми деревянными домами, немцы непременно сожгут, но с ним ровно ничего не случилось, и редакция со второго года войны снова благополучно теснилась в этом привычном доме, с его узкими длинными коридорами и маленькими теплыми комнатами, в одной из которых был крошечный кабинетик Гурского.

- Все еще в штатском? - Увидев Лопатина, Гурский снял со стула подшивку газет. - Садись!

Все кругом, даже диван, на котором Гурский, если удавалось, любил подремать в разгар редакционного дня, было завалено подшивками.

- Поеду провожать, надену форму, - сказал Лопатин.

- Для переговоров с проводниками о доставке до Омска без усушки и ут-труски?

- Да. Все-таки девчонка.

- Я, если позволит время и темп-перамент нашего редактора, тоже п-провожу ее. По правде говоря, сначала думал, что она смягчится и останется с тобой.

- Пока война, понятие "со мной" слишком неопределенное. Поэтому не уговаривал.

- Только не делай, пожалуйста, вид, что тебе так уж не терпится вп-перед на запад!

- Пока вполне терпится. Н" прочь посидеть и спокойно пописать.

- Ну, это бабушка надвое сказала. Сп-покой-ной жизни нам не обещают. Вчера на улице Горького вст-третил знакомого по Сталинграду комбата, вместо левой кисти - п-протез. А замполита их полка, с которым ходили в батальон, оказывается, уже вт-торой год нет на свете. Ты, кстати, его знал - ой тогда в Сталинграде всп-поминал, как ты был у Него в Одессе.

- Знал, - сказал Лопатин и ничего не добавил. Не хотелось. Он уже давно боялся за Левашова, иногда почти не веря, что тот до сих пор жив было в этом человеке что-то гибельное, словно он с первого дня войны как рванул на себе ворот, так и шел - душа нараспашку - навстречу смерти.

- Вижу, расст-троил тебя, - сказал Гурский. - Мне там, в Сталинграде, п-показалось, что он - личность. Поэтому и сп-просил про него вчера.

- Не хочу сейчас об этом. Давай когда-нибудь в другой раз, - попросил Лопатин.

- К-как хочешь. Рассказ кончил?

- Лежит у него на конторке. Еще не читал, но название "Ночь как ночь", если ты не Придумаешь другого, пригрозил заменить сам.

- Это оп-пасно. Откроешь утром газету, и своих не узнаешь. Вместо "Ночь как ночь" окажется какое-нибудь "Вчера перед рассветом". Он любит оп-ративные названия. Чтобы вчера произошло, а сегодня уже нап-печатали. Ладно, п-придумаю что-нибудь, не до конца сокрушающее п-первоначаль-ный замысел автора. Значит, дочь уедет, ты опять один. Нехорошо...

- А ты не один? Тебе хорошо?

- Я теперь не один. Как тебе известно, я уже т-третий месяц живу со своей мамой, и это очень хорошо. И не только для меня, а и для тебя с твоей дочерью. Потому что мама, как я тебе только что собирался сообщить по телефону, подтверждает свое п-приглашение прибыть к ней на прощальный обед, который, по ее словам, у нее в основном п-получился, хотя она очень переживает, что, доставая п-продукты, я не п-полностью оправдал ее доверие. Имея в виду твою дочь, она говорит, что ребенок должен покушать перед д-дорогой, и подозреваю, что она еще завернет ей с собой все, что мы не д-доедим, если мы не д-доедим. Мне тридцать пять, я, в сущности, уже ст-тарый человек, и Мне, хотя бы иногда, хочется есть пищу, приготовленную руками моей матери. А для нее это просто п-потребность. Пока

был жив отец, она там, в эвакуации, удовлетворяла эту свою п-потребность, до самого конца готовя ему пищу. В последнее время п-почти из ничего. Вп-прочем, догадываюсь, она в это "п-почти ничего" клала каждый раз кусочек души. Наверное, кусочек души, вложенный и пищу, п-придает ей какой-то вкус. Теперь, когда отец умер и она живет у меня, она страдает, что я ем в редакции. Я вижу, как на нее п-посте-пенно накатывает тоска, и по нескольку дней ломаю себе голову, как достать что-то, при помощи чего она п-попробует доставить мне радость Иначе она просто умрет от горя... Как тебе известно, я в пятнадцать лет п-покинул своих родителей, вступив на путь пагубной для меня самостоятельности, и только теперь, на ст-тарости лет, начал понимать, почему я так любил отца и так люблю маму. Именно потому, что я их рано п-покинул. И хотя я всю жизнь считал, что они мне не т-так уж нужны, - мне их всю' жизнь не хватали. Она очень п-поздно меня родили, и им тоже меня не хватало, но они Никогда не жаловались, и я, наверно, любил их за это еще б-болыие. Даже противно, каким умным я делаюсь к ст-тарости...

- Старость - понятие относительное, тем более твоя. - сказал Лопатин.

- Верно. Но если ты имеешь в виду, что ст-тарше меня на двенадцать лет, то в слово "старше" тоже относительно. Просто ты прожил больше меня лет, но я жил один и Почти всю жизнь думал о ней сам с собой. А это вдвое ут-томительней. Одно дело пятнадцать лет п-подряд говорить е твоей Ксенией, а другое дело столько же, и даже больше, говорить с самим собой. При такой нагрузке я чувствую себя вдвое старше своих лет.

- Раз одиночество идет у тебя год за два, - останови этот гибельный счет и женись.

- В п-принципе п-правильно. Но кажется, я буду и дальше продолжать тот неп-равильный образ жизни, к которому привык и которого не п-понимает моя мама. Самое смешное и одновременно п-печальное - ее вера, что она будет счастлива, если я женюсь. Выполняя сыновний долг, я, очевидно, должен был бы жениться на женщине, с которой будет счастлива моя мама. Но, зная себя. я знаю, что мог бы жениться только на женщине, с которой моя мама будет абсолютно несчастна. Сп-прашивается: зачем это делать?

- А какая женщина имеется в виду? Умозрительная или реальная?

- Ты знаешь, в этом вопросе я не т-теоретик. У меня недавно был практический повод подумать над этой проблемой, и повод внешне весьма п-при-влекательный, надо отдать ему должное... Но ты п-понимаешь, какая история - могу п-признаться только

тебе, - в моей старой, ожесточенной холостяцкой душе с годами накопилась какая-то нелепая п-потребность не то отцовства, не то мат-терин-ства. Нап-пример, хотя я понимаю, как это идиотски звучит, но мне кажется, что я не меньше твоего привязан к твоей дочери. А когда я п-после смерти отца привез в эти свои две, пропитанные холостяцким духом, смежно-п-проходные комнаты свою маму, с каким-то собачьим, умоляющим взглядом смотрел на соседей, чтобы они не расск-казали про меня моей маме чего-то такого, чего нельзя рассказывать д-детям. В пятнадцать лет покинув их обоих там, в Воронеже, а сейчас взяв маму к себе, Когда ей уже семьдесят два, я исп-пытываю нелепое чувство, - будто взял к себе давно б-брошенного мною ребенка, за которого я отвечаю и от которого прячу то, во что не следует посвящать д-детей. Это покажется тебе смешным, но я в последнее время стесняюсь п-приходить домой утром. Если я говорю, что до утра работал в редакции, она мне верит, во расстраивается, как я плохо выгляжу. И, п-представь себе, бывает, вместо того, чтобы п-провести остаток ночи с женщиной, я где-то в три часа утра иду п-прямо из редакции домой к маме, размышляя по дороге о странностях любви к родителям...

Гурский говорил о себе с той беззащитной печалью, которая - хочешь не хочешь - вызывает дурные предчувствия. И если бы - Лопатин услышал все это не здесь, в Москве, а где-нибудь на передовой, ему, наверное, стало бы не по себе.

- Чего ты? - спросил Гурский так, словно Лопатин прервал его на полуслове.

- Ничего. Ты говоришь о себе, а я думаю о себе. К которому часу ведено быть?

- Поскольку в восемь уже надо сажать твою дочь в вагой, ведено быть п-пораньше! В пять! И прошу иметь в виду" что к обеду, а тем более праздничному, у нее не смел оп-паздывать даже мой отец. Хотя он не боялся ни бога, ни черта и в свое время, а именно в конце прошлого века, отслужив д-действительную в к-кавалерии, по безумной любви похитил маму в Варшаве и вывез к себе в Воронеж, п-получив ее окончательное согласие только где-то на п-полдороге. Они были невероятно разные люди. Наверно, так вот и надо жениться, чтобы всю жизнь быть счастливым. Как п-по-твоему?

- Быть счастливым не моя специальность, - сказал Лопатив.

- Только не заб-блуждайся насчет меня в лучшую сторону, - сказал Гурский. - Не думай, что я так уж расчувствовался. Просто мне лень сегодня работать.

- Хорошо, будем считать, что я тебе. поверил. Чем это ты обложился? Лопатин заглянул в верхнюю из лежавших на диване

подшивок и увидел, что она за сброковой год.

- Смотрю, чем заканчивались в прошлом оп-перации, связанные с морем. В частности, в Норвегии, в Дюнк-керке и Дьеппе. Нап-писал по заданию редактора обзор о высадке союзников в Нормандии, а теперь п-проверяю свои умозаключения историей вопроса.

- Ну и как? Не спихнут их немцы?

- По-моему, нет. Если бы мы по их п-прогно-зам в сорок первом п-подняли лапки, то еще воп-прос, кто и где бы сейчас высаживался англичане во Франции или немцы в Англии? Но поскольку мы тогда лап-пок не подняли, то теперь, по-моему, их уже. не сп-пихнут. Чего усмехаешься?

- Вспомнил, как сам вчера спорил на ту же тему.

- С кем?

- С одним братом писателем, к чьим прелестям слога вы с редактором оба неравнодушны.

Гурский прищурился, секунду подумал я назвал имя.

Лопатин кивнул.

- А ты, оказывается, все-таки завистлив, - сказал Гурский. - И я знаю п-почему. У тебя не хватает вооб-ражения даже на заголовки. Рожаешь в муках какую-то скукоту, "Ночь как ночь". А он к твоей ночи завернул бы такой эпитет, что редактор зак-качался бы от вост-торга...

- Я в глубине души всегда был завистлив, - сказал Лопатин. - Мне всегда казалось, что если я что-то знаю намного лучше, чем кто-то другой, то я должен и написать лучше, чем он. А это далеко не всегда получается. И в этом и состоит та, обидная для нас, людей средних способностей, высшая несправедливость, которую имеем в виду, когда говорим про кого-то: талант есть талант! Сами про себя думаем, что мы я правильней, и умней его, и лучше, чем он, воспользовались бы таким божьим даром, а все же говорим талант есть талант - не про себя, а про него.

- Если ждешь возражений, то их не будет, все п-правильно. Хотя мне тебя нисколько не жаль, несмотря на твои средние, по т-твоему мнению. сп-пособности.

Лопатин усмехнулся. Ему тоже не было жаль себя, ив сейчас, ни раньше. Во всяком случав, с тех пор как годам к тридцати с хвостиком он определил для себя меру своих способностей и понял, что может и чего не может. Наверно, это и есть знать себе цену.

- Вот что делает с людьми длительное затишье на всех фронтах, - сказал Гурский. - Начинаем заниматься самоанализом, который эк-кономней было бы отложить до конца войны. А шляпу я бы на твоем месте не над-девал. Мне она идет, а тебе нет1 \

- А вот моей дочери, представь себе, нравится, - сказал Лопатин и, надев шляпу, позвонил домой. - Я иду. Выходи.

- Подожди минуточку. - Нина несколько секунд невнятно говорила с кем-то, очевидно, прикрыв рукой трубку, и потом звонко крикнула: - Я тоже, прямо сейчас бегу навстречу.

- Смотрите не оп-поздайте к обеду, мама этого не п-потерпит, повторил Гурский.

9

Лопатин шел навстречу дочери по Малой Дмитровке и думал: с кем же она там говорила, прикрыв ладошкой трубку, кто мог забрести к ним в этот последний день?

Уже пересекая Пушкинскую площадь, он увидел быстро шагавшую Нину и рядом с нею Велихова, не того, в госпитальном халате и тапочках, а одетого по всей форме - в новенькой фуражке и при орденах. И прежде чем они его заметили, подумал, что бесполезно лгать самому себе: да, ему и странно; и немножко страшно видеть их вместе: Велихова, перетянутого полевыми ремнями, с пистолетом на одном боку и планшеткой на другом, и дочь - скуластенькую, с неизвестно когда успевшими выгореть до соломенного цвета, коротко остриженными волосами, широкоплечую, длинноногую, почти вровень с ним, но все равно такую еще девчонку...

Они не держали друг друга под руку, но шли тесно, рядом, и по оживленному лицу дочери Лопатин почувствовал, как она довольна тем, что идет по Москве, как большая, вместе со взрослым человеком, офицером, на ордена и Золотую звездочку которого оглядываются прохожие.

- Здравия желаю, товарищ майор, - останавливаясь перед Лопатиным, сказал Велихов, и, хотя при этом улыбнулся, щека у него болезненно дернулась, и Лопатин подумал, что Нина, наверное, слишком быстро тащила его навстречу отцу. Велихов был без палки, но с тех пор как он ходил, опираясь на нее,

прошла всего неделя.

- Здравствуйте, товарищ капитан! Виноват, майор! - поправился Лопатин. На погонах Велихова вместо четырех капитанских звездочек была одна, майорская, - Когда это вы успели?

- Вчера получил документы о присвоении и назначение заместителем командира полка. Через час отбываю поездом. Вещи оставил в камере хранения на Белорусском вокзале, а сам - к вам.

- Молодец, что зашли. Тем более еще и военную тайну выдали, где вас искать. С Белорусского вокзала, надо полагать, по направлению к Белоруссии движутся? - Надо думать, так, - весело сказал Велихов.

- А раз так, то зайдем к нам и выпьем посошок на дорогу, если мне дочь разрешит. Авось когда-нибудь и я двинусь по вашим стопам.

- Спасибо, Василий Николаевич, но я вас провожу до дому и - прямо на метро. Мое время уже вышло.

- Я Михаилу, когда он пришел и сказал, что уезжает на фронт, сразу предложила выпить рюмку на дорогу. Но он чего-то застеснялся...

- Я не застеснялся, а вы сказали, что вы со мной не будете, А что же я один...

- Правильно, - сказал Лопатин, - она же еще несовершеннолетняя. Хотя докладывала мне, что, как начинающий медик, пробовала в Омске разведенный спирт. Но неудачно - поперхнулась. Как с ногой? Не слишком быстро она вас тащила?

- Старался не отставать, - рассмеялся Велихов.

По наблюдениям Лопатина, все те три вечера, что Нина приходила к нему в госпиталь, Велихов то и дело попадался ей на глаза, несколько раз заговаривал с ней, а в последний день утром, когда Лопатин уезжал, помог ей упаковать отцовское обмундирование и книги и, хотя сам еще опирался на палочку, отнял у нее чемодан и дотащил до машины.

- Ну что, Миша, - сказал Лопатин, когда они подошли к подъезду и настало время прощаться. - Доберетесь до места службы, сообщите свою полевую почту.

- Я уже вашей дочери оставил, - чуть запнувшись, сказал Велихов, пожимая ему руку.

- Тем лучше. Надеюсь, она от меня не утаит. А я, если окажусь в тех краях, постараюсь добраться до вашего полка. Посмотрю, какой вы там, у себя. Я человек любопытный.

- А я, Василий Николаевич, - сказал Велихов, - когда кончится

война, постараюсь добраться до вашего дома и, если Нина Васильевна не обзаведется к тому времени супругом, наберусь храбрости и посватаюсь. Если, конечно, будет на то разрешение...

- С разрешения неинтересно, - сказала Нина, покраснев от собственной бойкости.

- Если долго провоюем, можете еще и на фронте успеть с нею встретиться, - сказал Лопатин. - Она ведь собирается кончать курсы и непременно после этого на фронт! И не просто на фронт, а на передовую, желательно в санчасть полка, а еще лучше - в батальон.

- Не дай вам бог, зачем это? - сказал Велихов, так переменившись в лице, что Лопатину .показалось, что сама мысль об этом была связана у него с каким-то происшедшим на его глазах, не забытым несчастьем. - Медицинская служба большая, зачем вам непременно в полк, а тем более в батальон?

С него словно ветром сдуло то веселое настроение, в котором он был до этого, и в голосе послышалась ничем не прикрытая тревога человека, слишком хорошо знающего войну.

- Извините меня, но вы же еще совсем девочка, как-нибудь и без вас там обойдется! Зачем вы своего, отца волнуете, как вам не стыдно?

Нина стояла молча, закусив губу. Наверное, ей хотелось выпалить, что она все равно уже решила и все будет так, как она решила. Но она не сказала этого, сдержалась, потому что на самом деле была намного душевно старше, чем это казалось заместителю командира полка, гвардии майору Велихову.

- Извините, - сказал он, в голосе его была все еще непрошедшая тревога. - До свидания!

И ой осторожно пожал протянутую ему Ниной руку.

- До свиданья, Миша, - сказал Лопатин. - Если не свидимся на войне, а я съеду с этой квартиры, найдете меня через "Красную звезду".

Беликов, простившись, пошел дальше вниз по улице Горького к метро, а Нина хотела сразу войти в подъезд, но Лопатин, задержав ее, продолжал смотреть вслед Велихову.

"Хоть бы этот остался жить", - подумал он, подавляя в себе все непроходившую и непроходившую горечь от известия о смерти Левашова. Как ни приучай себя к мысли, что человек убит уже давным-давно, а все-таки он убит только сегодня, час назад, когда ты узнал об этом.

- Нагородил тут, думает, что напугал меня! - воинственно сказала Нина про Велихова.

- Что промолчала, молодец! А что хотел напугать - глупо! Не тебя пугал, а сам испугался за тебя. Думаешь, не страшно, к

двадцати пяти годам пройдя через все, через что он прошел, представить себе, что вот такая девчонка, как ты, которая хоть чуточку ему нравится, может оказаться там же, где он?

Она смотрела на отца, и он по ее глазам видел, что она только сейчас поняла, какую тревогу у него вызывает задуманное ею для себя будущее. Хотя бы и далекое, но все равно!

- Не сердись на меня. - Она дотронулась до его руки. - Пожалуйста, не сердись. Я понимаю, как тебе не хочется, чтобы это было, но ведь и ты меня понимаешь?

- В том-то и беда, что я тебя понимаю, - вздохнул Лопатин, - Пойдем собираться в дорогу:

Гурский еще раз напомнил мне, что его мама ждет нас к обеду.

- Берта Борисовна! - воскликнула Нина. - Если бы ты знал, какими она меня котлетами накормила в первый день, когда я у них ночевала. Я еще никогда в жизни так вкусно не ела, честное слово!

- Значит, сегодня поешь так же вкусно второй раз в жизни, - сказал Лопатин.

- Почему ты сказал ему, что, может быть, съедем отсюда? - спросила Нина, когда они поднялись по лестнице и подошли к дверям квартиры. - Из-за мамы?

- Даже сам не знаю, почему сказал. А впрочем, знаю. Хочется счастья. А квартира эта не счастливая для людей. И для нас тоже. Разве за исключением той недели, которую сегодня с тобой доживаем. С самого начала нашей жизни тут с твоей матерью все было далеко не так хорошо, как хотелось мне, а быть может, и ей. А для людей, что жили тут до нас, эта квартира была куда несчастливей. "Даже нельзя, стыдно сравнивать! И хотя, когда мы сюда переехали, ты была еще девочкой, я знаю, ты помнишь разговоры об этом. Разве нет?

- Помню, - сказала Нина.

- А осенью сорок первого, когда я перед отъездом в Мурманск зашел сюда забрать валенки, сама судьба мне снова напомнила обо всем этом... Вышел из двери в темноте, а передо мной - младший лейтенант лет восемнадцати, почти как ты сейчас, - спичку зажег и светит. Смотрит на меня, на медную дощечку на двери и спрашивает:

"Теперь вы здесь живете?" Короче говоря, по дороге на фронт зашел взглянуть на пепелище сын тех людей, что жили в этой квартире до нас. Верней, до того, как она почти год простояла опечатанная.

- А они.

- А их, как я понял, уже не было на свете;

Он ничего не сказал о них, но так я понял по его молчанию.

- Но разве ты перед кем-то виноват, что тебе тогда дали эту квартиру?

- Очевидно, нет. Очевидно, я лично перед кем-то другим в том, что именно мне дали потом -эту квартиру, не виноват. Но с этой нашей медной дощечкой, которую он, придя, увидел на бывшей своей двери, у меня все равно было .чувство вины перед ним. Было и осталось!

- Так что же теперь делать?

- Очевидно, теперь уже делать нечего...

- А почему ты мне раньше ничего не рассказал об этом лейтенанте?

- А потому, что ты не была взрослой. А сейчас стала. И эта встреча сидит во мне, как ржавый гвоздь. И хотя мне трудно думать, что ты можешь оказаться на фронте, я рад, что ты храбро смотришь в будущее. Но, вдобавок к этому, не надо представлять себе ни собственную, ни чужую жизнь проще, чем она есть и будет... А для этого тоже нужна храбрость. Всю жизнь. И что самое трудное - всякий раз - заново.

Они стояли перед дверью своей квартиры, и Лопатин видел, как у его дочери подрагивают плечи, словно она оказалась вдруг в холодном и незнакомом ей месте, озябла, но боится оглянуться и посмотреть,, почему ей стало холодно.

- Мне стало так не по себе, просто ужасно, - сказала она, поймав взгляд отца.

- Я очень люблю тебя и верю в тебя, - сказал Лопатин. - Вот и все, чем пока могу тебя утешить. Ничего другого в запасе не имею.

Она стояла перед ним расстроенная и примолкшая, но он не жалел об атом. Если у тебя вдруг возникает потребность выговориться перед семнадцатилетней девочкой, значит, что-то в ней самой разрешает тебе сделать это. И это и есть самое главное в ней, хотя она и чувствует себя сейчас несчастной и еле удерживается от слез.

10

С вокзала Лопатин возвращался один. Вопреки ожиданиям, Гурскому не удалось поехать проводить Нину. Они уже пообедали и собирались все вместе на вокзал; Нина, вызвавшись помочь матери Гурского, перетирала в соседней комнате посуду и кричала: "Сейчас, сейчас, еще минуту... и я готова!", когда зазвонил телефон и Гурского вызвали к редактору.

- Обидно, но дальнейшие проводы отп-пада-ют, - сказал он. - Приказано через четверть часа явиться пред его ясные очи. Хотя, видит бог, я, уходя, т-трижды переспросил его, нужен ли я

сегодня.

- Зачем ты мог ему понадобиться, как думаешь? - спросил Лопатин.

- А я, так же как и ты, не люблю нап-прасно думать. Ты мне как-то говорил про свою Ксению, что никогда не можешь д-догадаться, какая идея п-посетит ее в следующую минуту. У меня с нашим ред-дактором аналогичное п-положение. Может быть, ему всего-навсего не понравились те п-пять заголовков, которые я ему оставил на выбор для твоего рассказа, и он, п-придумав собственный, спешит насладиться моим восхищением. А может, пока мы с т-тобой тут обедали, он решил послать меня на Д-дальний Восток или еще к-куда. под-дальше.

На этот раз Гурский злился на редактора больше, чем обычно. Ему хотелось проводить Нину, и он явно не доверял способности Лопатина объясниться с проводниками вагона. Они уже прощались на улице, а Гурский все еще объяснял, как это надо дедам".

- Снач-чала прояви нач-чальственную строгость, чтобы целость в сохранность т-твоей дочери имела госуд-дарственный оттенок, п-потом взывай к добрым чувствам и уже под к-конец, мимоходом, как будто т-ты мог и не совершать этого, оставь им ту банку мясных к-консервов, которую я тебе вручил для этой благородной цели.

Начальственной строгости Лопатин не проявил. Если за годы войны и приобрел некоторый запас ее, то не для таких, ставивших его в тупик случаев. Но к добрым чувствам, как умел, воззвал и банку мясных консервов отдал.

Проводником вагона была пожилая, высокая, как гренадер, исхудалая женщина. Консервам она обрадовалась, а о своих пассажирах отозвалась коротко, но разнообразно.

- Всякие ездют! Люди и нелюди... В прошлый рейс один одного - пьяный бутылкой, а тот его из нагана... Сдали их - одного в Теогепеу, а другого на кладбище.

Словом, насчет пассажиров успокоила, а про дочь сказала:

- Если вдруг чего, к себе возьму. Сочувствую вам, товарищ фронтовик, что вы за свою жизнь переживаете. А мне уже переживать не за кого: ни мужа, ив сына.

Костистые скулы ее горели нездоровым румянцем: не то трепала лихорадка, не то причиною был даровой глоток сырца или самогонки, - на свои деньги ей это не по карману.

Нива тревоги не проявляла, слушала разговор, как будто он ее не касался. И только в последнюю минуту, уже из окна вагона, высунувшись рядом с грудастой, во весь голос кому-то что-то кричавшей теткой, сказала потянувшемуся, чтобы услышать,

отцу:

- Не беспокойся за меня, пожалуйста. Я же за тебя не беспокоюсь... А то, если ты начнешь беспокоиться, я тоже начну. В отместку!

Она просила его не беспокоиться, а он все равно беспокоился. Она пыталась шутить, а ему шутить не хотелось. И вместо того, чтобы поддержать ее облегчавший прощание шутливый тон, он сказал ей серьезно и даже строго:

- Не будем врать друг другу. Ни в письмах, ни при встречах, ни при прощаниях - никогда! Поняла меня?

- Поняла тебя.

Она попробовала из уже двигавшегося вагона погладить его по голове, но не успела, коснулась только кончиками пальцев.

Она уехала и, наверное, сейчас проезжала те дачные места, где ее родители, когда она была маленькой, три лета подряд снимали комнаты. А Лопатин, выйдя на Театральной площади из метро, медленно шел вверх по улице Горького, обратно в свою снова пустую квартиру, про которую сказал сегодня дочери, что она не приносила людям счастья.

Поднимаясь по лестнице, он думал о сестре. Вот так же, как он, и она уже вернулась или вернется сегодня из школы там, в Омске, в квартиру, где никого нет. Нина приедет к ней только на пятые сутки, а до тех пор - пусто!

Да и когда вернется Нина, все равно недавняя смерть будет и днем, и ночью ходить по этой навсегда опустевшей квартире. Днем, когда люди входят и выходят, гремят посудой и скрипят дверьми, смерть будет ходить по квартире незаметной. А ночью ее будет хорошо слышно, потому что она и есть - тишина.

Да, его сестре сейчас намного хуже, чем ему. Даже трудно сравнить, насколько хуже! В нее не стреляли, ее не бомбили, ее не ранили, не клали в госпиталь, не вынимали из нее пуль, ее просто убили смертью человека, без которого она не может жить. И она ходит там сейчас в школу и обратно домой, не живая и не мертвая, употребляя всю оставшуюся силу характера на то. чтобы этого никто не заметил.

Когда он рассказал сегодня Гурскому про сестру, тот, понизив голос, чтобы не слышала хлопотавшая в соседней комнате мать, ответил, что когда умер его отец и он поехал навестить мать, то вдруг понял, что ей просто не для чего жить одной. Она могла жить для отца, наверное, сможет жить для него, но для самой себя жить не сможет. Это и заставило его выхлопотать пропуск и вытащить ее к себе в Москву.

- То, что с нею еще к-какое-то время пробудет твоя дочь, как-то п-поможет ей, - сказал Гурский про .старшую сестру Лопатина.

"Может быть, как-то поможет", - подумал Лопатин тогда, а сейчас, поднимаясь по лестнице, подумал снова: "Вот именно - как-то! Как подставка с колесиками может помочь передвигаться человеку С отрубленными войной ногами. Как-то, но не больше того!"

Он вошел в квартиру и услышал, как льется вода. Подумав, что они с Ниной забыли закрыть кран умывальника, он дернул дверь ванной, но она не поддалась.

- Кто это? - сквозь шум воды раздался оттуда голос Ксении. - Это ты, Вася? Сейчас я домою голову и выйду.

Она еще что-то прокричала там, за дверью, сквозь шум воды, но он не расслышал.

- Ты меня слышишь? - Это он услышал. - Слышу.

- Проводил Нину? Да?

- Да.

- Хорошо ее устроил в поезде?

- Да.

- Все остальное спрошу у тебя потом. Сейчас домоюсь и выйду.

Она стала говорить что-то еще, но он, преодолев первое чувство ошарашенности, пошел к себе в комнату, взял со стола принесенные ему вчера в подарок папиросы "Казбек", до которых решил не дотрагиваться раньше, чем поедет в армию, вынул папиросу и закурил. Не так уж тянуло курить, а просто захотелось сделать что-то такое" чего не собирался делать раньше.

Значит, она все-таки свалилась ему на голову" думал он о Ксении, и свалилась именно сегодня, и при этом уже знает, что Нина уехала и что он ее проводил.

Но, помимо этих мыслей, было еще что-то, подсознательно тревожившее его. Он не сразу понял - что? Но потом понял: шум воды, там, в ванной, привычный, домашний, напоминавший о их жизни в этой квартире. Опасно напоминавший.

"Что это должно означать? Просто увидела, что газовая колонка работает, и решила помыться с дороги? Или хочет, чтобы я увидел ее во всем блеске? Или, несмотря на мое присутствие, решила в этот приезд жить не там, в комнате мужа, а здесь, подтверждая права, которых у нее никто не оспаривает..."

Но Ксения оставила ему на размышления меньше времени, чем он думал. Через пять минут она уже вошла к нему в кабинет, одетая в летнее, довоенное, чуть широкое ей теперь ситцевое платье и с распущенными по плечам мокрыми после мытья волосами. И он вспомнил, - не мог не вспомнить, - как в декабре сорок первого, в их последнюю встречу, которая была еще встречей мужа и жены, она вышла к нему вот с такими же

распущенными, еще мокрыми после мытья волосами, только не в платье, а в домашнем халате. Вот и вся разница, если не считать, что она еще немножко похудела за те полтора года, что они не виделись. Видимо, не так сладко ей жилось. Впрочем, то, что она похудела, пожалуй, шло ей.

Выйдя, она мимолетно поцеловала его в щеку горячими губами и заходила по комнате с тем деловым видом, который напускала на себя в минуты растерянности. Потом остановилась напротив и глубоко и горько вздохнула.

- Если бы я, как последняя дура, не поехала прямо с вокзала туда, в ту комнату, а приехала прямо сюда, я бы еще застала Нину. Я думала, что эти люди, про которых я тебе писала - про обмен, уже приехали, и хотела сразу поговорить с ними, но они со своей фронтовой бригадой еще болтаются где-то там. И меня как что-то ударило, и я бросилась сюда и узнала, что вы с Ниной только полчаса как сели в машину и уехали на вокзал. Я даже подумала догнать вас, но поняла, что все равно не догоню, и решила вымыться с дороги. Ты не представляешь себе, как грязно в поезде, стыдно было увидеться с тобой, не приведя себя в порядок. Я уже все знаю, соседи мне все сказали. И как Нина брала у них ведро и тряпку, и как тут все мыла и терла перед тем, как ты вернулся из госпиталя, и как вы тут жили и как она бегала на базар покупать тебе простоквашу...

- На то они и соседи, - сказал Лопатин о тех соседях по площадке, которые давали Нине и ведро, и тряпку и еще до войны всегда и все знали, иногда и то, чего не было.

- Какой у нее вагон?

- Обыкновенный.

Она горестно покачала головой.

- Будь я тут, ни за что бы не отпустила ее обратно!

Он ничего не ответил. Хорошо еще, что соседи, а с ними и она не успели узнать о смерти мужа его сестры, а то возник бы разговор еще и на эту, уде вовсе для нее безразличную, но благодарную тему.

- Ну канона? Как она? - не дождавшись ответа, спросила Ксения про дочь. - Мне иногда кажется, она за это время так повзрослела, что я ее не сразу узнаю.

"За это время" значило почти за три года! С июля сорок первого, когда она поспешила отправить ее в эвакуацию вместе со школой, и с тех пор больше не видела.

- Сильно она выросла?

- Сильно, - сказал он и, посмотрев на Ксению, добавил: - С тебя, даже чуть повыше.

- А похожа на меня?

- Чем-то - да, чем-то - нет.

- Я ей три раза посылала фотографии и каждый раз просила прислать мне свою, она так и не прислала.

- Может, ей было не так просто там сняться, но все равно нехорошо с ее стороны. Она мне об этом не говорила. Если б я знал, я бы попросил снять ее у нас в редакции и послал тебе. Не додумался, извини. Сказал и вспомнил про взломанную дверь столовой.

- И прости, пожалуйста, что мы тут с ней сокрушили без тебя замок.

- Чепуха, правильно сделали. Я же, когда приезжала в прошлом году, не знала, что ты окажешься здесь раньше меня и что она к тебе приедет и вы будете тут с нею жить... И вообще я тогда очень многого еще не знала, сказала она с неопределенностью, за которой скрывалось какое-то значение, какое, он еще не понял.

- Как ты себя чувствуешь? Я вижу, ты уже куришь.

- Уже курю.. Воздерживался, но, обнаружив тебя, от волнения закурил. Он поискал на столе глазами пепельницу, которой не было, и, не найдя, примял и погасил в пальцах докуренную до мундштука папиросу.

Она посмотрела на него с недоумением, колеблясь, что означают его слова - иронию или неожиданную для нее откровенность. И села у стола в. его кресло

- Теперь давай поговорим!

В других случаях равнодушный к удобствам и неудобствам, он терпеть не мог, когда она вот так садилась у его стола в его рабочее кресло и заводила с ним длинные разговоры. Ему пришлось сесть напротив нее на край тахты, и его сердила непривычность для себя этого места в этой комнате.

- О чем поговорим? - спросил он, ожидая, что она сейчас заговорит о том, для чего явилась, - об обмене.

Но она заговорила совсем о другом.

- Я ужасно рада, что открылся этот второй фронт. Теперь, наверное, все гораздо быстрей кончится и тебе после такого тяжелого ранения уже не придется никуда ездить.

Спорить еще и с ней, скоро или не скоро теперь все кончится, ему не хотелось, и он сказал только о себе, что почти здоров и ездить на фронт ему еще придется.

- Пятнадцатого сентября тебе будет сорок восемь, - сказала она. - А мне говорили, и я это сама знаю по нашему театру, когда у нас брали людей, что предельный возраст для фронта - сорок шесть.

- Предельный возраст призыва устанавливается для рядового

состава, сказал Лопатин, - и притом, когда людей берут в армию, а не тогда, когда они уже служат .в ней. А кроме того, я хотя и липовый, с точки зрения кадровых военных, но все-таки майор, и на меня твои соображения о возрасте не распространяются. Но возраст есть возраст, ты права, и свои сорок восемь я, разумеется, чувствую.

- Хотя выглядишь ты неплохо, я рада. - Она постучала по столу, чтобы не сглазить.

- Ничего удивительного. Отъелся и отоспался, кроме того, ежедневно моюсь и бреюсь, сегодня тоже.

- А как спишь?

- Как всегда, хорошо.

- А у меня последнее время бессонница.

- Почему?

- Слишком многое пришлось бы объяснять, а ты не любишь, когда я рассказываю о себе.

Она ожидала, что он все-таки спросит, но он не спросил. Смотрел на нее и думал, что, может, и не врет про бессонницу. Похудевшая и все еще красивая, но, несмотря на все свои прежние замашки, там, внутри, неуверенная. С чего бы это?

- Ты сказала: давай поговорим. Наверное. это действительно надо, причем нам обоим.

Она вскинула на него свои прекрасные круглые глаза и, как ему показалось, внутренне вздрогнула, может быть, в ожидании чего-то, чего он вовсе не собирался говорить.

- Начнем с твоего письма, - сказал он.

- Не хотелось бы начинать с этого, - сказала она.

- Почему?

- Люди эти не приехали, обещали - не приехали, обманули меня.

- Почему же - обманули? Наверно, не спросясь артистов, задержали на фронте всю их бригаду. Как-никак все же война.

- А меня все равно обманули, и война тут ни при чем, полукапризно-полусердито сказала она. - Они мне испортили все настроение. Если хочешь знать, я еще в дороге загадала, что, если они не обманут и явятся, мы с тобой и с ними все сразу сделаем, чтоб уже ни о чем не думать. А если их не окажется, то и черт с ними - пусть все будет, как было.

- То есть?

- Пусть до конца войны все будет, как было.

- Зачем же ты морочила мне голову своим письмом? Мы тут с Ниной ломали головы, спорили, как быть, а теперь выясняется, что можно ждать до конца войны!

- А о чем вы с ней спорили? - пропустив остальное мимо

ушей, спросила она.

- Спорили, соглашаться или не соглашаться менять с этими людьми не только твою, но и ее комнату. Оставлять или не оставлять уже взрослую, семнадцатилетнюю девку без своего угла? Поскольку ты сама об этом не подумала.

- Я ведь написала, что всегда, в любую минуту готова поселить ее у себя...

- На сколько - на неделю, на месяц? Извини меня, но это несерьезно.

- А что она сказала?

- Сказала: пусть все будет так, как хочет мама. Хочет менять две комнаты - пусть меняет!

- Она добрая девочка, - растроганно сказала Ксения. - Добрая, но девочка, все-таки девочка... А что ты решил?

- Решил сопротивляться, и твоему напору, и ее доброте, но если ты действительно откладываешь все это до конца войны, будем считать, что я ничего не решал.

- А у тебя тогда там, в Ташкенте, что-нибудь было? - вдруг спросила Ксения.

- Оставим этот разговор, - сказал Лопатин. - У кого из нас с кем, когда и что было... Вряд ли нам обоим задним числом так уж интересно знать это друг о друге.

- Мне сначала показалось, что было, - сказала Ксения. - Но потом, уже без тебя, я поняла по моей бывшей подружке, что, наверное, ничего не было.

- А почему бывшей? Вы что с ней, поссорились?

- Нет, просто от нас отселилась Зинаида Антоновна, живет теперь в другом месте. А она ведь ходила не столько к нам, сколько к ней. Ходит теперь к ней туда. Между прочим, вскоре после твоего отъезда она чуть было не вышла замуж.

- Кто? Зинаида Антоновна? - через силу пошутил Лопатин.

Ксения рассмеялась.

- Если бы в ее правилах было бросать мужей, то она бросила бы мужа только ради тебя, так ты ей понравился своей, как она после твоего отъездавыразилась, необыкновенной обыкновенностью. Я, грешным делом, так и не поняла, что это значит, но она ведь гений, и мы обязаны знать наизусть все ее изречения, даже непонятные.

- Может, и не гений, - сказал Лопатин, - но женщина, в присутствии которой хочется стать умней, чем ты есть. Желание, возникающее не так уж часто.

- При желании, наверно, сможешь увидеть ее здесь, - сказала Ксения, она еще до моего отъезда улетела в Москву, чтобы отсюда съездить на фронт к мужу. Получила не то вызов, не то

разрешение и не захотела ждать до конца августа, до сентября, когда мы все вернемся.

"Вернемся" - очевидно, сказано про тех, кто уезжал в эвакуацию из Москвы в Ташкент. Ника для их театра - ташкентская, временная, и в понятие "вернемся" не входит. "И хорошо, что не входит", - попытался солгать себе Лопатин.

"Значит, все они к концу августа, к сентябрю возвращаются сюда, - с трудом отбросив мысль о Нике, подумал он. - И Зинаида Антоновна, и все другие их артисты, и Ксения, и ее Евгений Алексеевич. Как же понять тогда ее готовность отложить до конца войны еще недавно казавшиеся ей неотложными квартирные дела? Как совместить одно с другим?" В этом было что-то опасное, как в том знакомом шуме воды, который он услышал, войдя в квартиру. Он смотрел на Ксению и ждал, потому что все, что она говорила до этого - и про Нику, и про Зинаиду Антоновну, была только заполненная болтовней пауза перед чем-то важным для нее.

- Вот так и будем сидеть и молчать? - после того как они молча просидели друг против друга целую минуту, спросила Ксения, снова подняв на него свои круглые глаза. - Что у вас с Ниной за проклятая порода - что у тебя, что у нее! Никогда ничего не можете спросить сами, никогда не хотите знать, что со мной на самом деле: что написала, то и написала, что сказала, то и сказала - и все, и больше вам ничего не нужно! А подумать, что со мной может случиться что-то такое, о чем мне трудно заговорить самой, о чем меня надо спросить, - нет, на это вас никогда- не хватало! Ну хорошо, я тебе скажу сама. У меня последнее время все плохо, а в самое последнее время совсем плохо. Он меня совершенно не понимает.

С этого начались жалобы на нового мужа. Лопатин хотел остановить ее, но не остановил: понял - нужно или сейчас же встать и уйти, или сидеть и слушать ее, пока не выговорится. Уйти было проще, но неизвестно, что тогда делать потом. Остаться и слушать было трудней, но, наверное, правильней,

Оказывается, Евгений Алексеевич не понимал ее уже давно, чуть ли не с самого начала. Во всяком случае, когда Лопатин полтора года назад был в Ташкенте. Евгений Алексеевич уже не понимал ее.

- Но не могла же я объяснять тебе всего этого тогда, - сказала Ксения. - Наоборот, старалась сделать вид, что у меня все хорошо, чтобы ты был совершенно спокоен за меня.

Он ease удержал себя от иронического "спасибо".

А потом, через полгода после приезда Лопатина, Евгений Алексеевич, оказывается, снял ее с должности завлита в театре.

- То есть как снял? - не сразу понял Лопатин.

- Очень просто, у нас была неудача с одной, по-моему, очень хорошей пьесой, а потом они не взяли еще одну пьесу, которую я предложила, тоже хорошую. А потом я сама немножко переделала пьесу автора, которого не было в Ташкенте, и, по-моему, очень хорошо, а он приехал - и взбеленился. И человек, который называет себя моим мужем, не нашел ничего лучшего, как заявить мне, что ему придется взять на мое место кого-то другого. И взял вместо меня одну женщину, - нет, ничего такого, просто старуха, которая, по его мнению, все понимает и умеет, - а меня перевел во вспомогательную труппу. И я теперь как дура выхожу на сцену, чтоб сказать несколько слов за весь вечер. А он, не краснея, говорит, что, слава богу, у меня благодарная для сцены внешность, а то он не мог бы сделать для меня и этого!

- Ты ничего не писала об этом

- Не хотела! Думаешь, приятно Писать о таких вещах? Я хотела пойти завлитом в местный театр, и он при своих связях мог бы устроить это, но заявил мне, что их завлитша, хотя н оставляет желать лучшего, бедствует с двумя детьми на руках и у него не повернется язык говорить обо мне. Ровным счетом ничего не пожелал для меня сделать! Хотя я всегда и все для него делала, а жизнь с ним совсем не такая радость, как может показаться. У него диабет, и не просто, а тяжелый, он сам колет себе инсулин, боится приступов, и я постоянно переживаю из-за него.

- И давно это у него?

- Давным-давно. Еще до войны. Я полюбила его, несмотря ни на что, но он об этом не хочет помнить.

"Значит, вот почему он при своем бравом виде и призывном возрасте оказался не на войне. И при встрече там, в Ташкенте, не стал сообщать мне о своей болезни - другой на его месте поспешил бы доложиться, а этот - нет! с чувством запоздалой симпатии к человеку, так или иначе, но отобравшему у него жену, подумал Лопатин. - Странно, что промолчала Ксения. Казалось, чего бы лучше тогда в Ташкенте объяснить своему первому мужу обстоятельства, оправдывающие ее второго мужа!"

- Удивительно, что ты мне сообщаешь об этом только сейчас, - сказал он вслух.

- Ничего удивительного. Я когда узнала, что ты приедешь в Ташкент, заранее решила, что непременно скажу тебе об этом, чтоб ты знал про него, что он/ не какой-нибудь тыловой ловкач- Но он мне запретил. А с ним не очень-то поговоришь! Вот ты сидишь сейчас, и я говорю тебе вещи, которые ты, может быть, не разделяешь, но ты сидишь и слушаешь, потому что ты человек

другого воспитания. А он, если ему что-нибудь не нравится, н договорить не даст!

"Да, не давать тебе говорить - самое жестокое, что можно с тобой сделать, - подумал Лопатин о Ксения. - Я додумался до этого только к середине нашей совместной жизни, а он начал сразу закручивать гайки. И рядом с этим кремнем я, со своими былыми вопиющими недостатками, начинаю теперь казаться ей чем-то вроде облака в штанах, к сожалению, сорокавосьмилетнего".

Ему надоело сидеть, и он заходил во комнате. В былые времена она остановила бы его, но сейчас не остановила: ей не терпелось выговориться до конца.

Он ходил взад-вперед, а она продолжала говорить и, когда он поворачивался, почти всякий раз ловила глазами его глаза.

Последняя, самая крупная провинность Евгения Алексеевича, оказывается, состояла в том, что две недели назад, прилетев на несколько дней в Москву по делам театра, он не вошел в госпиталь к Лопатину.

- Ничего не взял на себя. Все самое трудное, как всегда, свалил на меня, - сказала Ксения.

А свалил на нее он, оказывается, объяснение с Лопатиным насчет обмена. Несмотря на все ее просьбы поговорить с Лопатиным как мужчина с мужчиной, категорически отказался, сказал, что у него есть хорошая комната и, если она хочет с ним жить, они будут жить в этой комнате до конца войны. А если она не хочет жить с ним в этой комнате, то у нее есть своя комната в квартире Лопатина, и она может туда возвратиться - это ее дело! А он не пойдет к ее бывшему мужу, лежащему после тяжелого ранения в госпитале, и не будет морочить ему голову разговором об обмене комнат.

"Скажи пожалуйста, везет же ей на хороших людей!" - подумал Лопатин, усмехнувшись тому, как без Колебаний, самодовольно отнес себя к числу хороших людей, на которых ей везет.

- Сказал мне, что ему, видите ля, стыдно и чтоб я зарубила себе это на носу. Так и выразился. И что не советует мне этого делать, потому что ему будет стыдно за меня! Он, оказывается, знает, что стыдно и что не стыдно, а я не знаю! - раздраженно говорила Ксения. - Мне плохо с ним, Вася, плохо. И самое плохое, что мне некому об этом сказать, кроме тебя.

В наступившей тишине она сообразила, что сказала что-то не то, и мгновенно заплакала. И ему пришлось доставать из кармана бриджей платок, потому что она не только плакала, но при этом растерянно оглядывалась, где бы взять что-нибудь, чем вытереть

слезы.

- На, возьми, - сказал он, протягивая платок, - чистый. Нина погладила и сунула в карман, но я не пользовался.

Его слова о Нине, которая погладила ему платок, вызвали новый приступ слез. Приложив платок к лицу и сразу же оторвав его, она, плача и улыбаясь сквозь слезы, смотрела на него умиленно и радостно, как на что-то навсегда утраченное и вновь обретенное.

Лопатин помнил это ее выражение лица, которому она знала цену и которое появлялось у нее не часто, а только в самые драматические моменты их былых объяснений. Если б не помнил, его бы, наверное, проняло.

Еще раз пройдясь по комнате, он остановился и стоял не оборачиваясь. Стоял и думал: где же все-таки у человека эта пропасть между притворством перед другими и притворством перед самим собой? И всегда ли, даже самый неискренний, человек замечает этот свой прыжок через пропасть?

- Вася, - позвала она.

- Да? - Он повернулся к ней.

- Я подумала сейчас, что мы с тобой оба, наверное, не поняли друг в друге чего-то самого главного...

"Ну, вот и приехали туда, куда, оказывается, ехали с самого начала", подумал он, встретив ее ожидающий взгляд.

- Пойди в ванную, умойся, успокойся и приходи обратно, а то мне тебя жаль.

- Правда, жаль? - сквозь слезы спросила она. - Правда, жаль?

- Конечно.

И она, почувствовав по его голосу, что это действительно правда, все еще продолжая плакать, поднялась и несколько секунд стояла, кажется, не решив, что делать - обнять его, боясь, что он отодвинется, или послушаться, выйти и вернуться красивой и спокойной, взявшей себя в руки, такой, какой он когда-то любил ее после ее слез и раскаяний. Поколебавшись, она пошла к дверям, бросив на стол мокрый платок, но через два шага вернулась, чтобы взять его с собой. Наверное, ей показалось некрасивым оставлять здесь этот зареванный платок - неизвестно было, что потом с ним делать.

Лопатин ходил и думал над неожиданностью всего этого. Не так уж она корыстна, чтобы хотеть вернуть его себе только потому, что его имя за три года войны стало намного известней, чем раньше, и дальнейшая жизнь с ним может оказаться благополучней, чем жизнь с этим ее директором театра. И не настолько расчетлива, чтобы где-то еще по дороге обдумать все это до конца. Наверное, все гораздо проще: этих людей там, в той

квартире, в самом деле не оказалось на месте, и ее что-то толкнуло поехать оттуда сюда, и уже здесь она вдруг подумала: "Господи! А что, если не возиться со всеми этими обменами, со всем этим неопределенным будущим, а что, если вдруг можно просто приехать в Москву и жить в этой квартире, как жили в ней до войны, жить, как многие другие люди, которые жили вместе до войны, а потом не жили вместе, а сейчас опять живут вместе; и никого ни о чем не просить, и ничего не добиваться; жить, как выйдет, снова с этим сорокавосьмилетним человеком". Наверное, все это и нахлынуло сейчас на нее, никогда не допускавшую мысли, что ее может не хотеть какой-то мужчина.

Она вернулась умытая, красивая и спокойная и села в его кресло, как школьница, положив руки на колени и всем своим видом показывая, что приготовилась слушать его.

А что ему было сказать, когда он думал совсем не о том, будут или не будут они снова жить вместе, потому что знал - не будут, - а думал совсем о другом: где ее вещи - оставила ли она их с дороги там или привезла сюда? В коридоре их не было видно, но чемоданы могли стоять и у нее в комнате. Он смотрел на нее, все ясней понимая, что ничего не должен ей говорить. Отвечать "нет" на исповедь женщины, у которой вырвались слова, которыми она, в сущности, предлагала тебе взять ее обратно, значит, совершать ненужную жестокость, а ненужная жестокость - одна из самых подлых вещей на свете. Лучше просто не понять этой исповеди. Настолько не понять, чтобы ей самой потом было легче уверить себя, что она вовсе не это имела в виду. И вместо того "да", которого она ожидала, и того "нет", которого ему не хотелось произносить вслух, он спросил у нее, на сколько дней она приехала в Москву и где собирается жить, там, у Евгения Алексеевича, или здесь, в своей комнате.

- Это зависит от тебя, - сказала она. еще не поверив, что продолжения того, начатого ею в слезах, разговора уже не будет.

- Почему от меня? Делай, как тебе удобнее.

- А мне теперь нечего больше делать здесь, в Москве. Раз он ... "он", сказанное ею об Евгении Алексеевиче, прозвучало враждебно, - не хочет ничего делать до конца войны, а ты, кажется, сам не знаешь, чего ты хочешь, я одна взваливать все это на свои плечи не буду. Отмечу командировку, потому что, хотя я теперь актриса вспомогательного состава, но новую пьесу я им из Москвы привезти должна, никто другой, кроме меня, этого, как выяснилось, .не может, - достану билет - и уеду.

- А где твои вещи, там или здесь?

- Здесь. А что? - с вызовом спросила она.

- Подумал, если ты оставила их там, а решила жить здесь,

надо помочь тебе привезти их.

- Нет, они здесь, - сказала Ксения. - Я решила остановиться здесь. - И снова повторила: - А что?

- Хотел знать, чтоб не мешать тебе.

- Ты мне не мешаешь, это я тебе мешаю. Мешаешь ты ей или мешает тебе она, все это были слова, а нагая истина, стоявшая за этими словами, заключалась в том, что они - бывшие муж и жена, еще не так давно, несколько лет подряд, спавшие в этой квартире, иногда в одной комнате, иногда в разных, - должны были после перерыва в три года снова остаться в этой квартире на ночь и потом еще несколько дней и ночей, пока она не уедет, жить здесь, встречаться и слышать за стеной друг друга. Он отчетливо, со знанием дела, на которое обрекала его память о прошлом, представил себе остаток нынешнего вечера здесь, в этой квартире, как все это может начаться, чем продолжаться и чем кончиться. А вслед за этим представил себе завтрашнее утро, именно утро, и вообще все, что за этим бессмысленно потянется, и от одного того, что, оказывается, все еще мог представить себе все это, обругал себя дураком. Мужчине под пятьдесят лет оказаться в роля соблазняемой невинности - чего уж дурее этого.

- Сделаем с тобой так, - сказал он вслух. - Пока ты здесь, я поживу в другом месте, у меня есть где жить.

- Но у меня тоже есть где жить, я могу уехать туда, если тебе так уж страшно в одной квартире со мной. Если хочешь, - Ксения улыбнулась, - могу дать подписку, что не буду соблазнять тебя.

- Спасибо, но боюсь поручиться за себя, - не удержавшись, усмехнулся он и, заметив промелькнувшее в ее глазах знакомое выражение, поспешил серьезно добавить: - Лучше на старости лет не устраивать в этой квартире квадратуры круга. Допускаю, что твой Евгений Алексеевич не прав, заставляя тебя откладывать квартирные дела до конца войны. Когда приедете вместе с ним осенью, соберемся и обсудим, как проще и лучше сделать.

Так почти незаметно он вернул ее обратно к нынешнему, чуть было не оставленному в мыслях мужу.

Она сидела, прибитая неожиданным и лишенным всякого драматизма оборотом дела. Сидела и ждала, не добавит ли он что-то еще.

- А теперь я пойду, - добавил он единственное, что ему Оставалось, и, выйдя в переднюю, надел шинель и фуражку.

Она вышла вслед за ним и стояла, прислонившись к стене и скрестив на груди руки.

- Тебе правда есть куда сейчас идти?

- Да, есть. - Он подумал, что сегодня придется свалиться на голову Гурскому, а там будет видно.

- Ты идешь ночевать к женщине? - спросила Ксения понимающе-печальным голосом.

- Допустим, что так.

- Я уже думала об этом, - все так же печально-понимающе сказала Ксения.

- - Да, извини, пожалуйста. - Он зашел в кабинет, взял со стола лежавшую там тетрадь дневника, в которой после долгого перерыва собирался, вернувшись с вокзала,, сделать первую запись, и, подумав о Гурском, нашарил в ящике запихнутые туда, про запас, пол-литра водки. Сунув и то и другое в карманы шинели, покосился на папиросы, но не взял их - решил выдержать характер. Когда он снова вышел в переднюю, Ксения стояла в прежней позе, прислонясь к стене, скрестив руки на груди.

- Ну что ж, до свиданья.

- До свиданья, - глядя в потолок, чуть слышно сказала она.

Когда он захлопывал дверь снаружи, ему показалось, что она там, за дверью, заплакала.

11

В прихожей, огромной, барской, а теперь уже четверть века коммунальной квартиры, где жил Гурский, Лопатина встретила Берта Борисовна.

- Его еще нет. Он уже два раза звонил, что идет, и все не идет. Идите, идите, я дам вам чаю, - говоря все это, она шла впереди Лопатина подрагивающей, но все еще быстрой походкой по хорошо знакомому ему, широкому, похожему на крытый рынок, коридору, с обеих сторон заставленному столами, столиками, шкафчиками, этажерками, велосипедами, лыжами, сундуками, ножными швейными машинками, - всем, что не помещалось в комнатах.

- Как вы проводили свою Ниночку? Как она, бедная девочка, поехала? Хорошие ли с ней люди? Вагон, наверное, грязный, да? Хорошо, что это лето, а не зима, верно? - не давая Лопатину возможности ответить, спрашивала Берта Борисовна, посадив его за стол и заваривая чай. - Я бы сто раз умерла, если бы у меня была дочь, а не сын. Почему вы так спокойно сидите? Я бы все время, пока она едет туда, каждую минуту вскакивала.

Она первая рассмеялась над собственными словами и была довольна, что Лопатин тоже рассмеялся.

- А зачем я спрашиваю. Хорошие ли люди поехали с вашей Ниночкой? А почему с ней должны ехать плохие люди? Я когда ехала сюда из эвакуации, со мною ехали все такие хорошие люди, особенно одна женщина, что я скучала по ней в Москве, пока она не пришла. А теперь она ходит к нам так часто, что Боря уже сердится!

- Молодая?

- По-моему, молодая, но он говорит, что нет. Мужчины почему-то всегда хотят, чтоб женщины были гораздо моложе, чем они сами. Вы не замечали этого?

- Замечал, - улыбнулся Лопатин, - но у меня это уже два раза плохо кончилось.

- А вы попробуйте в третий. Или вы уже не хотите? - Говоря все это, она налила чай Лопатину и наконец присела сама.

- А себе? - Лопатин кивнул на ее пустую чашку.

- Я буду ждать Борю. Меня немножко беспокоит, что он позвонил и сказал приготовить ему три пары чистых носков и погладить носовые платки, трусы и майку. Как будто все это лежит нестираное в неглаженое! Когда мы жили в эвакуации в Барнауле с Бориным папой, мы тоже беспокоились. Но вы знаете, это легче, когда вы беспокоитесь сразу двое и все время говорите друг другу; "Пожалуйста, не беспокойся!" Глупо так думать, но мне почему-то казалось, что вот я приехала сюда - и он уже больше никуда не поедет.

- Ничего не поделаешь, вам придется привыкнуть к его отъездам, сказал Лопатин. - Его не любит отпускать редактор, потому что он нужен здесь, но думаю, что он еще несколько раз до конца войны поставит на своем и съездит на фронт. Не знаю, что бы я ответил, окажись на вашем месте моя покойная мать, но, наверно, в таких случаях лучше говорить правду.

- Если бы Боря узнал, что я заговорила об этом с вами, он бы очень рассердился на меня! Но я вас не боюсь, а его боюсь.

- Я тоже, - улыбнулся Лопатин.

Она рассмеялась и потрогала чайник, не остыла ли заварка. Что бы она ни делала и чтобы ни говорила, ею все равно владела мысль о сыне: через сколько минут он придет и что ей скажет про эти три пары носков, белье и платки, которые так срочно понадобились, что он звонил про них по телефону.

- Остывший чай он не любит, - сказала она. - Очень горячий тоже не любит...

- А вы и рады, что он капризничает?

- Что он немножко капризный, вы правы. Но он очень заботливый.

- Это я знаю по себе, - сказал Лопатин и увидел Гурского, стоявшего в дверях за спиной матери. Он был в военной форме, которую держал не дома, а в редакции и надевал, только когда ездил на фронт. Но на этот раз, неожиданно для Лопатина, привыкшего .видеть его в гимнастерке без знаков различия, на плечах у него были полевые погоны с капитанскими звездочками.

- П-по-моему, вы меня хвалили? Можете п-продолжать.

- Хватит и того, что успел услышать, - сказал Лопатин. - Поздравляю с капитанским званием. Все-таки не выкрутился,, забрел тебя редактор, дал четыре звездочки!

- Лучше бы он вст-тавил мне другие глаза, вместо моих минус п-пять! В последний раз в Рум-мынии, увидев меня без знаков различия, один наш бдительный подп-полковннк хотел захватить меня в п-плен. И ред-дактор, рассвирепев, обещал превратить меня в кап-питана. Результат п-перед вами.

- Чай будешь вить? - спросила мать у Гурского.

- Поскольку все остальное мы п-прикончили за обедом, придется вить чай. Став кап-питаном, я п-попытался под это дело выставить редактора на сто грамм коньяку, который, по моим сведениям, у него имеется, но он объяснил мне, что его коньяк д-достоит до моего возвращения.

Лопатин ожидал, что Берта Борисовна спросит сына, куда он собрался, но, она не спросила и стала наливать чай.

- Куда и на сколько едешь? - спросил вместо нее Лопатин.

- Пока п-предписание на неделю, моего назначения - Ленинград, средство п-передвижения - довоенное: поезд "Красная стрела", отходящий, - Гурский взглянул на часы, - через пятьдесят две минуты. Известный тебе мастер фотоэт-тюдов на фронтовые темы, Виктор Брагин, находится внизу в "виллисе". Завезет меня на вокзал, а сам будет жать до Ленинграда своим ходом.

- Почему ты не пригласил его выпить чаю? - спросила у Гурского мать.

- П-приглашал, но, узнав, что у нас с тобой. кроме од-деколона, который я уп-потребляю только по п-прямому назначению, других спиртных напитков нет, он предпочел не тратить времени зря. П-пожалуйста, мама, собери мне тот маленький чемоданчик, с которым я приезжал к тебе в Барнаул. И кроме того, что я уже п-просил, положи ботинки, костюм, сорочку и галстук. Я схожу там, в Ленинграде, в т-театр. Я мог бы, конечно, уложить чемодан сам, но хочу доставить тебе уд-доводьствие! - Он повернулся к Лопатину. - Не ожидал тебя здесь увидеть. Но все понял. П-прибыла твоя бывшая супруга, не так ли?

- Понял правильно.

- На том ст-тою. П-примитивная логика плюс метод исключения. И надолго она п-прибыла?

- На несколько дней.

- Мама, пока я буду в Ленинграде, пожалуйста, обрати свои материнские заботы на Лоп-па-тина. Он поживет у нас, забота о нем за тобой, а забота о харчах, насколько я его знаю, за ним. Он вполне п-порядочный, и от него можно ничего Не зап-пирать. К

нему на квартиру явилась его бывшая жена, и если он не намерен снова жениться на ней, ему надо где-то п-перебиться, пока роа ту. Д-договорились?.

- О чем ты спрашиваешь, Боря, - сказала из другой комнаты Берта Борисовна. - Конечно. Но у тебя тут столько галстуков, я даже не знаю...

- Положи один по своему выбору. И три п-пары носков. И учти, что мне п-пора. Он повернулся к Лопатину.

- Я тебя провожу на вокзал, - сказал Лопатин.

Гурский кивнул. Он этого и ожидал. Прощаясь, Гурский поцеловал мать. И в ответ на вопрос - когда его примерно ждать? - поставил чемодан, который уже был у него в руке, и еще раз обнял ее.

- Т-ты у меня умница. Другая на твоем месте зад-душила бы меня вопросами. Три п-пары носков обычно хватает мне на неделю.

- Куда ты едешь? - спросил Лопатин, когда они спускались по лестнице.

- Как уже сказано, в Ленинград. Но поскольку так срочно и без объяснения причин, думаю, что мне удастся открыть там военные д-действия. И не вооб-бражай, что моя мама считает, что я еду в Ленинград, чтобы ходить по т-театрам, как бы не так! Она воспитанная женщина и знает, в каких случаях можно удовлетворять свое природное любопытство и задавать по три воп-проса в минуту и в каких - не следует задавать их вообще. Берта Борисовна не так п-проста, как кажется, и в мое отсутствие может дать тебе разумные советы по любым вопросам, даже по такому, как разведка боем, которую предприняла твоя бывшая суп-пруга.

И Лопатин почувствовал, как в темноте на лестнице Гурский усмехнулся собственному звериному чутью.

- А что мне посоветует твоя мама, если это действительно разведка боем?

- Насколько я понимаю, моя мама считает, что один и т-тот же мужчина не должен по два раза жениться на одной и т-той же женщине.

Они сели в "виллис" и до вокзала уже не говорили на эту тему. На переднем сиденье, рядом с водителем, как обычно, рылся в своем вещевом мешке, пересчитывая на ощупь, сколько он взял с собой кассет, напарник Гурского в этой поездке Витька Брагин, тот самый, который прошлой весной отвозил письмо Лопатина в Ташкент. Продолжать при нем начатый на лестнице разговор не хотелось.. Он шуровал в своем мешке, а Лопатин с Гурским ехали сзади и молчали.

- Давно не видел вас, Василий Николаевич, - сказал Брагин, когда Лопатин с Гурским уже вылезали из "виллиса" у вокзала. - Как у вас с Ташкентом, порядок? Не зря я тогда старался?

Лопатин ничего не ответил, сделал вид, что пропустил мимо ушей. Обычно с горечью говорим, что на душе остался осадок, словно это и есть самое плохое. Но куда хуже, когда этот осадок, вот так, как сейчас, взболтают и поднимут со дна души.

- Что означало в его п-простодушных устах прекрасное в своей универсальности понятие "п-по-рядок"? - когда они уже вышли на перрон, ревниво спросил Гурский, не любивший, чтобы кто-то знал что-то, чего не знал он сам.

- Ничего особенного. В свое время посылал с ним в Ташкент письмо, только и всего.

Гурский мог стать единственным человеком, с которым он, вернувшись прошлой весной в Москву, поделился бы тем, что было на душе, но как раз тогда Гурский был на фронте. А когда вернулся, все было отрезано, и задним числом не захотелось говорить даже с ним.

- Интересно, как там твой бывший друг? Ксения не рассказывала? спросил Гурский о Вячеславе, о котором они уже не раз спорили. Эпитет "бывший" был отголоском этих споров: можно или нельзя ставить крест на таком человеке? При всей привязанности к Гурскому Лопатин не любил в нем этой ревнивой жестокости.

- Не привык к сочетанию слов "бывший друг", хотя оно и расхожее, особенно сейчас.

- А дружба с ант-трактом на войну, по-твоему, дружба? - спросил Гурский.

- Ты по-своему прав, но думаю, что он так и не попросился на войну не потому, что боится, а потому, что стыдится, просидев самое тяжкое время в кустах, теперь, когда дело пошло на лад, выскакивать из них с криком "ура!".

- Погоди... Пойдем по заг-границам, увидишь, как он п-преодолеет свою ст-тыдливость.

- Кто-то другой - да, - сказал Лопатин. - А он - нет.

- Ладно, ост-тавим этот разговор до проверки фактами. Во всяком случае, пока ты был под Тарнополем, а я, как тебе уже известно, летал на три дня, - заметь, всего на три дня, - в северные уезды Рум-мынии, где мы вступили в, так ск-ка-зать" буржуазную Европу, я обнаружил там одного известного тебе деятеля литературного т-ты-ла, в новенькой форме, с трофейным п-пистоле-том, и удивился, как он быстро п-поспел туда из К-куйбышева, где безвыездно проживал с октября сорок п-первого...

- Его встретил, его и клейми. А того, о ком говорим, оставь в

покое.

- А ты не злись на меня. Оставив на твою долю п-приятную возможность думать обо всех лучше, чем они есть на самом деле, мне пришлось, для равновесия, взять на себя неб-благо-дарную обязанность думать наоб-борот, только и всего. Ты, я вижу, не в своей т-тарелке. В чем дело?

- Все вместе, - сказал Лопатин. - Жаль сестру, тоскливо, что уехала Нина, глупо, что ссыпалась на голову Ксения, и, вдобавок ко всему, провожаю тебя. Еще час назад и в голову бы не пришло.

Они шли по перрону вдоль состава. Гурский ехал в первом вагоне, но он оказался не первым: между ним и почтовым стоял еще один служебный вагон, у которого толпились военные.

Военных было много у всех вагонов, но у других были и штатские, и мужчины и женщины, а тут - только военные.

- Довольно много нашего б-брата, - сказал Гурский. - "К-красная стрела" для меня символ чего-то молодого и д-довоенного. Было в этом даже нечто т-таинственное, никак не хотелось сыпать, и все казалось, что ты вст-третишь в коридоре какую-то необыкновенную женщину и вообще п-произойдет что-то прекрасное, хотя на самом деле происходили только б-бутерброды и двести грамм к-коньяка. Но все равно, время шло, а это странное суеверие п-продолжалось. И все очень любили п-провожать друг друга на "Красную стрелу", не п-правда ли?

- Да, провожающих теперь немного, - сказал Лопатин. - И состав короче, чем до войны. Мне говорили, что путевое полотно оставляет желать лучшего. Там, где подолгу стоял фронт, местами вообще не едут, а ползут.

- Ты п-прозаик, - сказал Гурский. - П-по-дожди, я положу чемодан и выйду к тебе.

- Ну вот, - сказал он, выскочив налегке из вагона, - п-проводница, когда брала у меня билет, не узнала меня и не сказала: а я вас помню еще до войны! А я ее узнал, только она очень п-поста-рела и п-подурнела. Отчего так п-постарела и п-подурнела женщина, которой всего-навсего тридцать? Не только страшно сп-просить у нее, но страшно подумать. Один бог знает, что могло достаться на ее долю за эти три года! Мне жаль женщин, когда они стареют и д-дур-неют.

- Интересно, где наши начнут, на Карельском перешейке или где-то еще? - оглянувшись по сторонам, негромко сказал Лопатин.

- Оставь, пожалуйста, в п-покое войну. Мы при ней состоим и будем состоять, но сейчас у меня нет ни малейшего желания говорить о ней. Я беспокоюсь за тебя. У тебя приступ одиночества, и мне очень не нравится п-приезд Ксении. Когда у человека приступ одиночества, он способен на п-поистине

идиотские поступки. П-пожалуйста, не совершай их до моего возвращения.

- Можешь быть спокоен - не совершу.

- Я был бы сп-покоен за тебя, если бы сам не совершил однажды поступка, которого до сих пор не прощаю себе: мог жениться на той единственной женщине, на которой действительно должен был жениться, и не женился т-только потому, что во время п-подлого приступа одиночества со мной оказалась не она, а та, на которой я не должен был жениться. В итоге я тот, кого ты видишь перед собой, - не п-первой молодости мужчина, пут-тешествующий, как в ст-тарину говорилось, по личной надобности - от станции до станции на первых попавшихся лошадях и п-привычно симулирующий, что так ему и надо. Хотя, Может быть, ему надо совсем не так. Одиночество вещь неплохая, но его нельзя принимать лошадиными дозами. А у тебя, по-моему, именно такой оп-пасный момент. И не произноси, пожалуйста, никаких слов. Если я и д-достоин сожалений, оставь их при себе.

Поезд уже трогался. Гурский полез в вагон и повернулся к Лопатину, стоя на верхней ступеньке.

- А поллитровки ты достоин? - спросил Лопатин, идя рядом с вагоном.

- Вп-полне достоин, но у тебя ее нет... Лопатин вытащил из кармана шинели бутылку и, продолжая идти рядом с вагоном, протянул ее Гурскому.

- Оказывается, я просто п-пошляк. Предавался словесному блуду, вместо того чтобы молча выпить с тобой. Но я накажу себя и п-привезу ее обратно нетронутой...

Поезд уже набирал ход, Лопатин отстал на полвагона, когда Гурский высунулся и крикнул:

- Если мама поместит тебя в моей комнате, а сама будет спать в п-проходной, не спорь с ней. И вообще не спорь с ней, п-потому что она лучше нас с тобой знает, что надо и чего не надо делать.

Поезд шел все быстрее. Молодая женщина, бежавшая за вагонами и кричавшая что-то свесившемуся с подножки лейтенанту, чуть не сбила с ног Лопатина, а потом сам он чуть не столкнулся с другой женщиной, заплаканной, неподвижно .стоявшей посреди перрона с бессильно опущенными руками.

И подумал о том, о чем обычно старался не думать, - что и эта женщина, обессиленно стоявшая на перроне, и та, все еще продолжавшая бежать за вагонами, и он сам, и все они вместе, и каждый в отдельности могут уже никогда не увидеться с теми, кто уезжает сегодня в Ленинград на этой, так непохожей на

довоенную "Красной стреле".

12

За те пять дней. что Ксения провела в Москве, добывая, как она говорила, пьесу для театра, Лопатин виделся с ней еще два раза.

Первый раз после того, как, переночевав у Гурского, понял, что все равно неизбежно надо идти к себе на квартиру, потому что накануне вечером, кроме тетради и пол-литра водки, он не взял ровным счетом ничего, даже запасных очков.

Съездив, как приказал редактор, с утра в госпиталь и сделав рентген грудной клетки, по словам врачей достаточно благополучный, чтобы при желании считать себя практически здоровым, он прямо из госпиталя позвонил домой.

Ксения, как он и ожидал, к телефону не подошла. Было одиннадцать утра, и она, наверное, бегала по Москве. Все складывалось как нельзя лучше, и он по дороге из госпиталя в редакцию решил заскочить домой на редакционной "эмке", побросать вещи в чемодан и сразу же закинуть его к Гурскому.

Но Ксения оказалась дома и была в том холодно-враждебном настроении, которое он хорошо знал и которого в былые времена у нее хватало на два и даже на три дня, вплоть до очередного бурного объяснения, слез и всего последующего.

Сейчас во всем этом не было никакого смысла, но привычка брала свое.

- Извини, не думал, что застану тебя. Я звонил. Никто не ответил.

- Телефон твой, а не мой. Я не подхожу к нему.

Насчет телефона она, конечно, сказала неправду. Наоборот, скорей всего решила остаться на эти дни здесь потому, что в комнате у ее нынешнего мужа, помнится, не было телефона. Но само по себе для начала ссоры это звучало неплохо. Сказать в ответ что-нибудь про телефон, значило ввязаться с ней в спор, и Лопатин промолчал, прошел в кабинет, и стал собирать вещи.

- Все-таки решил скитаться по чужим квартирам, - сказала Ксения в открытую дверь его кабинета, пока он собирал чемодан. - А я-то думала, у тебя хватит ума понять, что вчерашний разговор больше не повторится.

Лопатин продолжал молча собирать чемодан.

- Я сегодня с утра подумала, - по-прежнему через открытую дверь сказала Ксения, - что, наверное, ради твоего удобства мне следует перебраться туда, к Евгению Алексеевичу, но потом решила не потакать тебе: с какой стати? Это ведь ты, а не я, не можешь пробыть пять дней в одной со мной квартире! Так ты и скитайся, раз тебе это нравится. Достаточно я терпела твой

характер, пока жила с тобой, теперь у меня на это нет ровно никаких причин. Ровно никаких причин! - повторила она еще раз, когда он уже вышел из кабинета с чемоданом в руке.

- Разумеется, - миролюбиво согласился он и двинулся к двери.

- Не забудь запереть свою комнату, а то потом окажется, что у тебя что-нибудь пропало; сам же куда-нибудь засунешь и забудешь, а я буду виновата.

Он ничего не ответил и открыл наружную дверь.

- Может быть, ты скажешь мне хотя бы "до свиданья"?

- Конечно. Как раз и собирался это сделать. До свиданья!

И не успел закрыть за собой дверь, как Ксения сама с треском захлопнула ее изнутри.

Таким было их утреннее свидание, после которого он никак не ожидал еще одного, но оно все-таки произошло, и тоже утром, в день отъезда Ксений.

Откуда она узнала, что он живет у Гурского, он так и не выяснил. Очевидно, звонила в редакцию и кто-то сказал ей.

- Василий Николаевич, вас просит к телефону какая-то женщина, приоткрыв дверь в комнату, где он спал, сказала Берта Борисовна. - Я сказала ей, что вы еще спите, но она сказала, чтобы я вас разбудила. Она сказала, что вы будете жалеть, если я вас не разбужу.

- Раз буду жалеть, сейчас подойду. Натянув брюки и надев на босу ногу шлепанцы Гурского, он вышел и взял трубку.

- Извини, пожалуйста, что я тебя разбудила, - сказала Ксения, - но я через час уезжаю, и ты мне нужен. Всего на несколько минут, во очень нужен.

- Раз нужен, сейчас оденусь и приеду" - сказал Лопатин и, наспех побрившись, через полчаса был у нее.

Судя по виду Ксении, она была в каком-то непохожем на нее, растерзанном состоянии. В передней стояли два собранных чемодана, лицо у нее было нездоровое, бледное, с синевой под глазами.

- Ты не больна?

- Больна. Сядем, посидим перед дорогой. - Она села на чемодан, показав ему на другой. - Садись!

- Ничего, я постою.

- Сядь, пожалуйста, а то меня ноги не держат.

Он сел и, глядя на нее, подумал, что на этот раз она недалека от истины.

- Что случилось?

- Ничего не случилось... Кроме того, что я уезжаю из своего дома неизвестно для чего, зачем и к кому. Я хотела, чтобы ты

услышал об этом от меня самой, сейчас, здесь, а не потом, от кого-то другого.

Он смотрел на нее и, кажется, начинал понимать, чего она хотела. Когда-то раньше она хотела, чтобы он был виноват в том, что она ушла от него к другому человеку. Теперь она хотела, чтобы он был виноват в том, что она возвращается к этому человеку. Вот и все! Она хотела, чтобы она была опять права, а он опять не прав. И хотя он старался подавить в себе это чувство, ему было жаль ее. Человек, который всю жизнь всегда и во всем считает виноватым не себя, а других, по-своему тоже несчастлив.

- Как твои московские дела? Сделала все, что собиралась?

Она помедлила с ответом, кажется, колебалась, сказать или не сказать.

- Да, сделала! И то, что собиралась, и то, чего не собиралась. Как говорите вы, мужчины, когда говорите между собой про нас, сегодня ночью жила с тем, у кого выпрашивала пьесу для вашего театра, и теперь отвезу эту пьесу своему мужу, который послал меня за ней сюда. Не испытала от этого никакой радости. Но пьесу везу. И хочу, чтобы ты знал, что, если б тогда, в тот первый вечер, ты отнесся ко мае хоть чуть-чуть по-человечески и остался бы здесь, ничего этого бы не было. Мы не сидели бы сейчас с тобой вот так, напротив друг друга, на этих двух чемоданах. Я. как всегда, во всем виноватая, и ты, как всегда, ни в чем не виноватый. Вот и все! - Она встала с чемодана. - А теперь можешь пожелать мне доброго пути...

"Да, конечно, - уже поднявшись и стоя перед нею, подумал Лопатин. Твой нынешний муж виноват в том, что ты сюда поехала, а твой бывший муж - в том, что ты жила этой ночью с кем-то третьим. И все-таки, помимо всей этой, давно знакомой, дикой логики, в глазах у тебя есть что-то такое." Словно то, что раньше вряд ли бывало для тебя таким уж несчастьем, на этот раз было действительно несчастьем" словно ты вдруг испытала унижение, от которого еще не можешь оправиться. И я, даже сейчас не веря тебе и имея на это право, данное мне долгой общей с тобой жизнью, все-таки глупо жалею тебя".

- Я провожу тебя, если хочешь, - сказал он вслух.

- Проводят и без тебя, - сказала Ксения. - И чемоданы возьмут, и на машине отвезут, и в вагон посадят, и поцелуют, если позволю... Со всем этим все обойдется и без тебя. И даже лучше, чем с тобой. Я ведь не за этим тебя позвала, а потому, что хотела... даже сама теперь не знаю, чего я хотела. Проститься, наверное, хотела.

Она протянула ему руку не как обычно, заранее приподнимая ее навстречу губам для поцелуя, а неуверенно, просто так. И ом

пожал эту руку со все еще не прошедшим чувством жалости и вышел. И уже на лестнице понял, что за все время, наверное, не сказал ей и двадцати слов.

Таким было их второе, а вернее, третье свидание, посте которого он хотел было вернуться жить к себе, но не вернулся. На следующий же день поете отъезда Гурского появилось сообщение о боях, начавшихся на Карельском перешейке. Через два дня в "Красной звезде" напечатали его первую корреспонденцию оттуда, за ней - вторую. И Лопатин поддался на уговоры матери Гурского, которая не хотела отпускать его. У нее была неистребимая потребность о ком-то заботиться, а вечернее разговоры с Лопатиным утоляли часть ее тревоги за сына.

Редактор, как только начались бои на Карельском перешейке, потерял интерес к Лопатину. Наверное, торопя его тогда и с рентгеном, и с рассказом, он держал в запасе мысль о Карельском перешейке. Но туда дослать не успел, вместо Лопатина поехали другие, а чего-нибудь еще в ближайшие дни не предвиделось, и ему было не до Лопатина.

С рассказом, над которым корпел Лопатин, дело не вышло. Сначала редактор, морщась от неудовольствия, стал крестить его красным карандашом так, чтобы из четырех подвалов вышло два, а когда Лопатин заупрямился, а с Карельского перешейка одна за другой пошли корреспонденции, сказал, что теперь рассказы ему в газете ставить некуда.

- Отдай куда-нибудь в журнал!

Лопатин отдал.. И благо, пока что никому не был нужен, сидел у Гурского и писал дневник: наверстывал упущенное,

Через неделю, залатав последние прорехи в дневнике, он обвязал крест-накрест бечевкой две толстые общие тетради и пошел к редактору попросить спрятать их в сейф в дополнение к уже лежавшей там пачке.

Редактор тетради взял и прикинул в руке на вес:

- За столько времени ног бы написать и побольше. Считая госпиталь, проболтался без дела больше двух месяцев...

И, сказав это, положил тетрадки в сейф.

- Надеюсь, как и в прежних, ничего нецензурного нет, - усмехнулся он. - Ни контрреволюции, ни мистики, ни порнографии? Не подведешь меня под монастырь?

- Контрреволюции нет твердо. Порнография попадается, когда привожу особо запомнившиеся вершины художественного мата на всех ступенях служебной лестницы. А мистика, разумеется, присутствует. Какая же воина без мистики! Иногда встретишь спустя год или полтора знакомого пехотного комбата, я оказывается, он так и трубит в своем полку, и жив, и не ранен -

разве это не мистика?

- Завидую тебе, - сказав редактор, - пишешь и пишешь и когда-нибудь еще напечатаешь все это. А от меня только эти подшивки и останутся. Редактор кивнул на неизменно лежавшие у него под руками, на полю, подшивки газет, которые он вытаскивал для справок я сравнений по десять раз на дню.

- А ты не прибедняйся; - сказал Лопатин. - Эти подшивки газет, от первого до последнего дня войны, может, еще будут стоить подороже наших книг.

- От первого я до последнего... Не знаю, еще ее думал об этом. Рано, сказал редактор и, взглянув на часы, на которых было ровно двенадцать, спросил Лопатина: - Ты чего пришел?

- Как чего? Принес тебе тетради.

- А еще чек? - - А больше ничего...

- Ну я ступай домой, без тебя дал много. Все еще у Гурского живешь?.'

- Все еще у Гурского.

- Готовься переезжать. Выборг взяли, Гурского отзываю. Теперь обойдемся там и без него...

Так было днем. А в девять вечера позвонили из редакции и сказали, чтобы Лопатин немедленно явился. И он, явившись к редактору, узнал, что завтра утром едет на Третий Белорусский фронт на новом "виллисе", на который недавно пересел бывший личный водитель редактора Василий Иванович.

- Все же ты после госпиталя, а он пожилой и аккуратный. При его нелюбви к скоростям ему только беременных и выздоравливающих возить. Если б его старая "эмка" не отдала концы, так и не пересел бы на "виллис". Ругается - и то ему не так, и это не так, и развал колес не тот, и заносит на поворотах." Поедешь, наслушаешься.

- А почему на Третий Белорусский? Не можешь объяснить?

- Не могу. Просто. - Редактор потянул ноздрями. - Вот тебе и все объяснение! Других мне самому не дают. Объяснить не могу, но заменить пока могу - на Первый или на Второй Украинский, но туда - самолетом, а машину на месте добудешь, слишком далеко стало от Москвы.

Из дальнейшего Лопатин понял, что на этот раз редактор, к своей досаде, несмотря на связи в Генштабе, не располагал ровным счетом никакой информацией, которая подсказала бы ему, куда заранее подбросить корреспондентские резервы.

Но такого рода препятствия подогревали в"нем дух непокорства, и он нашел выход из положения: спешил теперь дополнительно загнать всех, кто был под рукой, сразу на все шесть "украинских и белорусских фронтов. Где бы ни началось,

газета не должна была остаться без хлеба насущного. Но кого куда, еще не было до конца решено, поэтому перед Лопатиным оставалась непривычная свобода выбора.

- Может, предпочитаешь лететь? Не тянет на Третий Белорусский?

- Наоборот, предпочитаю ехать, тем более с Василием Ивановичем, сказал Лопатин. - И тем более на Третий Белорусский...

- По секрету тебе сказать, хочется, чтобы на этот раз именно они рванули. Люблю Третий Белорусский, хотя за последние годы меньше всего удач На его голову! - сказал редактор.

"Верней, больше всего неудач", - мысленно поправил Лопатин не слишком грамотный оборот редакторской речи. И подумал, что, действительно, на долю - теперь переименованного в Третий Белорусский - бывшего Западного фронта после разгрома немцев под Москвой других выдающихся успехов по ею пору так и не выпало, если не -считать его участия в Орловской операции. Почти все остальное было тяжким, кровопролитным и медленным. Последний большой город, взятый на этом тернистом пути, был Смоленск, и произошло это без малого год назад. А до Витебска и до Орши и сейчас, после трех лет войны, все еще не дошли! А между тем как раз этот, неудачливый в последнее время. Западный фронт тогда, после разгрома немцев под Москвой, был для всех как первая любовь и первая надежда на все будущие победы, где бы они потом ни происходили. И Лопатину из чувства справедливости тоже, как и редактору, хотелось, чтобы именно здесь, на многострадальном Западном, а ныне Третьем Белорусском, фронте мы начали этим летом громить немцев. И хотелось не просто узнать об этом, а увидеть своими глазами.

- Предписание я тебе заготовил, возьми у Степанова. Приедешь на место, дай знать через узел связи. Все! - оборвал разговор редактор, решив, что потратил на Лопатина слишком много своего драгоценного редакторского времени. - Да, забыл! Народная артистка тебе звонила?

- Нет. Какая народная артистка?

- Забыл ее фамилию, - сказал редактор. - Звонила мне, искала тебя. Я велел Степанову записать ее телефон. Иди к нему.

Он удивленно посмотрел на Лопатина, хотя сам же задержал его. И, сунув на прощанье руку, пошел к своей конторке.

Телефон народной артистки, записанный у секретаря редакции/ оказался телефоном Зинаиды Антоновны, и Лопатин сразу позвонил ей.

- Хотите или не хотите, а мне нужно вас видеть, - сказала она.

Сегодня! Потому что я только сегодня вернулась от мужа, но мне уже достали место на самолет, и завтра утром я возвращаюсь в Ташкент. Приходите прямо сейчас. Какой-то вежливый товарищ там у вас в редакции предложил записать мой адрес. Есть он у вас?

- Перед глазами. Только дайте мне полчаса на сборы, а то я сам утром уезжаю на фронт, - сказал Лопатин.

- Не уверена, что обрадую вас тем, о чем собираюсь с вами говорить, но все равно приходите. Надеюсь, вы все такой же храбрый, каким показались мне в Ташкенте. Ненавижу ошибаться в людях!

Она первая положила трубку. И у Лопатина, как в минуты действительной опасности, стало пусто под ложечкой. Но, пересилив желание сразу идти к ней, он доделал все, что требовалось, чтобы уже не возвращаться сегодня еще раз в редакцию, а прийти утром и сразу ехать. Забрал у Степанова предписание, отметив для себя, что срок поставлен длинный, до двадцатого августа, взял в хозчасти продуктов на дорогу, на всякий случай на трое суток, и снес их в гараж к Василию Ивановичу, который, как он и предполагая, был там и торговался с завгаром, сколько канистр бензина дадут им про запас. И лишь после всего этого пошел по записанному адресу, в Брюсовский переулок, где ему предстоял, разговор, который мог его не обрадовать.

13

Открыла дверь не Зинаида Антоновна, а кругленькая, старенькая, но еще крепкая женщина.

- Зинаида Антоновна, к вам пришли, кого вы ждали, - быстро сказала она и юркнула куда-то, наверное, на кухню, а в дверях комнаты появилась Зинаида Антоновна.

Она была все такая же уродливо-прекрасная, как в Ташкенте, только в стриженых волосах появилось больше седины, а ее .мужской голос. когда она заговорила, показался Лопатину еще громче и повелительнее, чем раньше.

- Руку могли бы и не целовать, еще неизвестно, заслужила ли я. В тот вечер в Ташкенте почти влюбилась в вас, на свой лад, по-дурацки, конечно, но это у меня быстро проходит, не волнуйтесь!

Она рассмеялась, и Лопатин понял, что там, в Ташкенте, ничего страшного не случилось. Когда стряслась беда, разговор начинают с нее.

- А вы, вижу. получили за это время еще ордена. А что были тяжело ранены, по вас не видно!

- Слухи о тяжести моего ранения были преувеличены, - сказал Лопатин.

- Да. Там у нас говорили, что чуть ли не смертельно. А потом, когда я была на фронте у мужа, он объяснил мне, что сквозную пулевую рану в грудь, если она ничего особенного там, внутри, не задела, они, врачи, не всегда считают такой уж опасной.

- Все правильно, - сказал Лопатин.

- Теперь сама вижу, выглядите как огурчик! Пойдемте в комнату.

Лопатин вошел вслед за ней в довольно большую проходную комнату, из которой вела дверь в другую. В комнате не было ничего, напоминавшего о войне, кроме фронтовой безрукавки, висевшей на спинке одного из старинных кресел красного дерева. Белый потолок, ультрамариновые стены, на них несколько старинных тарелок; две старые гравюры и портрет Станиславского с надписью. У одной стены - бюро, тоже красного дерева, как и кресло; у другой - высокий книжный шкаф, а посредине комнаты круглый стол на тумбе и вокруг него еще четыре кресла. Все старинное и старое, но ухоженное, без единой пылинки. И паркет не новый, но натертый до такого глянца, что казалось неловким идти по нему в сапогах. Когда вечером позвонили из редакции, Лопатин надел не штатское, а форму.

- Не смотрите на свои сапоги, - сказала Зинаида Антоновна, - я с некоторых пор предпочитаю мужчин в сапогах: с ними надежнее. А когда вижу мужчин в ботинках, ведущих себя, как бабы, мне кажется, что война никогда не кончится. Эту безрукавку, - она снова, как и в первый раз, когда он поглядел на свои сапоги, поймала взгляд Лопатина, - мне подарил муж, несмотря на лето. Сказал, что еще на одну зиму она мне без него пригодится. Как по-вашему?

- Подозреваю, что он прав.

- А весь прочий наведенный здесь блеск, на который вы обратили внимание, не моя заслуга, хотя я люблю чистоту. В меня успели внедрить эту отнимающую много времени страсть в институте благородных девиц прежде, чем я сбежала в театральное училище, но сейчас я к этому рук не прикладывала. Это не я, а Елена Лукинична, которая вас встретила. Из ее семидесяти трех, которые ей, не правда ли, не дашь, мы с несколькими перерывами живем вместе все мои пятьдесят пять, и как это ни странно звучит, но она моя няня. У вас не было няни?

- Нет, на нянь у нас не хватало.

- И это пошло вам на пользу. А у нас хватало, и у меня была и до сих пор есть няня, Елена Лукинична. У нее уже давно своя комната, в которой мы когда-то жили с мужем, пока не переехали сюда, но она все равно живет не там, а здесь, и когда я есть, и когда меня нет, и балует меня и мужа. А это портит характер.

Когда мы встретились с мужем, то обнаружили, что у нас обоих за время войны характеры стали лучше.

- Долго ли вы там у него пробыли?

- Целых двадцать дней. Получила разрешение и прилетела из Ташкента в Москву, а отсюда до штаба их армии меня пристроили на машину, с очень усатым генералом, который за всю дорогу так и не выдал мне ни одной военной тайны. Все время сам расспрашивал меня про артистов, главным образом опереточных. А оттуда приехала только сегодня на грузовике, который им все равно нужно было послать в Москву за каким-то их санитарным имуществом, если не наврали. Это возможно?

- Что наврали? Вполне.

- Но я все равно не буду испытывать раскаяния. Я не бездельничала. Не только у них в медсанбате, а где только не читала - и стихи, и прозу, и Пушкина, и Толстого, и Чехова, и Зощенко. И как все последние годы в театре, вновь убеждалась, что люди не хотят, чтобы перед ними изображали ни то ни се. Хотят, чтобы ты или залез им в душу и потряс ее до основания, или вырвал из них смех.

- Да, на полутонах войну не проживешь, - сказал Лопатин, понимавший, что как бы ни была переполнена Зинаида Антоновна впечатлениями о своей поездке, все-таки она звонила ему в редакцию и глядя на ночь вызвала к себе не для того, чтобы рассказывать ему, как она читала там Толстого и Зощенко. Вызвала для чего-то другого. Для чего?

- Хотела пробыть у них еще двое суток сверх двадцати, но они меня поперли, - сказала Зинаида Антоновна. - Муж даже наорал на меня: сказано ехать - поезжай! И когда приедешь в Ташкент, никому никаких подробностей: где мы и в составе какой армии. Была у меня в медсанбате - и все! Странно у них все это с их военными тайнами! Вы, наверное, что-то понимаете, а я ровно ничего.

Лопатин улыбнулся тому, как она это сказала, хотя ничего странного тут не было. Разграничительные линии между фронтами перед началом наступления могли быть изменены, армии переданы с фронта во фронт или выведены во второй эшелон, и в рассуждения о том, что действительно составляет военную тайну и что не составляет, а только числится ею, в такие особо чувствительные моменты лучше не вдаваться. Бывает, что косвенные признаки начала будущих событий - очевидней прямых.

- За двадцать дней, что я у них жила, я только два раза слышала выстрелы, и очень далекие. И в медсанбат к мужу за все время попал только один легкораненый, в мякоть плеча, они его

перевязали и разрешили вернуться к себе в батальон и, как муж выразился, два-три дня отдохнуть там около кухни. А все остальное - грыжи, аппендициты, - все как в обычной больнице. Они мне много раз объясняли, что я попала к ним во время затишья. Но эта тишина почему-то меня не успокоила. Когда тишина нормальная - это одно. А когда тишина ненормальная - совсем другое!

- А что вы называете нормальной тишиной?

- Когда что-то вдруг может случиться, а может и не случиться - это нормальная тишина. А когда они только и ждут, что тишина вот-вот кончится, когда они все только и думают об этом - молчат или говорят, но все равно знают, что она непременно должна кончиться, и ничего другого и быть не может, вот тогда это ненормальная тишина. И по-моему, она очень страшная, потому что люди начинают ее не выдерживать я даже хотят, чтобы она скорей кончилась.

- Все это верно, - сказал Лопатин, - но тишина, про которою вы говорите, только часть войны. Война накапливает в людях усталость. И когда идут бои, и когда наступает затишье, все время накапливает. Но у того, кто остается жив, вместе с усталостью накапливается и потребность довоевать войну до конца. И если бы это чувство не накапливалось рядом с усталостью от войны, наверное, от одной усталости мы все посходили бы с ума. .Даже я. Хотя знаю, что моя жизнь легче, чем у большинства других людей на войне, в их числе и у вашего мужа. И желание, которое вы правильно заметили, скорей бы уж началось! - появляется не у психов, а у нормальных людей, которые устали, знают, что воевать вечно невозможно, и хотят поскорей покончить со всем этим. Это нормальное чувство нормальных людей.

- А все-таки, - возразила она, - одно дело думать об этом оттуда, из Ташкента, а другое - увидеть вблизи. И можете мне поверить, мне было бы не так страшно, если бы я приехала туда к ним во время боев.

Лопатин не ответил, промолчал, подумав, что, может, она и права. Есть люди, которые знают себя плохо, и есть люди, которые знают себя хорошо. Им труднее жить, но они реже ошибаются, когда говорят другим о себе.

- Почему вы молчите? - спросила Зинаида Антоновна. - Думаете, я вру? Я иногда вру про других, потому что увлекаюсь людьми и люблю думать о них хорошо и иначе не вижу смысла жить. Но о самой себе я никогда не вру, имейте это в виду. И вы, наверное, тоже? Разглядела теперь вас внимательно при свете: вы не так уж хороши собой, как мне показалось сначала. Вижу, что вам досталось за это время. Но все равно, хватит ходить вокруг да

около. Это со мной бывает перед вторжением в чужую жизнь. А теперь я собралась с духом и вторгнусь.

- Ну что ж, валяйте, - сказал Лопатин, и у него снова, как тогда, когда она позвонила, стало пусто под ложечкой.

- Я виновата перед вами. Нина Николаевна просила меня увидеть вас сразу, как я попаду в Москву, и отдать вам ее письмо, если вы этого захотите, и не отдавать, если не захотите. Но я, прилетев в Москву, только дозвонилась в госпиталь до дежурного врача и узнала, что вы почти здоровы. А рано утром была машин", и я уехала к мужу. То, что вы были уже почти здоровы. уменьшает мою подлость. Не было сил сразу после самолета ехать к вам.

- Зачем вы мне все это объясняете?

- Затем, что я знаю о вашем письме Нине Николаевне, по ее словам, очень хорошем и благородном, и об ее ответе вам, в котором все было правда и все - неправда.

- А так бывает?

- Представьте себе, бывает. Не ходу обманывать вас, я пристрастна к этой женщине, но все равно считаю, что права я, а не она и не вы, и все равно, так же как и ей, скажу вам все, что думаю. Она написала вам правду, что прошло два месяца без вас и она вернулась к тому - нет, не скажу дурному, слово "дурной" для него слишком крупно, а так себе - ни рыба ни мясо, - человеку, которого оставила, встретив вас.

- Она написала мне об этом, - сказал Лопатин.

- Об этом - да! Но о том, что почти сразу после вашего отъезда у нее умерла мать, потом заболел сын, потом свалилась с гнойным аппендицитом она сама, об этом она вам не писала?

- Нет.

- Не писала потому, что не хотела себя этим оправдывать. Да, поднявшись на ноги после всего, что на нее рухнуло, она махнула на себя рукой и вернулась к тому человеку, очень вовремя - надо отдать ему должное - поспешившему помочь ей в тяжелые для нее дни. Но вернулась ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы понять, что она уже не может снова жить с ним, что уже не способна ни поставить крест на вас, ни махнуть рукой на .себя. Вот тогда-то она и получила ваше письмо, на которое другая женщина ответила бы враньем. А вы поспешили отпустить ей грехи и вычеркнуть из жизни. И вам это, кажется, удалось.

- Кажется, удалось. - Лопатин поднялся с кресла и пошел по комнате.

- А ей не удалось! - Зинаида Антоновна тоже поднялась с кресла. Ладно, будем ходить, если вам так легче, вы не просто переспали с ее телом, вы ранили ее душу. Бессмысленно и жестоко, если это не могло иметь продолжения. Она не девочка, а

вы не обольститель, и я понимаю, что вы там, в Ташкенте, не уламывали ее. Вы сделали куда худшее! Вы, человек, приехавший с войны, всеми силами своей души потребовали от нее, чтобы она полюбила вас, и, добившись этого, забыли. Это глупое сравнение, но вы поступили, как Онегин, которого я терпеть не могу.

- Я написал ей. И вы знаете, что я написал.

- Знаю. Да, написали, конечно! Но как ,же вы, такой сильный и так полюбивший ее человек, посмели поверить в ее глубоко несчастное письмо? И как вы могли, даже после этого письма, отказаться от нее так просто?

- Просто. Как бы не так. И не вам бы говорить это! - перебил ее Лопатин. - Кто-кто, а вы-то неужто не понимаете, что все это свалилось на меня тогда в Ташкенте как неслыханное счастье! И как я мог продолжать верить в это, получив ее письмо?

- А вы не доказывайте мне, что вы не наглец, считающий, что его обязаны любить женщины. Если хотите знать, человек, считающий, что его должны любить женщины, вообще не стоит их любви. А вы, не уверенный в этом, - вы-то ее и стоите. Чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что все хорошие люди - болваны! И вы болван, и она болван, не знаю, как это будет в женском роде. Но я так ей и сказала: болван! - потому что тоже не поверила в себя, не поверила, что должна и может составить собой, вот такой, какая она есть, ваше счастье! Вы не замечала, что хорошие женщины гораздо реже уверены в себе, чем плохие? Если не замечали, то вы или не наблюдательны, или имела мало опыта.

- Может быть, и так.

- Я говорю не вообще, а о хороших женщинах.

- Я тоже. Я очень хочу увидеть ее.

- А она не хочет видеть вас.

- Почему?

- Потому что хорошие женщины трудно прощают себя. Я к началу сезона окончательно возвращаюсь сюда вместе с театром и решила взять с собой Нину Николаевну. Два с половиной года, заведуя нашей нищенской костюмерной, она делала все из ничего. Она из тех людей, с которыми хочется работать до конца жизни. А у меня дурной характер и не часто возникают такие желания. Она предана театру не меньше, а наверное, больше, чем я, потому что часть моей преданности - мое тщеславие, а у нее только преданность. Мне говорят, что ее трудно будет привезти в Москву, даже временно, даже в командировку. Но я иногда бываю упрямой, как осел, и добьюсь своего. Считают, что ей негде будет жить, тем более с сыном, но я для начала найду, где ей жить. Повторяю, я все это сделаю. Но одного я сделать не могу. При всем своем ослином упорстве я не в состоянии уговорить ее

переехать в город, в котором живете вы. Можете считать меня свахой, сводницей, - мне наплевать на это, но вы должны знать, как, услышав, что вы смертельно ранены, она прибежала ко мне среди ночи через весь город и умоляла узнать, есть ли хоть какая-то надежда. И я дозвонилась в Москве человеку, которого я терпеть не могу, потому что он меня когда-то унизил и выгнал из театра. Но я надела на себя намордник, чтобы не укусить его по телефону, и, доставив ему наслаждение своим смирением, упросила его выяснить, что с вами. И когда узнала, сказала ей. И увидела, как она на моих глазах воскресла из мертвых, потому что вы остались живы! Я сказала вам все, и если вы и теперь ничего не поняли, значит, я отвратительно и смешно ошиблась в вас!

- Вы бы еще стукнул" меня, только этого не хватает, - сказал Лопатин. - Да остановитесь же, дайте хоть руку поцеловать!

- Не обращайте внимания, - сказала она, протянув ему руку и смахивая другой стоявшие в глазах слезы. - Это злобные слезы. Я плачу, только когда злюсь! Мне показалось, что вы ничего не поняли.

- Дайте письмо.

Она села в кресло и по-мужски закинула ногу на ногу.

- Я вам наврала, потому что не знала, с чего начать. У меня нет письма для рас. Единственное, что она меня просила, приехав в Москву, сообщить ей, как вы себя чувствуете. И я сделала это; поговорив с дежурным врачом вашего госпиталя, поехала ей телеграмму.

- Я напишу ей письмо, возьмете? - сказал Лопатин,,

- Когда вы пришли, я собиралась писать письмо мужу, что доехала благополучно. Садитесь за бюро, там лежат и карандаш, и бумага. А я вскипячу вам чаю. И можете после этого отправляться восвояси. Я лечу рано, и мне надо лечь спать. К сожалению, как только я сажусь в самолет, меня вывертывает наизнанку, и это продолжается до посадки.

- Лучше б ехали поездом.

- Не позволяет совесть, имея возможность лететь - почти неделю терять на поезд. Через десять дней я должна выпустить там, в Ташкенте, премьеру. Они без меня уже перешли на сцену. И так безобразие, что я уехала!

- Но премьеру-то вы, наверное, уже для Москвы готовите? Можно выпустить ее и на несколько дней позже?

- Нет, не для Москвы, и нельзя позже. Я выпускаю премьеру не в нашем театре, который уезжает, а в ташкентском, который остается. И премьера должна быть хорошей и должна быть выпущена вовремя. Нельзя быть свиньями перед людьми, которые

все годы, что мы там были, делали для нашего театра буквально все, что могли.

Она вышла из комнаты, а Лопатин сел за старое бюро красного дерева, наверное, сделанное какими-нибудь крепостными краснодеревщиками еще до той, прежней Отечественной войны, и, взяв из пачки почтовой бумаги листок, задумался. Не над тем - что; что - он уже решил. А над тем - как?

"Пишу у Зинаиды Антоновны, выслушав все, что она думает о тебе и обо мне. Наверное, она права - мы оба и в самом деле - болваны. Во всяком случае, я. Сижу за ее бюро восемнадцатого века и, как они тогда выражались, еще раз прошу твоей руки. Сказать, что не смог жить без тебя, было бы ложью. Как выяснилось - смог. Ню жил и живу не так, как хотел и хочу. Завтра уезжаю на фронт. Если ты приедешь в Москву в августе - наверное, уже буду здесь, и если не сможешь приехать ты, попрошусь в отпуск - к тебе. Думаю, что после возвращения с фронта мне в этом не откажут".

Написал и поставил внизу свои инициалы. Подписаться именем что-то помешало, а ставить фамилию после того, как, внезапно для себя, обратился к ней на "ты", показалось нелепым.

Зинаида Антоновна вошла, неся на подносе чашки, чайник, вазочку с галетами, наверное, привезенными с собою с фронта, и графин, налитый до половины чем-то желто-бурым.

- Еще не дописали? - ставя все это на стол, спросила она.

- Нет, дописал. - Лопатин поднялся и сложил пополам исписанный с одной стороны листок.

- А вот конвертов у меня нет. Придется вам взять еще лист бумаги и свернуть из него пакетик, как для порошков с лекарствами.

- А вы просто суньте к себе в сумочку, - сказал Лопатин, отдавая ей листок,

- Сумочек у меня никогда не было. Имела только сумки, самые большие, какие могла купить, чтобы в них влезали роли. А теперь муж у меня, как и вы, с орденами - дважды кавалер, и я, как кавалерственная дама, получила в подарок от его замполита самую настоящую полевую сумку.

Она подошла к креслу, приподняла телогрейку, взяла висевшую под ней полевую сумку и, расстегнув, положила туда письмо.

- Всегда страшно, когда берешь на свою душу что-то чужое. Чужой ли грех, чужое ли счастье, все равно - страшно! Если долетим за один день, завтра ваше письмо будет у нее. А где к этому времени будете вы сами?

- Зависит от дороги. Скорей всего, приткнемся ночевать где-

то поблизости от Смоленска.

- Так и будем думать о вас завтра, что ночуете где-то около Смоленска. Я тоже, когда ехала в ту сторону, ночевала в какой-то военной часта, которая стояла в лесу, как они мне сказали, недалеко от Смоленска. Когда мы приехали туда поздно вечером, лес показался мне густым. А рано утром, когда встала и вышла из палатки, увидела, что он какой-то не такой, как я привыкла, и только потом, не сразу, поняла, что это его побило войной. Многие деревья срезаны, как большими ножницами. Иногда ближе к верхушкам, а иногда посередине... И вспомнила калек у нас на Старом базаре в Ташкенте. Скажите правду, вам не страшно завтра снова ехать туда?

- Не настолько, чтобы не ехать.

- Садитесь, выпьем чаю. Он крепкий, я не умею экономить. Пока есть, пью крепкий, а когда нет, пью кипяток.

Она разлила чай и только тут вспомнила о принесенном ею графине. Лопатин уже успел разглядеть эту желто-бурую жидкость, в которой лежала нарезанная спиралью, обесцвеченная до белизны лимонная корка.

- Совсем забыла, что у нас в доме все еще стоит эта довоенная водка. Без мужа никто ее не пил, вот она и стоит. Принесла, чтоб угостить вас, но стала наливать чай и забыла... Как вы думаете, ее можно пить? Она не испортилась за это время?

- Думаю, не испортилась, - улыбнулся Лопатин. - Если только в нее не доливали воды. Насколько я знаю, водку можно испортить только таким способом.

Она расхохоталась своим громким мужским смехом и, открыв пробку, протянула ему графин.

- Попробуйте... Он понюхал.

- Кажется, не доливали.

- Подождите, я что-то опять забыла? Да, рюмку.

Она вышла и вернулась с рюмкой.

- А вы? Что же, я буду один?

- А это непременно - вдвоем?

- Желательно.

- Если желательно, возьму и себе. Она снова вышла и принесла вторую рюмку. Лопатин нерешительно начал наливать ей, ожидая, что она его остановит. Но она не остановила.

- Наливайте доверху. Мне, как это недавно выяснилось, все равно.

- Доброго пути вам. Лопатин чокнулся с ней. Она выпила до дна и разочарованно подергала носом.

- Во второй раз пью, и опять, ничего особенного... Настолько ничего особенного, что вполне можно и без этого. Я так и сказала

им, у них в медсанбате, когда приехала, и они меня уговорили. А потом, когда они пили, сама только чокалась и переливала свою водку им в стаканы. Они так этим дорожат, а мне - не в коня корм! Я больше не буду, а вам налью еще.

- Если будет на то ваша милость... Она налила, и он, выпив еще рюмку и закусив галетой, быстро выхлебал до конца свою чашку чая, вспомнив, что ей надо пораньше лечь спать. Да и у него самого теперь были причины торопиться.

- Благослови вас бог, если он есть, - провожая его, повторила она те же самые слова, что когда-то сказала ему на прощанье в Ташкенте. А он, спускаясь по лестнице, подумал, что если бы бог, которого нет, все-таки был, он должен был бы благословить не его, а ее.

Торопиться ему надо было в редакцию, потому что завтра в восемь утра, когда он уедет, редактор, выпустив газету, будет еще спать. А ему, как теперь выяснилось, было необходимо еще раз увидеть редактора.

В редакции шла суета, сдали всего одну полосу, остальные еще не сдавали. В сводке сообщалось о продолжающемся наступлении наших войск на Карельском перешейке и прорыве финской обороны между Ладожским и Онежским озерами.

Но кроме всего этого, верстали еще целую полосу военных и политических итогов трех лет Отечественной войны и ставили на нее карту с заштрихованными территориями, освобожденными от немцев.

Настроение было приподнятое, но редактор встретил Лопатина неприветливо.

- Выскочил, как черт из бутылки! Если кто-то из фотокорреспондентов хочет увязаться с тобой и рассчитывает на протекцию, - шиш с маслом! Все уже распределены и поедут туда, куда сказано.

- Нет, но у меня самого к тебе дело, на пять минут.

- Иди к заму или к ответственному секретарю, я занят.

- У меня дело не к ним, а к тебе. Лично мое, лично к тебе.

- Тогда жди. И не маячь за спиной - позову. Болтаться в редакции и ждать пришлось долго, больше часа.

- Ну, что у тебя такое? - продолжая читать полосу и не поворачиваясь, спросил редактор, когда Лопатин вошел к нему.

- Мне может понадобиться оформить в Москву вызов для одной женщины.

- Когда? Сегодня? - сердито спросил редактор. - Решил отметить женитьбой третью годовщину войны? Поздно хватился. Извини - недосуг.

- Матвей, я серьезно.

- А серьезно, так говори толком! Пять минут в твоем распоряжении.

Редактор повернулся от конторки и посмотрел на Лопатина обалдевшими от усталости глазами.

- Ну?

- Я хотел тебя предупредить, что, когда вернусь с фронта, мне может понадобиться оформить вызов и прописку у себя в Москве одной женщине с ребенком.

- С твоим?

- Нет, не с моим.

- Откуда вызов?

- Из Ташкента.

- А кто она?

- Заведует костюмерной в театре.

- А кто она тебе?

- В общем, сейчас все...

Редактор потер свои обалделые глаза, уставился на Лопатина и сказал:

- Понимаю. До конца войны нельзя отложить? - Наверное, можно. Но я боюсь ее лишиться.

- А у тебя с твоей бывшей женой и формально все покончено? Я уже забыл...

- Да, и формально.

- Ну что ж, надеюсь, еще успею помочь тебе в этом деле...

Слова "еще успею" какой-то непривычностью задели Лопатина, но тогда он их не понял. Понял много позже. А тогда, хотя и запнулся об них, не переспросил, потому что сам думал о другом.

- Так или иначе, все будет сделано, если сам не передумаешь, - сказал редактор.

- Я не передумаю. Я просто должен ждать ее ответа на свое письмо.

- Теперь все?

- Все. Гурский еще не выехал обратно, не знаешь?

- Знаю. Еще не выехал! Разрешая ему на сутки задержаться в Ленинграде, с условием, что приедет с готовой заключительной корреспонденцией. А что ты за него беспокоишься? Уже не на фронте, в Ленинграде, не маленький, доберется.

- Увижу сегодня ею мать, хотел ей сказать.

- Скажи, что все в порядке. Пока! И редактор еще торопливей, чем в прошлый раз, сунул Лопатину руку. Это была его привычка прощаться с теми, кто уезжал на фронт.

Уже спускаясь от него, Лопатин зашел на второй этаж к дежурным стенографисткам. Хотел спросить, не звонил и не

передавал ли чего-нибудь Гурский.

- А вот он как раз передает вставку в свою корреспонденцию, - кивнула одна стенографистка на другую, которая, прижав к уху трубку, быстро писала в тетрадке свои закорючки.

- Борис Александрович, тут у нас Лопатин, - сказала она в трубку. - У вас что-нибудь есть к нему? - И, оторвавшись от трубки, повернулась к Лопатину. - Говорит: пусть подождет. Он. сейчас кончит.

Ждать пришлось минут пять.

Взяв трубку, он услышал веселый и хорошо слышный голос Гурского.

- А я уже в Ленинграде! П-послезавтра увидимся. Твои пол-литра целы, так что, учитывая мою гвардейскую, а твою армейскую норму, можешь рассчитывать на одну т-треть.

- Завтра уезжаю - сказал Лопатин.

- В каком направлении? Не в нашем?.

- Нет.

- На сколько?

- Видимо, надолго.

- Тогда придется п-прикончить их без тебя. Маму уже не увидишь?

- Увижу.

- Передай, что я, как обещал ей, схожу завтра в своем штатском костюмчике в т-театр, посмотрю, сколько успею, до п-поезда. И скажи, что носков хватило. Третью пару надену завтра в т-театр. Будь здоров! Известный тебе ас - Петя П-про-кофьев, которому я вставил фитиль, наступает мне на п-пятки, спешит поведать своему редактору о причинах своей неоп-ративности... Будь зд-доров!

Лопатин вышел на улицу. Ночь была светлая и теплая. Завтра, как и тогда, в начале войны, будет самый длинный день в году.

Перед зданием "Известий", у репродуктора, стояли люди. По радио передавали те самые итоги трех лет войны, которые вычитывал сейчас за своей стойкой редактор.

"Война теперь идет к концу. Но оставшаяся часть пути к полной победе будет нелегкой. Война вступила в самую ожесточенную, решающую и наиболее трудную фазу..."

Передача кончалась, и Лопатин не стал ее слушать дальше. В кармане у него лежала, уже один раз прочитанная во время скитаний по редакции, полоса завтрашней газеты.

"Перечту еще раз, перед сном", - подумал он.

14

К войне не идет слово "торжество", и все-таки все

происходившее за эти полтора месяца, на всех трех Белорусских и Первом Прибалтийском фронтах было торжеством над немцами, над их железным катком, когда-то, в сорок первом, как раз тут быстрее в страшнее всего прокатившимся через нашу прорванную оборона через наши, оказавшиеся бесполезными, противотанковые рвы, через наши, не успевшие взлететь на воздух, мосты и через наши собственные, полурастоптанные в те дни души, в которых что-то до конца разогнулось и распрямилось только теперь, в это лей".

Оно, это лето, начиная с первого же фронтового дня, проходило для Лопатина под знаком какой-то особенной везучести. Он все время попадал туда, где дела шли всего удачней, и радостно удивлялся этому, хорошо помня, как часто все выходило как раз наоборот

Но на седьмую неделю нашего, еще небывало стремительного наступления, когда, начав в июне под Витебском, к августу махнули так, что, казалось, вот-вот будем в Восточной Пруссии, он все-таки угодил на самое дно войны, влип в такую переделку, после которой - ставь свечку, что жив.

И случилось это в том же танковом корпусе, где он, в первый раз, был в самом начале наступления, когда танкисты вошли в прорыв я поперли, поперли и первыми доперли до Минска.

Как мы просто объясняем то, что случается на войне с другими, и как трудно объяснить себе: как же это вышло с тобой? Ведь почему-то казалось, что с тобой этого не будет! Хотя до этого иного раз слышал от танкистов, что вот так они и погибают - после всех успехов, после того, как уже казалось - все разбили, раздавили, разогнали, - и вдруг где-то осечка, засада я какой-то "фердинанд" или пушка, которой не заметили, один за другим жжет те самые танки, которые неуязвимо прогрохотали гусеницами сквозь десятки километров.

И вот она - эта осечка, эта засада! И все, что осталось после нее; пятно дотлевающего огня, там, на дороге, и ты, лежащий здесь и не знающий, что тебе делать...

Но почему все-таки казалось, что с тобой этого уже не может быть? Может, оттого, что на этот раз поехал на фронт, поверив, что все в твоей жизни изменится и будет хорошо? С этим чувством и поехал, и жил, и ездил, и бывал под огнем, и возвращался в штаб фронта, чтобы доедать корреспонденцию, и снова уезжал на передовую, И через месяц получил с оказией конверт, на. котором было написано: "Лопатину лично от Гурского", где внутри лежала присланная на редакцию короткая телеграмма из Ташкента: "Приеду к тебе как только смогу".

Эти слова - "приеду к тебе как только смогу" - с тех пор

неотступно были с ним на войне, помогая справляться с усталостью, которая постепенно брала свое я s конце концов заставила, наперекор ей, завинтить себя и швырнуть в эту, как он надеялся, последнюю перед возвращением в Москву, поездку к Танкистам.

В свое время, в начале июля, Лопатин, дойдя с танкистами до Минска, остался там писать корреспонденцию, но пообещал командиру корпуса, что еще догонит их.

Генерал сказал тогда с подначкой, что не впервые слышит такие обещания от корреспондентов, и когда в августе, уже за Неманом, Лопатин вновь появился у него, одобрительно махнул ему рукой - садись! - и продолжал слушать доклад своего командира бригады, которому предстояло через несплошной, по сведениям разведки, фронт пойти в рейд в немецкие тылы, двое суток шуровать там, наводя панику, и встретиться с остальными частями корпуса на рубеже, который они вместе с пехотой займут к тому времени в ходе общего наступления. О сроке и месте встречи говорилось уверенно, как о свидании под часами у телеграфа; командир бригады, еще недавно подполковник, а теперь уже полковник, Дудко, был знакомый - с ним Лопатин шел до Минска; все, вместе взятое, оказалось последним толчком.

- Не запрещаю, но не советую,- сказал командир корпуса, когда Лопатив попросился в рейд. - Думаете, если у вас с Дудко один раз все прошло как по маслу, так я в другой будет? У танкистов раз на раз не приходится. Лучше оставайтесь у нас или поезжайте в армию, которой мы приданы. Д"л всюду хватит!

Но Лопатин повторил, что хотел бы пойти в рейд с бригадой Дудко.

- А вы думаете, я ему всю бригаду дам? - усмехнулся командир корпуса. - Не настолько богат! Он у меня туда одним батальоном пойдет, усиленным, конечно, и самоходками, и всем, чем требуется. Ему с вами возиться, а не мне; пусть сам и решает, брать вас или нет.

- Если на мое решение, беру товарища Лопатина, - весело сказал Дудко.

- На что ты его посадишь?

- Можно не бронетранспортер, как в тот раз.

- Ну, а если что...

- А если что - в танк засунем!

- Раз засунешь, засовывай, - сказал командир корпуса. Почему-то разрешил, хотя проще было запретить. То ли верил в легкую руку своего командира бригады, то ли подумал про Лопатина, как нередко думают военные люди про корреспондентов? "Показываешь мне свою храбрость? Ждешь, что

не разрешу? А вот возьму и разрешу!"

Было все это поздно вечером, двое суток назад, где-то неправдоподобно далеко от того места, где теперь Лопатин лежал посреди сжатого поля.

Лежал живой и нераненый, все еще не веря, что остался цел. Лежал в темноте, один как перст, не слыша ни голоса, ни стона, ничего; а сзади, на дороге, где все это случилось, сгоревших танков в темноте уже не было видно, только что-то смутно белело над дорогой, и он знал, что это были стволы побеленных на полтора метра от земли вековых лип, которыми обсажен с двух сторон этот кусок дороги, обсажен так часто, что танки не смогли ни развернуться, ни своротить эти липы, чтобы сойти с дороги и выскочить из ловушки, когда одновременно загорелись и головной, и последний.

Вот сейчас они и белели там, эти проклятые липы; да еще где-то внизу, на дороге, что-то - не понять что - догорало, то погасая, то вспыхивая. Змеился по земле маленький, последний обрывок полыхавшего раньше во всю дорогу пламени. В ночной темноте было непонятно - ни где ты, ни что происходит вокруг тебя. И даже иногда слышавшиеся вдалеке разрывы снарядов не помогали понять, где наши и где немцы. И не было рядом ни командира корпуса, сказавшего "засовывай", ни полковника Дудко, который пересадил Лопатина для безопасности с бронетранспортера в танк" шедший в середине колонны; не было и тех трех людей, к которым четвертым посадили Лопатина, двух -убило сразу, в танке, а третий куда-то исчез позже.

Никого не было. Он был один на этом поле. И были еще сгоревшие танки невидимые и убитые и сгоревшие люди - тоже невидимые; я воспоминание о чьей-то, обутой в сапог, оторванной по колено ноге, за которую он ухватился, когда переползал по кювету. И еще был этот змеившийся вдалеке то вспыхивавший, то затухавший маленький огонек. И почему-то хотелось понять; что же все-таки там горит, на дороге, что там догорает самым последним из всего? Вот она, война; что бы там ни было - сорок первый или сорок четвертый, - нет ничего страшней, как оставаться с нею один на один, тогда только и понимаешь до конца весь ее ужас.

Сначала, за двое суток этого рейда по немецким тылам, Лопатин почувствовал но настроению танкистов; все шло так, как уже не раз бывало. Были потери, сгорело два танка и одна из приданных батальону самоходок, разбило прямым попаданием на шоссе противотанковую пушку вместе с тянувшим ее "доджем". Проезжая там через десять минут на бронетранспортере, Лопатин видел все, что осталось от этого "доджа", - куски раскиданного,

перекрученного железа и заброшенный На придорожную изгородь капот. Словом, были потери, которые считались в. порядке вещей. Судя по всему, танкисты оказались в тылу у немцев неожиданно и поначалу крушили все, что попадалось под руку, - шедшие к фронту и от фронта колонны грузовиков, не успевшие развернуться легковушки, конные обозы, пешие колонны на марше; рвали связь; наскочив на полевые ремонтные мастерские, где немцы латали свои танки, стерли в порошок все, что там было, и, посылая кодом по рации донесения, метались из стороны в сторону, уходя от начавших стягивать силы немцев.

Своими глазами Лопатин видел лишь малую часть происходившего. Но сегодня в конце дня ему все это разом выложил Дудко, залихватски обогнавший на "виллисе" бронетранспортер и забравший Лопатина к себе.

- Сегодня с темнотой будем выходить к своим, - сказал он. - Моя задача выполнена, а наши уже зацепились за рубеж, где назначено рандеву. - Дудко щегольнул этим французским словом, вошедшим на войне в обиход радистов. Но кто его знает, при прорыве не все минута в минуту, от греха пересажу вас в танк. Танк бывший мой - когда я еще комбатом был. Механик золотой, командир танка тоже мой, с ним ходил; башнер новый, а радиста нет, не комплект. Вас - на его место.

Он обогнал на "виллисе" танки. Сначала, не вылезая, остановил головной, на котором, с открытым люком, шел командир роты, и перекинулся с ним несколькими словами, о чем говорили - Лопатин за шумом моторов недослышал, - может быть, о нем.

Командир роты козырнул, танки пошли дальше, Дудко задержал "виллис" на обочине и дождался посреди колонны того танка, на который решил посадить Лопатина. Просигналив, чтоб танк остановился, он на этот раз вылез из "виллиса" и позвал с собой Лопатина. По лицу стоявшего в башне командира танка, молодого и рыжего, с рыжими усами и рыжими бачками, было видно, как он обрадовался, увидев командира бригады.

- Вахтеров, здравствуй, привез тебе майора из "Красной звезды", временно забирай его, пока к своим не выйдем. Вас трое?

- Так точно, трое. - Командир танка нахлобучил сдвинутый на затылок шлем. - Санинструктор вместо радиста был, его на другую машину взяли.

- Теперь майор будет вам и за радиста и за санинструктора, - весело сказал Дудко. - Отвечаешь за него головой, ясно?

- Есть отвечать головой, - так же весело, в тон ему, крикнул рыжий Вахтеров.

Лопатин подумал, что пора лезть в танк, и приготовился сделать это половчее, но Дудко повел его вперед, к люку водителя, повторяя по дороге

- Это мой танк, мой. На нем, пока комбатом был, все время шел. С Вахтеровым и с Чижовым! Сейчас вас с Чижовым познакомлю. Золотой механик.

У золотого механика было маленькое неулыбчивое лицо с белесыми бровками.

- Здорово, Чижов, - сказал Дудко.

- Здравствуйте, товарищ гвардии полковник, - еле слышным голосом ответил Чижов.

- Вот, Чижов, доверяю вам с Вахтеровым майора из "Красной звезды". Веди аккуратно, шишек ему не набей!

Чижов не улыбнулся в ответ на шутку командира бригады и с серьезным лицом стал что-то объяснять ему, а Лопатин полез

через верхний люк . в танк. Рыжий Вахтеров помог ему. Уже стоя рядом с ним, Лопатин увидел, как Дудко, рискованно развернув на откосе дороги "виллис" и махнув на прощанье рукой, поехал вдоль танков обратно, видимо решив двигаться не с ними, а с кем-то еще. Так все это и началось, с известия, что наши наступают и осталось только соединиться с ними; с улыбок командира бригады, сажавшего его в танк к рыжему Вахтерову и маленькому, с удивленно приподнятыми бровями Чижову. А спустя два часа стряслась беда со всеми их семью танками, оказавшимися на этой старой дороге, с двух сторон обсаженной вековыми липами, про которые в последний момент Лопатин еще успел подумать, что их белят здесь выше, чем обычно, почти на человеческий рост,

Да, вот она, эта мысль: что как-то слишком уж они высоко побелены эти стеной стоящие вдоль старой мощеной дороги липы, - она и была самая последняя.

А в следующую секунду в темноте над головой, над открытым люком, свистнуло, и Вахтеров, толкнув Лопатина, захлопнул над головой крышку люка и что-то крикнул - одно башнеру, другое - водителю, и начал развертывать башню. А в танк ударило и тряхнуло так, что с Лопатина слетели очки, и он не успел .их поймать и даже не понял, чем ударился о броню - показалось, что всем сразу, и что-то заскрежетало и закрутилось волчком внутри башни, и вместе с болью в теле остался в памяти этот визжащий звук. Дохнуло жаром и гарью, и на него навалилось что-то бессильно мягкое и мокрое и прижало его к броне, - он понял, что это убитый, только не понял кто - Вахтеров или башнер. А снизу кто-то тянул его за ногу и кричал, и он стал лезть вниз, чувствуя, как задралась и мешает вылезти гимнастерка и он не может протиснуться. А потом все-таки протиснулся и вылез через нижний люк вслед за Чижовым, который тянул его за собой.

Потом он лежал внизу между гусеницами, а Чижов полез обратно наверх, в танк, и что-то долго делал там внутри и снова вылез вниз и сказала

- Всё!

И когда он сказал "всё!" - Лопатин понял, что Чижов хотел проверить, живы ли другие и можно ли их вытащить оттуда.

Потом они с Чижовым вылезли из-под танка, и Лопатин приподнялся, ему хотелось разогнуться и понять, что случилось, но рядом, по танку, ударила пулеметная очередь, и Чижов, дернув его вниз, упал сам и пополз к кювету, приволакивая за собой автомат, - оказывается, он ваял оттуда, из танка, автомат.

Когда они сползли с дороги в кювет, то увидели, что передний и задний танки горят, освещая дорогу, и откуда-то

слева - совсем близко - бьют по танкам невидимые немецкие пушки и пулеметы. Два танка, развернув орудия, стреляли с дороги в сторону немцев, еще один бил куда-то в другую сторону, а танк, из которого они вылезли, чернел неподвижно и не горел, хотя Лопатин помнил, как там внутри дохнуло гарью. Еще один танк пытался своротить липу, чтоб вырваться с дороги на поле, но своротить ее не мог, потому что липа была вековая, а сзади стояли такие же липы, и некуда было попятиться. Потом еще одно немецкое орудие начало бить справа, с другой стороны дороги, и этот танк тоже загорелся. А вслед за ним вспыхнули и те два, которые до этого стреляли, и на дороге стало совсем светло. Видно было, как двое метнулись из танков на этом свету и упали, срезанные пулеметом, и еще один вывалился через край башни и так и висел там, руками вниз, сначала видный на фоне огня, а потом слившись с ним. Потом еще .раз ударило в тот танк, из которого вылезли Лопатин с Чижовым, ударило так, что над их головами полетела сорванная башня, и, словно только этого и ждавшее, из танка столбом вырвалось пламя.

Чижов, потянув, Лопатина за руку, пополз по кювету от танков все дальше и дальше; раньше лежал на одном месте, словно сторожил свой танк, пока он не загорелся, а теперь пополз.

Немецкие орудия все еще били в уже горевшие танки, а они вдвоем ползли по кювету, наверное, метров триста, и, выползли из него там, где кончились липы и началось поле с мелким кустарником вдоль дороги. Когда они выползли в этот кустарник, Чижов что-то сказал, но Лопатин не расслышал и мотнул головой, что не слышит, и Чижов тоже мотнул головой, но через минуту, когда Лопатин оглянулся, его уже не было. Лопатин окликнул его, страшась остаться один, но не услышал собственного голоса.

Потом он почувствовал, что лежит на колком жнивье голым телом, потому что задрались и гимнастерка, и рубаха. Заправляя рубаху, он нащупал пистолет, про который забыл. Еще не веря, что остался один, он ждал, что сейчас Чижов или кто-то другой, живой, окажется рядом, но никого не было, и немцы больше не стреляли, и ничего не было слышно, только на дороге догорали танки, семь танков, в одном из которых он ехал.

Перевернувшись, он стал ощупывать себя, удивляясь, что не ранен. Гимнастерка - и левое плечо, и рукав - были пропитаны чужой кровью, и он стер пальцами что-то скользкое, наверное, мозг, и, расстегнув мокрый карман, вытащил оттуда набухшее кровью удостоверение "Красной звезды" и переложил его в правый, сухой. В этом правом кармане, в крепкой жестяной немецкой коробочке, лежали запасные очки. Он на ощупь открыл

коробочку и проверил: того, чего он больше всего боялся, не случилось - очки были целы. Надев очки и вглядываясь в темноту, он подумал, что немцы могут прийти туда, где догорают наши танки, и решил отползти еще подальше. Приподнявшись, он пополз в сторону от дороги, по полю. Так он полз, наверное, минут десять, пока не увидел, как впереди что-то зачернело. Ему сначала показалось, что это лежит человек, но черневшее впереди не шевелилось, и когда он дополз, то увидел. что это остатки разметанного взрывом стожка.

Он обессиленно привалился к полузакиданному землей стожку, глядя на все еще догоравший на дороге последний язычок пламени и пытаясь понять, что же произошло.

Ведь только что перед тем, как все случилось, командир батальона вместе с разведкой прошел по этой же дороге и радировал, чтоб следовали за ним, он выходит на рандеву. Это было последнее, что услышал по радио рыжий Вахтеров и о чем сказал Лопатину. Почему немцы пропустили тех, кто шел первыми, и не пропустили шедших вторыми? Может, сначала не успели, а потом успели? И где все другие, ходившие в рейд? Вышли к своим по другим дорогам? Если бы не вышли, наверное, шел бы близкий бой, а его не слышно. Только артиллерия бьет, но далеко и в стороне. Если наши наступают, наверное, к утру они дойдут и сюда, и лучше всего лежать и ждать здесь, все равно ничего другого не придумаешь.

На душе было муторно; масштабы всего, чему он полтора месяца подряд был свидетелем, не сходились с бессилием и жалкостью собственной сегодняшней судьбы.

Были, шли, перекрикивали шум, стоявший в танке, шутили, считали, что все позади, и вдруг все сгорели! Все семь танков - один за другим сгорели, ничего не успев сделать. И сгорели все, кто был в них. Может быть, не все. Может быть, кто-то еще вот так же, как он, лежит где-то и ждет утра, распластанный на поле.

Он знал, понимал, что так бывает, слышал от танкистов, видел сгоревшие танки и тогда, когда прорывались к Минску, и в эти дни, - но это горел кто-то, это было про других, а не про него.

И сквозь тревогу за себя - что же будет, когда рассветет, - ему стало чего-то неопределенно стыдно в корреспонденциях об этом наступлении, посланных им за последние шесть недель в Москву. Все в них было правильно, а чего-то не хватало. Нет, не на всю ту глубину войны они были написаны, которую он только что испытал на своей шкуре.

А в поле было безветренно и тихо, так, словно война вокруг этого поля заснула до утра. Но с рассветом она проснется - и неизвестно, кого увидишь отсюда ты в кто увидит тебя.

Он попробовал трезво представить собственное положение. Вечером они сначала шли к северу, а потом повернули строго на восток. И рандеву, о котором говорилось, должно было состояться где-то недалеко, за шесть или семь километров отсюда. Так, во всяком случае, он понял, когда рыжий Вахтеров радостно кричал ему про это на ухо.

Сначала они отползли вдвоем с Чижовым подальше от дороги, влево, а потом, оставшись один, он старался двигаться в том же направлении, куда они шли на танках.

Небо затянуло тучами, и даже эти проклятые липы уже не белели там, на дороге. Но он помнил, где догорал погасший теперь огонек на дороге. И наверное, имело смысл и дальше двигаться так же, как он полз сюда, ни в коем случае не забирая вправо, чтобы не попасть обратно на дорогу; мало ли что там, на дороге, может оказаться к рассвету!

Езде днем он заметил и сейчас вспомнил, что тут в стороны от дорог уходят поперечные полоски - не то мелких посадок, как на юге под Одессой, не то заросших кустарником межей. И пока небо заволокло тучами и ничего не видно за десять шагов, - лучше всего подняться и идти вперед, вдоль дороги, до каких-нибудь кустов или полосы посадок, чтобы не оказаться утром на голом месте.

Он вспомнил, как в начале войны под Минском лежал в солнечное, ясное, без одного облачка, утро посреди голой поляны - и над ней один за другим, строча из пулеметов, проскакивали "мессершмитты". "Лежал, как червяк!" - с ожесточением вспомнил он, и в этом вдруг вспыхнувшем ожесточении была решимость выбраться. Глупо было бы, выбравшись тогда, не выбраться сейчас! После внезапной гибели танков он испытал непривычную для себя потерю воли, но сейчас эта потерянность прошла. Он поднялся с земли, сначала на колени, потом встал, ощупал себя, переступил с ноги на ногу, сделал несколько шагов, снова переступил с ноги на ногу, перенося то на одну, то на другую всю тяжесть тела, и почувствовал, что может идти.

15

Пройдя несколько сот шагов, Лопатин сел на землю передохнуть и, услышав, как в темноте, недалеко от него, идет по полю человек, сделал то, чему его еще в сорок первом научила война; из сидячего положения перевалился на бок, дернул ушко кобуры, вытащил пистолет и, перенеся тяжесть тела на левый, занывший от боли локоть, стал всматриваться в темноту, готовый выстрелить.

Плохо было только, что он не дослал патрон в ствол заранее, и теперь, чтобы взвести курок, пришлось оттянуть назад затвор,

громко щелкнув им в стоявшей над полем ночной тишине.

Но как раз это и уберегло от несчастной случайности; впереди шевельнулось что-то невидимое. и не сверху, а снизу, с земли, - значит, тот человек, услышав, как клацнул металл, тоже лег, - донесся хриплый голоса

- Не стреляй, свой!

- Кто? - негромко спросил Лопатин.

- Я Чижов, - ответил голос. - А ты?

- Я с вами был, - сказал Лопатин и услышал, как человек поднялся с земли и пошел; но только в трех шагах от себя ясно увидел маленькую фигуру Чижова, странно широкую в плечах от висевшего на шее автомата.

- Куда ж вы ушли? - Чижов сел рядом с ним, не снимая автомата. - Я же вам сказал: обождите.

- Я не понял. Плохо слышал,

- А теперь?

- Теперь слышу.

- Я тоже, - сказал Чижов. - Не контузило. Только с ноги, когда второй раз вылезал, кожу содрал, не пойму об чего. Печет. Услышал, как вы в ТТ патрон дослали, сразу поняла свой. Когда парабеллум - другой щелчок. Да и неоткуда тут в поле немцам быть. Они свое дело сделали и смотались. Чего вы дальше решили, товарищ майор?

- Думаю, немного отдохнем и пойдем вдоль дороги. Или до кустарника, или до посадок, чтобы там залечь и, когда рассветет, оглядеться. - Начав полушепотом, Лопатин, "преодолевая все еще не прошедший страх, кончил громко, почти не понижая голоса.

- А еще лучше - хоть какую воду найти, пить охота, - сказал Чижов. Кушать не хотите? У меня сухари есть. Я всегда в карманах сухари имею, мало чего!

- Давайте лучше пойдем, - сказал Лопатин. - Дойдем до места, пожуем, а вдруг и вода будет.

Они встали и пошли и, пока шли, не сказали больше друг другу ни слова. Шли и молчали.

Сначала добрались до полоски кустарника, но кустарник был мелкий, и они пошли дальше. Никакой воды так и не встретили, но еще через полчаса вышли к маленькой густой рощице. Сначала не поняли, что это за рощица. Шедший впереди Чижов крякнул от боли, ударившись обо что-то, и они оба разом прилегли. И когда прилегли и пощупали вокруг себя, поняли, что это одно из тех - с купами деревьев над могилами - маленьких хуторских кладбищ, каких много в этих местах, на границе Белоруссии и Литвы.

- Вы тут лежите, товарищ майор, - шепотом в ухо Лопатину сказал Чижов, - а я кругом обползу, нет ли кого. Место хорошее -

не для одних нас. Автомат мой пока возьмите, а пистолет дайте, я с ним сползаю.

Лопатин взял автомат, а Чижов, сунув за пазуху пистолет, бесшумно пополз между могилами. Молоденький, маленький и казавшийся тихий, на самом деле он, наверное, был повелительным человеком.

- Нет никого, одни мы с вами, - сказал он, вернувшись. - На целую версту один. Как теперь решаете? Здесь ждать будем? Укрытие хорошее.

- Хорошее, - сказал Лопатин, без колебаний присоединяясь к уже принятому Чижовым решению.

- Кушать не захотели?

- Нет.

- И я нет.

- Интересно бы знать, где сейчас наши.

- Кабы знать, - сказал Чижов. - Можно бы рискнуть пойти. Слыхали, как наша артиллерия била? И танки тоже.

- Слыхал. Где-то в стороне, левей нас, но далеко, по-моему.

- Не так далеко. Считайте, ветер не оттуда, а туда, потому на слух и кажется, что далеко. И не только левей бьет - а уже и сзади нас, строго на запад. Оттого и немцы сняли засаду. Сделали свое дело - и смотались! - с горькой простотой сказал Чижов.

- Хорошо, что мы встретились, одному страшней, - сказал Лопатин. /

- Конечно, - согласился Чижов. - Это только говорится, что и один в гаэле воин, а одному на войне - как? Я думал, вы услышали, как я сказал, чтоб лежали, пока не вернусь.

- А чего вы задержались?

- Хотел посмотреть, может, кто еде живой в том, в другом, кювете лежит. И туда, и сюда прополз, на поле даже выполз - никого! Бывает же, что и танк сгорит, а все выскочить успеют, а бывает, что даже и не сгорел, а внутри все мертвые. На Курской дуге мы уже из боя обратно выходили, смотрим, почти на исходной с нашей же роты танк в кювет завалился и стоит, верхний люк открытый - и никого нет. Мы даже остановились, думаем, что такое, что же они, в бой не пошли? Заглянули - а там все убитые. Два снаряда сразу попало. Один в лобовую броню - водителя убил, а другая болванка в башню - броню пробила и внутри, как волчок, всех поубивала,

- А кто же верхний люк открыл?

- А кто его знает? У человека перед смертью такая сила бывает, толкнул - открыл, а потом упал внутрь и помер. Я один раз сам без сознания задним ходом машину выводил. Мне потом командир машины рассказывал, - кричит мне: "Мишка, куда ж ты,

сейчас под откос пойдем!" - а я - без сознания. По-всякому людей бьет. У меня первого командира внутри башни убило куском своей же брони. У танкистов одна машина на всех, все одинаковое, только смерть - разная. Думал, в том кювете все же кого-нибудь живого найду. Не терплю, когда своих бросают. Уже после Курской дуги наступали, у нас машина сгорела, а мы сами живые вышли, но за кем к ночи поле боя осталось - не разберешь, всего там набито, и нашего, и ихнего. А утром дождь прошел, глядим - все же поле боя за нами; потихоньку идет вперед через него наша пехота. И мы за ней - поглядеть, как чего вчера было- В горячке не поймешь, а потом интересно. И вдруг - слышим, кто-то стонет. Под ко-пешкой механик-водитель лежит, ему немецкий танк гусеницей ногу осушил, раздавил до колена. Из своего подбитого танка вылез, а под немецкий попал, - так он нам рассказал- На поле боя всегда что-нибудь валяется - одеяло валялось, мы его в одеяло завернули, он ослабший и дрожит. Выносим его - и вдруг он как закричит, - увидел, два танкиста идут. "Я, - кричит им, - просил вас не бросать меня! А вы меня бросили! Сволочи вы!" А они не признаются, что он ихний. Испугались, что мы их постреляем, и говорят: "Он обознался, он не наш". - "Как так - не ваш?"

Когда 'вернулись, доложили про них замполиту бригады. Не знаю, что с ними сделали, может быть, и ничего. Потому что сразу опять в бой пошли. А по делу - надо было нам тогда их на месте пострелять, заслужили! А под Севском меня самого пехота гасила, по земле катала, шинелями накрывала. Мы, как факелы, из танка выскочили. Ожоги были сильные, но живые остались. Значит, спасибо пехоте!

- Ас вашим командиром танка вы давно вместе?

- С Вахтеровым? Давно, с Витебска. А знакомы еще раньше, в Нижнем Тагиле весной машины получали и эшелоном ехали. А потом, уже перед боями, ему младшего лейтенанта дали - и командиром танка ко мне. Он и стрелял хорошо и как командир был грамотный, с Десятилеткой. Прямо с нее - на войну. Комбриг, когда с нами ходил в танке, ему говорила "Ты, Вахтеров, далеко пойдешь, войну комбатом кончишь". А он смеялся. У него только усы, как у Чапая, а так ему двадцати одного еще не исполнилось. Двадцать было, сказал Чижов и вдруг всхлипнул.

- Не обижайтесь, что спросил,

- А чего? - снова всхлипнул Чижов. - Молчать еще хуже. Чего теперь делать, если не говорить? Пока не рассветет, ничего не узнаем. - А башнер с вами давно?

- Башнер со вчера. У нас до него башнер веселый был, Задорожный Семен Семенович, артист из филармонии. И песни

пел, и фокусы делал - и с картами, и с чем хочешь. Немолодой уже, лет под тридцать. И вот его судьба: вчера утром на ходу люк открыл, а не закрепил. Нагнулся папироску взять, а другая рука - на башне. А я как раз в воронку уперся - и его - крышкой люка - по руке. Бинтуем его, а он скрипит зубами и смеется, говорит; "Ничего, я сам виноват!" Сам или не сам, а забрали в санчасть. А вместо него - нового, с кем теперь простились. Я когда внутрь заглянул, пощупал - его в куски порвало.

При этих словах Лопатин почувствовал, как лежавший рядом с ним Чижов содрогнулся, голос не дрогнул, а телом содрогнулся.

- Фамилия - Попов. Что первую неделю воюет - сказал про себя, а как звать - не успел. Узнали от него только, что жена у него Настенька. У нас остановка была до того, как вас взяли, - стоим, а он про нее вспоминает: Настенька да Настенька! Все-таки человек предчувствует свою смерть.

- Почему предчувствует? - спросил Лопатин.

- Ас чего б он взялся вспоминать, если б не предчувствовал?

- А Вахтеров разве предчувствовал?

- Вахтеров никогда не предчувствовал. Он, напротив, Попову объяснял, видя, как тот предчувствует: "Мы-то воевали, - говорит, - значит, и вы повоюете. Мы-то живы! Война-то, - говорит, - не без жертв, но кто-нибудь-то должен из нас остаться!" Так он его утешал. А вы тоже, как Вахтеров, на войне с сорок первого?

- С сорок первого.

- А я с сорок второго. Курсы трактористов уже в войну заканчивал, мне отсрочку дали, броню. А то всех позабирали в первые дни, на трактор сесть некому. У меня язва открылась, доктор на три дня из совхоза к матери в деревню отпустил. Пришел за семьдесят верст к матери, а там повестка ждет. И уже брат убит. Мне говорят: покажи в военкомате свою броню, - а мне неловко. Пока на механика-водителя учили, только в августе сорок второго под Сталинград попал. Называлась у нас - Четвертая танковая армия, а какая она была тогда танковая, одно название...

- А сами вы откуда?

- Пензенский, пензяк.

- Ну, ваши места хоть, слава богу, война не тронула.

- Да, не тронула... В том, как Чижов это сказал, была укоризна; слова "война не тронула" уже давно не годились. Нигде не годились. Дома не тронула. А в домах-то пусто...

- Сколько вы машин с сорок второго года сменили? - спросил Лопатин.

- Эта - шестая, - сказал Чижов. - Два раза горели. Три раза меняли машины, подбитую - в ремонт, а нам - новую.

- А ваш командир бригады, - спросил Лопатин то, что уже давно хотел спросить, - на вашем танке давно ходил?

- С начала операции, с Витебска. Он нами доволен был.

- А почему же на другой танк пересел?

- А его механик-водитель разыскал, с 'которым он еще в Литве, под Шауляем, воевал. Уверен был про него, что тот убитый, а тот живой, прочел в указе фамилию Дудко - и разыскал. Из госпиталя к нему сбежал, в халате, девочки-регулировщицы до нашего хозяйства на попутную посадили. Командир бригады его увидал и говорит: раз такая судьба, вместе начинали, вместе и кончим. Как только новые танки получили, взял его к себе механиком.

- А почему же Вахтерова вашего к себе не взял?

- Мы думали между собой. Наверно, наш экипаж нарушать не хотел - он не любит экипажи нарушать, говорит: их и без того война нарушает. А что вместо меня того механика себе взял, я не обижаюсь, - с кем войну начинал, разве его забудешь?

- Это верно, - согласился Лопатин, подумав о людях, бывших, может, и не храбрей, и не лучше других, но неустранимых из памяти, потому что с ними начинал войну.

- Жалко, опять машина сгорела, - сказал Чижов. - Каждый раз жалко. Тем более "тридцатьчетверку". У ней и скорость, и проходимость хорошая, и маневренность, можно сказать, замечательная.

- Башня только часто слетает. - Лопатин вспомнил, сколько раз он видел, как сброшенная с танка башня лежит на земле возле погибшей "тридцатьчетверки".

- Бывает, слетает, - сказал Чижов, с неохотой подтверждая эту очевидность. - Как у нас сегодня! Она ж не крепится, на своем весе держится. Слетает, если взрыв внутри, или если удар снизу вверх идет, под корень, или тяжелая бомба рядом упала. - И, словно оправдывая свою любимую "тридцатьчетверку", добавил: - А у немца - замечали? У них у всех, даже у "тигров", подъемный сектор у орудия слабый. Как подобьешь, у него сразу пушка - раз! - и вниз! Пушка у них очень хорошая, но длинная, а сектор, который ее поднимает, слабоватый. Видали? Стоят, и пушки вниз!

- Видал, - сказал Лопатин. Он v в самом деле много раз видел это. но объяснений не искал. От боли за свое собственное больше обращал внимание на башни, слетавшие с "тридцатьчетверок".

Лежа рядом с ним, Чижов стал вспоминать, как танкисты хоронят своих сгоревших, складывая все, что осталось, иногда а шинель, иногда в одеяло, а чаще всего - в плащ-палатку...

Когда разговор иссякал и наступало молчание, время начинало тянуться томительно долго, бессмысленно

опрокидываясь куда-то в прошлое, то в мысли о женщине, которая написала, что приедет к тебе, как только сможет, но теперь неизвестно, сможешь ли приехать к ней ты; то в поздние раскаяния в том, что, как мальчишка, напросился в этот рейд, о котором, останься хоть трижды жив/ все равно теперь не напишешь в газете всего, что увидел и чему ужаснулся.

Было стыдно за эти свои раскаяния перед лежавшим рядом Чижовым, который наверняка не думал об этом, потому что ни у кого и ни на что не напрашивался, а просто - уже не в первый раз за войну - сначала делал то, что ему приказали. а потом то, что ему уже никто не мог приказать, то, что считал собственным долгом перед товарищами. Но как ни стыдно, а все равно со злостью на себя вспоминал о позавчерашнем генеральском "не советую", которого мог бы послушаться, и тогда ничего бы этого не было...

- А еще так бывает, - вдруг после долгого молчания сказал Чижов, - в сгоревший танк заглянешь - механик как сидел, Так и сидит. Почти полностью, не разваливается. Почему - не знаю. А дотронешься. - и рассыпался! Я два раза так хоронил. У вас закурить нет, товарищ майор?

Лопатин полез, в левый карман брюк, где, как ему помнилось, лежала пачка и в ней оставалось несколько папирос. Он нащупал и достал ее, смятую, потому что карман, как и весь левый бок брюк и гимнастерки, был пропитан чужой кровью.

Чижов, сняв шлем, стал пальцами перебирать в нем эти слипшиеся в комок папиросы.

- Все мокрые, - вздохнул он. - Не закурится. - И, вытряхнув шлем, надел на голову.

Так и не заснув, они пролежали до рассвета. Видно было еще плохо, но стало понятно, что они за ночь довольно далеко ушли вверх по отлого подымавшемуся полю, а то место, где с ними все вчера случилась, наверное, когда-то давно было гатью через старое болото. Липы темнели далеко внизу и стояли так густо, что сожженные между ними танки были почти не видны в утреннем тумане. А еще дальше, по ту сторону низины, поле тоже отлого поднималось вверх.

В низине, совсем близко от дороги, стоял не замеченный ими ночью "фердинанд". Он стоял мертвый. Машина, как человек, тоже бывает живой и мертвой, и иногда это сразу видно еще издали.

- Хоть этот разбили, - безрадостно сказал Чижов. - Он с другой стороны по нам бил. С той стороны засада, а он с этой подошел и добавил. С пятисот метров - конечно, зажег! А куда нам было деться? Нас как к стенке поставили. Как ни вертись -

хоть лицом, хоть затылком, - все равно добьют!

Когда еще больше рассвело, стали хорошо видны и наши горелые танки, зажатые между липами.

Еще подальше, по другую сторону дороги, виднелся побитый бомбежкой хутор - кирпичные дома и сараи с обвалившимися черепичными кровлями. И кругом ни одной человеческой души.

- Вот оттуда он нас вчера и встретил, - сказал Чижов. - Пушки закатил внутрь и бил оттуда батареей. Пушки с той стороны, а самоходка с этой. Самоходке все же врезали, а им ничего не сделалось. Сожгли нас и ушли.

Хуторское кладбище, где они лежали с Чижовым, было не на самом взгорке, а чуть пониже, я того, что находилось прямо за ним, не было видно, но Лопатину казалось, что раз они ночью шли сюда, на восток, то и свои должны быть где-то там, за этим взгорком.

- Пойдем дальше, - тяготясь неопределенностью, сказал он.

- Как прикажете, товарищ майор, а лучше еще немного обождем. Мне ночью слышалось, вроде сзади нас и артиллерия била, и танки шли.

Он замолчал и долго прислушивался.

- И сейчас там, - махнул он рукой назад, - выстрелы слыхать, кто-то ведет беспокоящий огонь - или мы, или немцы.

Лопатин прислушался, но ничего не услышал.

- Сейчас уже нет, - сказал Чижов, - а то/было слышно. - И повторил: Давайте обождем. А если без перемен - то пойдем, как вы сказали. Так и так - нам до воды надо дойти, терпеть нет сил. Может, сухарь пожуете?

- Давайте.

Чижов вытащил из кармана два сухаря, один дал Лопатину, а другой взял себе, но свой переломил пополам и половину сунул обратно в карман.

Только теперь, жуя сухарь и смачивая его во рту слюной, чтобы проглотить на сухое горло, Лопатин как следует разглядел своего спутника. Чижов был маленького роста, с крупными веснушками, несмотря на копоть, видными на его детском лице. Брови высоко поднятые, удивленные, а глаза задумчивые, недетские. Он грыз сухарь ровными белыми зубами, блестевшими на грязном лице, но двух зубов сбоку не хватало, и над ними губу пересекал шрам - след ранения. При малом росте и худобе грудь и плечи у него были широкие. Он был в шлеме, но без комбинезона, а гимнастерка, как у многих танкистов, была заправлена внутрь, в брюки, чтобы - если выскакивать из танка - не зацепиться. На левой ноге брюки были разорваны от пояса до колена и поверх прорехи замотаны окровавленным, запекшимся,

грязным бинтом.

- До мяса содрал, - заметив взгляд Лопатина, сказал Чижов. - Пальцем тронул, а там мясо.

- Может, заново перевязать? - спросил Лопатин. - У меня - пакет.

- Не надо, товарищ майор! Там' и кожа. и подштанники - все вместе. Дойдем - фельдшер отдерет. - И вдруг спросил; - Вы, я по нашивкам вижу, тоже несколько раз раненный были, никогда столбняку не боялись?

- Как-то не думал о нем.

- А я думал, - сказал Чижов. - Вот уколы делают против него, говорят, столбняк - от земли. но редко бывает - один на тысячу. Что это за уколы при такой войне? Если б не от столбняку, а от смерти уколы делали - вот бы все кололись! - И он рассмеялся своей мысли - до того невеселой, что от нее, казалось бы, не смейся, а плачь! Рассмеялся, но вдруг что-то переменилось в его лице, и он даже ткнул Лопатина пальцем в плечо. - Повернитесь, товарищ майор.

Они сидели соответственно тому, как представляли себе будущее. Лопатин - лицом туда, куда они шли и куда он собирался идти дальше, а Чижов - лицом назад, туда, где ему ночью слышалась стрельба. - Видите?

Лопатин повернулся и, следя за его рукой, увидел на горизонте три пятнышка. Сначала, чуть-чуть увеличиваясь, они двигались прямо, потом два крайних пятнышка, удлинившись, разошлись в стороны, а среднее продолжало двигаться прямо. Потом два крайних опять сузились и пошли не в стороны, а прямо - значит, просто перестроились на другой интервал, пошире.

Порыв ветра донес далекий, ни на что другое не похожий шум танковых моторов.

- Похоже, разведка, - сказал Чижов. - Может, наша, взводом идут. Но немцы тоже так ходят.

Будь у Лопатина с собой тот трофейный "цейс", который, по случаю их третьей встречи на войне, неделю назад подарил ему командующий армией Ефимов, уже можно было бы разглядеть, что это за танки. Но бинокля с собой не было, он остался у Василия Ивановича, потому что командир корпуса запретил Лопатину ехать в рейд на редакционном "виллисе", приказал пока поставить машину на ремонт в корпусных тылах.

Продолжая смотреть на приближающиеся пятнышки танков, Лопатин знал, что все равно первым - немцы это или наши - поймет не он, а Чижов. который уже было приподнялся и хотел что-то сказать, но промолчал. Должно быть, проверял себя. А еще через минуту, повернув свое детское лицо к Лопатину, сказал

спокойно, как о само собой разумевшемся:

- Наши, разведка, Т-34. И десантники на броне. Отползем немного отсюда, а то еще подумают, вдруг тут на кладбище засада, дадут по нему на всякий случай - и прощай!

Пока они отползали, танки все увеличивались. Средний уже приближался к дороге, где стояли наши горелые машины. Другой забрал вправо, обходя сзади разбитый хутор, из которого вчера стреляли немцы, а третий, подойдя метров на восемьсот, ударил по мертвой немецкой самоходке.

- Страхуется все же, - сказал Чижов, когда снаряд, не попавший в самоходку, с визгом прошел у них над головами, ударился далеко сзади в землю, вздыбил ее, срикошетил и снова ударился. Танк выстрелил еще раз, и самоходка задымила. Сначала потянулся дым, а за ним вспыхнуло пламя, вырвавшееся назад через круглый задний люк "фердинанда".

- Никого в ней нет, - сказал Чижов, - или сразу убитые были, или ушли ночью, Что ж бы, они сидели, не показывались?

Танк подошел ближе к самоходке, но больше не стрелял. Было видно, как с него соскочили автоматчики и пошли от продолжавшего гореть "фердинанда" к дороге. Почти одновременно соскочили и пошли к дороге автоматчики и с другого танка.

- Ну что? - сказал Чижов, глядя на "тридцатьчетверку", стоявшую возле "фердинанда". - Теперь для них обстановка ясная. Люк открыли, смотрят. Теперь нас за немцев навряд ли даже вгорячах примут. Но вы все же задержитесь, товарищ майор, пока не вставайте, я сперва один пойду, мало чего1 Танкисты - они чумовые.

Лопатин ничего не ответил, зная, что, прав или не прав Чижов, все равно нельзя, чтоб он шел, а ты лежал и ждал, что будет.

Чижов натянул шлем и, повесив на шею автомат, встал и пошел. Таким его и запомнил Лопатин, поднявшегося в одиночку навстречу опасности, маленького, прихрамывающего, в большом, не по голове, танкистском шлеме Запомнил, еще лежа на земле А через секунду поднялся и пошел вслед за ним.

16

Вечером того же дня Лопатин сидел в штабе армии у Ефимова, в доме с исправно работавшим от движка электричеством, пил из стакана в подстаканнике крепкий, как деготь, чай и слушал второй за сутки разнос.

Этому разносу предшествовала такая быстрая смена событий, что Лопатин все еще не успел очухаться. Оказывается, наши танки и мотопехота за вечер и ночь прорвали на флангах

немецкую оборону и вышли на новый рубеж, Чижов был прав, его не обманули ни слух, ни сметка. Командир разведроты, оказавшийся в одном из танков, к которым они с Чижовым вышли навстречу, сразу же радировал наверх, по команде, о семи сгоревших машинах, людских потерях и найденном корреспонденте "Красной звезды".

Лопатин простился с Чижовым прямо на дороге. Подавленный и примолкший, Чижов сидел на корточках около так и не найденного им ночью, слишком далеко отползшего от машин механика-водителя с головного, первым загоревшегося танка. Водитель, обожженный, с оторванной ступней, был еще жив и, не приходя в дознание, слабо стонал, пока потный санинструктор наново жгутом зажимал ему ногу, кое-как -^ поясным ремнем - перетянутую до этого им самим.

Штаб танкового корпуса, куда через час доставили Лопатина, оказался неподалеку, в жидкой рощице, и собирался передвигаться; кругом ничего не рыли.

- Огреб из-за вас выговор от командарма, - сердито сказал командир корпуса, стоя у своего танка и разглядывая положенную на лобовую броню карту. - Знал бы, что вы такая неприкосновенная личность, на выстрел бы не подпустил! А Дудко тоже хорош! Сам вышел - и рад! Докладывает, что в общем и целом завершил. А в частности, про тех, кого захлопнуло, про вас в том числе, только к утру донес, боялся потери преувеличить, надеялся - еще кто-то выскочит! Приказано доставить вас в штаб армии, так и не понял, куда вас требуют - не то во фронт, не то в Москву. Напросились на мою голову! Как себя чувствуете? Мне донесли, что здоровы.

- Сначала все болело. И вообще обалдел. А сейчас нормально.

- Это бывает. С переляку и сознание теряют, Считайте, что вам повезло.

- Так и считаю, - сказал Лопатин. И добавил несколько добрых слов о Чижове.

- Запиши фамилию, - через плечо приказал командир корпуса адъютанту. Инициалы знаете?

- Имя - Михаил. Отчества не знаю, - сказал Лопатин.

- Ладно, найдем. Дадим "За отвагу" своей властью. А вас, не думайте, не представлю. - А я и не думаю, - сказал Лопатин. . - А зачем тогда лезли, куда вам не положено?

- Ваша воля была не разрешить, товарищ генерал, - сказал Лопатин, уже давно в таких случаях взявший за правило не давать наступать себе на ногу, - а что мне положено или не положено, как корреспонденту "Красной звезды", я знаю сам.

- Эх, поставил бы я вас сейчас по стойке "смирно".

- Стать? - спросил Лопатин.

- Не дождешься, не поставлю, а то еще напишешь догом!

- В корреспонденции не напишу. Если только в дневник, на память о встрече с вами.

- А дневников в действующей армии вести не положено. Это вам известно? - усмехнулся командир корпуса.

- Это вам, товарищ генерал, не положено, а мне положено. Какой же я без этого действующий? Без этого я бездействующий.

- Хрен его знает, как с вашим братом разговаривать. Благодарность вам, что ли, объявлять, что целы остались?

- А много еще потерь, кроме тех, что у нас? - спросил Лопатин.

- Еще были, - хмуро сказал командир корпуса. - За весь рейд до этого три машины потеряли, а при выходе - девять, не считая бронетранспортеров. Как на разведку плюнем, обнаглеем, так немец - хрясь! - и мордой об стол! Учит нас, учит - никак не научит. Ну? - повернулся он к подошедшему адъютанту, которого отсылал с каким-то поручением.

- Готово, - сказал адъютант.

- Плащ-палатку достал?

- Лежит в машине.

- В плащ-палатку вас обрядим на дорогу, - окинув взглядом Лопатина, сказал командир корпуса, - чтобы там в штабе армии кого-нибудь не напугали. Мы-то тут люди привычные. "Виллис" ваш искать пока некогда, но к вечеру найдем. А вас на своем доставим. И в медсанбат завезем. Пусть осмотрят. А перед дорогой позавтракаем. Знаю, что голодны, но сам со вчерашнего утра не ел. На рубеж вышли, приказ выполнили, но моменты были хреновые, вроде вашего.

Заехав по дороге в медсанбат, где ему смазали йодом синяки и ссадины на спине, Лопатин через два с половиной часа был уже в штабе армии. Ефимов отсутствовал, адъютанта тоже не было - уехал с ним в войска, но сидевший у телефона дежурный офицер сказал, что командующий приказал Лопатину по прибытии безотлучно находиться здесь.

Услышав слово "здесь", Лопатин огляделся и присел на стул, но дежурный вызвал знакомого Лопатину еще по Кавказу ефимовского ординарца, и тот повел его на задний двор хуторского дома, где жил командующий, и пристроил на свою койку.

- Может, сводить вас в санчасть, товарищ майор, пока командующего нет. А то, как вернется, сразу вызовет.

- Неохота, я уже был в санбате.

- Тогда - в баню. Сегодня баню топят.

- Хорошо бы, - сказал Лопатин, но встать е койки оказался уже не в силах, поднял голову с сенника, уронил ее обратно и заснул непробудным сном.

К тому времени, когда Ефимов вечером вернулся из войск, Лопатин успел и поспать, и поесть, и вымыться, и переодеться.

Командир танкового корпуса - спасибо ему - сдержал слово: ближе к вечеру прислал редакционный "виллис", и Василий Иванович одолжил Лопатину не только чистую рубаху и подштанники, но и свои запасные брюки, и гимнастерку. Нашелся и подворотничок. Правда, у Василия Ивановича воротник бил номера на два больше, и гимнастерка болталась на шее у Лопатина, как хомут. Сначала думали достать новые полевые погоны, но не достали, пришлось нацепить старые. А орденские ленточки были так неотмываемо измазаны кровью, что прикреплять их к другой гимнастерке нечего было и думать.

Когда Лопатин переоделся, Василий Иванович забрал грязно? белье и обмундирование и сказал, что сам сходит и простирнет - тут, он видел, за леском речка есть.

- Спасибо!

- А чего ж, - сказал Василий Иванович, - если к командующему позовут не с речки ж вас звать? Когда отсюда поедем?

- Думаю, раньше утра не поедем, - сказал Лопатин.

О чем пойдет разговор с Ефимовым, он плохо себе представлял, но куда б ни спешить отсюда - в штаб фронта или в Москву, все равно умней выезжать на рассвете, чем глядя на ночь.

Василий Иванович отправился стирать, а Ефимов все не возвращался. А когда наконец вернулся, к нему сразу же надолго зашел начальник штаба.

Лопатина позвали через час, когда начальник штаба ушел. Обычно в это время, когда оперсводка бывала уже отправлена, а вечернее итоговое донесение еще готовилось, Ефимов, как он любил выражаться, устраивал себе антракт: полчаса-час отдыхал и думал за крепким чаем один или звал к себе и поил чаем кого-нибудь, кого хотел видеть; в былые времена на Северном Кавказе несколько раз звал и Лопатина.

Проборку Ефимов начал не сразу. Сначала, поднявшись из-за стола, поздоровался за руку, пригласил сесть и, позвав ординарца, велел принести два стакана чая. Пока ординарец ходил за чаем, надел пенсне и, иронически обозрев Лопатина, спросил:

- Помнится, видел на вас ордена и медали, к одному сам представлял. Что, лишили вас их, что ли? Или считаете излишним носить? И без того известны?

- Ах, вон оно что, - в ответ на объяснения Лопатина про измазанные кровью ленточки сказал Ефимов своим отрывистым, немножко гнусавым голосом, чаще, чем обычно, подергивая контуженой головой. - А я было подумал лишили. Хорошо еще, что головы вас не лишили. А вполне могли лишить!

С этого и начался разнос. Как только ординарец принес чай, Ефимов, буркнув "пейте!" и сам отхлебнув глоток, открыл лежавшую под рукой папку, вынул оттуда лист бумаги с наклеенной на него телеграфной лентой и ткнул через стол Лопатину.

- Читайте!

После обычных условных телеграфных пометок - Енисей, Луч, Алмаз - в телеграмме стояло:

"Сообщите корреспонденту Красной звезды майору Лопатину: прошу срочно вылететь Москву, машину водителем оставьте штабе фронта, где вас временно заменит Гурский". Дальше стояла подпись - генерал-майор, фамилии Лопатин с маху не прочел, - какая еще там могла стоять фамилия, кроме той, что всегда? Но чем-то удивившее его начало телеграммы заставило перечесть ее. Разные телеграммы получал он за три года войны от своего редактора. Чаще всего они начинались словом "немедленно": немедленно высылайте, немедленно выезжайте, немедленно возвращайтесь. Раза три начинались словом "выношу благодарность"; раз десять словом "требую". Но телеграммы, начинавшейся со слова "прошу", Лопатин не помнил. Это и заставило его перечесть все подряд до незнакомой подписи: Никольский. Сомневаться не приходилось, за две недели, что Лопатин пробыл здесь в армии и у танкистов, редактор достукался, и его сменил какой-то другой, неизвестный генерал-майор.

Ефимов протянул руку и выдернул из пальцев Лопатина телеграмму:

- Чего цепляетесь? Алмаз-то не вы, а я. Телеграмма-то мне. А вам положено только ознакомиться и принять к исполнению. Где ваша совесть? Не будь этой писанины, которая неделю пролежала на узле связи фронта, прежде чем сообразили отстучать ее копию мне, я, чего доброго, так и не узнал бы о ваших рейдах по тылам противника! Что вы в танковом корпусе - знал, но до чего вы там с другими умными головами додумаетесь - не предвидел. А то б воспрепятствовал.

- Почему?

- Потому что не ваше дело - мотаться в танке по немецким тылам на четвертом году войны и пятом десятке лет. И недостаточно молоды для этого, и слишком известны. Не хватало

только в плен к немцам попасть.

- А я не попал бы, - сказал Лопатин.

- Многие другие тоже так считали. И тем не менее, при всей готовности пустить себе пулю в лоб, попадали. Примеров достаточно. А чтобы написать от вашего имени какое-нибудь обращение для соответствующей листовки, вы немцам живой необязательны. Хватило бы и удостоверения личности. Имеется и такого рода опыт. А кроме всего прочего, раз вы, прибыв во вверенную мне армию, по-старому знакомству явились ко мне за советом, как вам лучше действовать, а затем поступили вопреки, то разрешите ваше поведение считать непорядочным. Прислав мне с оказией вашу книгу о Сталинграде, сколько помню, написали на ней:

Ивану Петрову Ефимову - дружески, - не так ли? А после вашего нынешнего недружеского поступка имел порыв вернуть вам книгу обратно. Жаль, не случилась под рукой, - неделю назад вручил ее для самообразования одному из моих офицеров, считающему, что при образцовой выправке чтение книг излишне. Почему вы своим мальчишеством прибавили мне забот, которых и без вас достаточно? Изволите видеть, что он ушел в рейд, узнаю лишь задним числом, когда мне с прискорбием доносят, что его нет среди вышедших обратно! Хотя вы этого не заслуживаете, придется выдать вам завтра новое офицерское обмундирование. - Ефимов впервые за все время улыбнулся. - Куда же вы такой - в штаб фронта, а тем более - в Москву.

- Мое стирается.

- Черта лысого оно у вас отстирается после всего, о чем мне доложено, - сказал Ефимов. - Обстановку хотите посмотреть?

- Хочу.

- Зайдите ко мне за спину.

Лопатин зашел за спину Ефимова, и тот стал показывать по карте обстановку на участке его армии.

"Какое же это было число, когда я встретился с ним там, на Северном Кавказе, после Ташкента? - думал Лопатин, стоя позади нагнувшегося над картой Ефимова. - Девятого - нет, восьмого января, потому что девятого уже взяли эту Горькую балку, за которую шел тогда бой. А из Ташкента я уехал второго января днем. Второго января тысяча девятьсот сорок третьего года. И с тех пор не видел ее. Второго июля, на десятый день наступления, было ровно полтора года, как я не видел ее..."

- Вот они - действия вашего усиленного батальона за минувшие двое суток, - говорил Ефимов - Вот здесь и здесь вам предстояло выходить. Здесь вышли точно, а здесь промазали В результате - засада, мышеловка, смерть. Семи машин и двадцати

двух живых душ - как не бывало. Вот она, эта точка на карте, где и вы имели возможность отдать богу душу. Вот рубеж, который мы заняли за вечер и ночь. Утром, как видите, выскочили еще дальше, но с этих двух участков сегодня за ночь отведем войска - на километр-два - назад. Убедились, что немцы успели занять господствующие высоты, и нет смысла лежать у них под носом живыми мишенями. Сидел, перед тем как вы явились, с начальником штаба и в итоговом донесении, которое предстоит подписывать, формулировал пункт о частичном отходе на более выгодный для дальнейших действий рубеж. В былые времена такое решение вызвало бы наверху гром и молнию, но и сейчас, по старой памяти, похвал не жду. Способны усомниться и прислать проверяющего из числа офицеров Генштаба, на что не сетую при условии, что офицер дельный и правдивый. А что есть правдивость в таких случаях, знаете? Правдивость есть способность, приехав на место и увидев своими глазами другое, чем то, что ты слышал своими ушами, когда тебя сюда посылали, доложить то, что ты увидел и понял, а не то, чего от тебя ждут. Думаю, формулировка применимая и к вашему ремеслу. И раз вы теперь обретаетесь одной ногой у меня, а другой уже в Москве - и неизвестно, когда вновь увидимся - может статься, после войны, - хочу сказать вам то, что думаю о вашем брате писателе. Наблюдаю вас и ваших коллег давно, с Одессы, чаще всего люди вы неплохие; но прихожу к выводу; лучше бы вы пореже показывали нам свою храбрость, а вместо этого почаще думали над войной. Вот я вам сейчас доложил, что мы продвинулись чуть дальше разумного и за ночь по моему приказу отойдем, но не все этим будут довольны. Смотрел на вас и ждал: задумаетесь над этим или нет? Судя по вашему лицу, - нет. Ждал: вспомните ли наш предыдущий разговор на ту же тему? Не вспомнили.

- Вспомнил, Иван Петрович. Не только вспомнил, но и обругал себя последними словами.

- За что?

- За то, что до сих пор не записал его.

- Значит, все же не вылетело из головы? Спасибо.

- А у меня из головы, когда и рад бы, чтоб вылетело, не вылетает!

- Так и должно, - сказал Ефимов, - голова только у дураков проходной двор. А у тех, кто поумней, - тупик. Как ни странно, но так; если человек умный - голова у него как тупик - все, что вошло, - там. Поэтому и говорю вам, берегите голову. Она не обмундирование. Новой - и рад бы - не выдам. Вся надежда на вашу б. у.

Лопатин рассмеялся неожиданности этого сравнения головы

с предметами вещевого довольствия: б.у. - бывшая в употреблении голова!

- А вы не смейтесь, - без улыбки сказал Ефимов, - многих из вашего брата война уже списала с лица земли. В том числе на моих глазах. С тех, кого уже нет, - нет и спросу. А вам желательно остаться в живых и успеть подумать о войне не только за себя, но и за них. Поэтому и обругал вас за излишний риск. А случиться, конечно, может все, с любым из нас, в любое время. И случается. Наслышаны, как с месяц назад на соседнем фронте один из командармов погиб? Ехал из корпуса в корпус, шальной снаряд - и все. Водитель цел, адъютант цел, а его нет. А до этого империалистическую прошел, гражданскую, четыре года провел в местах не столь отдаленных, вернулся, этой войны три года отгрохал - и, пожалуйста, осколок с арбузное семечко из дальнобойного орудия за пятнадцать километров! Обмундирование получите утром. Остается пожелать вам доброго пути до самой Москвы.

Ефимов посмотрел на часы:

- Через пять минут буду занят другими делами. Завтра с утра тоже.

- Иван Петрович, на прощанье один вопрос. Как вы думаете, реальна в ближайшие дни Восточная Пруссия?

- Смотря о чем речь! Если о выходе к границе, он вполне реален, и даже - в ближайшие дни. Но скорей всего не у меня, а у соседа справа. Немецкий рубеж, который сейчас перед нами, полагаю, промежуточный. Основные, и не только нынешние, а и давние, рубежи - там, в Восточной Пруссии. И было бы странно, будь это иначе. Мы с вами, как уже взаимно выяснено, реалисты не только потому, что оба во время оно пребывали в реальных училищах, но и по взглядам на жизнь. Так вот, будьте реалистом, а не гимназистом и с Восточной Пруссией. Та пуля на излете, какой мы стали после полутора месяцев наступления, сегодня броню не пробьет, самое большее - сделает вмятину. А нам требуется - пробить! Навылет! Тут рукой подать и до Грюнвальда, и до Танненберга с его злосчастным Самсоновым, - тут не до шуток ни нам, ни немцам. У вас до сознания-то хоть дошло, где мы и кто мы сегодня? И что это означает для немцев - быв на Волге, быв на Эльбрусе, ныне, после трех лет войны, иметь нас на пороге Восточной Пруссии, где они некогда сами начали, сами избрали день, сами отсчитали срок шесть недель до Москвы? И не в министерстве пропаганды отсчитали, а в германском генеральном штабе. Вот что существенно! Вот о чем бы я написал на вашем месте, если б обладая временем и пером. Нынешний вызов в Москву соответствует вашим желаниям? - уже вставая,

спросил Ефимов.

- Да, - сказал Лопатин. - По личным причинам очень нужно пробыть в Москве хоть несколько дней. Но причин вызова не знаю, и что новый редактор - не радует.

- По случайности с вашим новым редактором некогда, в двадцатом году, командовал на польском фронте соседними эскадронами, и был он тогда пригож, смел и превосходный наездник. Впоследствии слышал о нем, что окончил с отличием академию, даже две.

- Иван Петрович, а зачем нам в редакторы кавалерист, хотя бы и дважды академик? Чем кончалось, когда бывшие редакторы пробовали фронтами командовать, - мы с вами оба по сорок второму, по Керчи, знаем. Думаете, наоборот - лучше?

- Сего не ведаю, как и многого другого. - Ефимов снял пенсне и, положив его на стол, обнял Лопатина-. - Будьте живы и здравы. Если найдет блажь и напишете письмо, буду рад.

И добавил на "ты":

- Уходи через ту дверь - представлять тебя одному, второму, третьему недосуг.

И хотя они были ровесники, по-стариковски подтолкнул Лопатина рукой в спину.

Уже выходя из комнаты через заднюю дверь, которой он сначала не заметил, Лопатин услышал голос Ефимова;

- Прошу прощения, товарищи офицеры, что заставил вас ждать.

17

Василий Иванович, ворча себе под нос, натягивал над "виллисом" тент.

- Чем недовольны, Василий Иванович? - спросил Лопатин.

- Всем довольный. Дождь будет, - отозвался Василий Иванович. - Далеко лир - спросил он, увидев, что Лопатин сел на переднее сиденье.

- Сначала до штаба фронта, - сказал Лопатин.

- А он там же?

- Нет, переместился. Но посоветовали ехать до прежнего места - там теперь штаб тыла, зайду сориентируюсь. Пока мы с вами к танкистам ездили, у нас редактор сменился.

- И кого теперь на его место? - равнодушно спросил Василий Иванович.

- Генерала Никольского.

Василий Иванович молчал, вспоминая известных ему генералов. Работал он в Наркомате обороны давно и знал многих. Объехав плохо затрамбованную на дороге воронку от бомбы, сказал:

- Не слыхал про такого. А нашего куда же?

- Думаю, на фронт.

- Скорей всего, - согласился Василий Иванович. - У него и при московской работе, как шило в заднице - только б куда поехать.

О начальстве он отзывался грубо, но судил по справедливости.

- Д меня в Москву вызывают.

- Пора, - сказал Василий Иванович. - Фотографы уже по два раза в Москву смотались, а мы все ездим. - Он недолюбливал фотокорреспондентов за то, что они, по его мнению, часто зазря останавливали машину, как будто им позарез надо, а потом снимков, из-за' которых останавливались, в газете как не бывало.

- Такое уж у них дело, - сказал Лопатин.

- У них одно дело - чего попало снять - и домой. Может, нам в штабе тыла заправиться и прямо в Москву?

- Нельзя. Мае в телеграмме приказано не .ехать, а лететь.

- А кокая вам нужда лететь? Если с рассвета выедем - за два дня в Москве будем.

- Я бы рад, - сказал Лопатин, - но в телеграмме приказано мне лететь, а вам с машиной - оставаться. Вместо меня Гурский прилетит, будете ездить с ним. Возможно, потом и я вернусь. Свезу от вас письмо в Москву и вам привезу, - сказал Лопатин, хорошо понимая, как испортил настроение Василию Ивановичу. У вето была там семья, всю войну не уезжавшая из Москвы: жена, вдовая дочь и двое внуков, и за последние две недели по его вопросам, вроде:

"Еще чего-нибудь написать хотите?" или: "Что, опять к этому же поехали, у которого уже были?" - Лопатин чувствовал, что Василий Иванович недоволен - поездка, на его взгляд, затягивалась.

- Что ж письма, - сказал Василий Иванович. - Другое дело, если б сам туда и обратно обернулся.

За его словами была привычка к тому, что расстояний не существует было бы горючее.

Сказав это, он замолчал и, застряв в возникшей из-за колонны грузовиков пробке, сидел, навалившись на руль, и думал. Про письма сказал сразу от расстройства, а теперь, подумавши, хотел возразить. Так показалось Лопатину, пока они стояли в пробке, и он ее ошибся.

- Вот вы говорите - вам лететь, - сказах Василий Иванович, когда они выбрались из пробки. - А мне с Гурским ездить. А генерал, когда вызывал меня к себе, чтоб с вами ехать, другое говорил.

- Что ж он вам говорил? - полюбопытствовал Лопатин,

впервые услышавший об этом.

- Приказал принять новую машину, чтоб с вами поехал и с вами вернулся. А теперь вопрос: зачем оставлять машину Гурскому? Что он себе тут "виллиса" не достанет? Гурский - он чего хочешь достанет. А я бы вас как привез, так и отвез. Побудете в Москве и опять со мной поедете. Тем более мы годки!

Василий Иванович притормозил и поехал медленней, словно молчаливо приглашая Лопатина, пока не поздно, передумать. Наверное, в нем говорило не одно только желание повидаться с семьей. Они и в самом деле были одного года рождения и за эту поездку проверили друг друга в разных обстоятельствах, чего может а чего не может ждать каждый от другого.

- А когда Гурский прилетит - не написано? - спросил он, поняв по молчанию Лопатина, что отмены сказанному не будет.

- Не написано. Возможно, я прилечу, а он вылетит. А вы пока тут немного отдохнете.

- Тут отдохнешь! С машиной делов хватит через голову.

Василий Иванович был сердит, а в таких случаях делов с машиной у него всегда было через голову, хотя на поверку она в любой момент оказывалась на ходу.

Лопатин вспомнил, как редактор в ответ на просьбу о вызове Ники сказал: "Думаю, что еще успею помочь тебе". Тогда эта фраза прошла мимо ушей, а сейчас вспомнилась в ее настоящем значении. Он подумал о своих тетрадях, лежавших в сейфе редактора. Где они теперь? В них не было ничего или почти ничего такого, о чем в минуты откровенности не говорили бы между собой корреспонденты. Но чтобы эти тетрадки валялись без призора и попали на глаза кому-то чужому, не хотелось. Редактор только однажды после поездки на Курскую дугу, где они целую неделю были рядом, поинтересовался тем, что записывает Лопатин в своих тетрадях. Дело было под утро, газета прочитана от доски до доски и уже печаталась, но ложиться спать, пока не вышел номер, не было в заводе, и Лопатин прочел редактору вслух два десятка страниц.

- Только и всего? - спросил редактор, когда Лопатин дочитал все, во что уместилась их общая неделя на фронте. - Не все, конечно, пишешь. Но то, что пишешь, - точно. Могу подтвердить.

- Кончится война, подтвердишь, - полушутя-полусерьезно сказал Лопатин. Так где же все-таки теперь эти тетрадки?

В штабе тыла, куда приехали к середине дня, Лопатину дали новый адрес штаба фронта и сказали, что завтра в Москву пойдет "дуглас" командующего воздушное армией. Но чтобы Лопатина посадили на самолет командующего, требуется личное разрешение, а командующий - в штабе фронта.

В штаб фронта из-за пробок и объездов добрались под вечер.

Узнав у коменданта, где стоят- корреспонденты, Лопатин разыскал их дом, но на месте никого не было. Только во дворе копался в неисправном "виллисе" водитель корреспондента Информбюро, сказавший, что тот ушел, но вот-вот будет. Настроившись переночевать здесь. Лопатив попросил водителя передать, что съездит на узел связи и вернется.

Чем черт не шутит, там, на узле, могла быть и еще какая-нибудь телеграмма, да и подлинник той, где вызов в Москву, надежней иметь на руках, прося место на самолет. Все это был уже хорошо знакомый за войну корреспондентский быт. На отношение к себе жаловаться не приходилось, но и о формальностях забывать не следовало - себе дороже.

- Мы уже думали, где вы, как бы вас где-нибудь не подстрелили, сказал знакомый Лопатину дежурный, пододвигая к нему журнал - расписаться в получении телеграммы. - У нас у самих не слава богу.

- Что у вас не слава богу? - спросил Лопатин, засовывая в карман гимнастерки уже читанную им телеграмму, - никаких других не было.

Оказалось, при передислокации, когда спешили сюда, чтобы развернуть узел связи заранее, до передачи первых утренних донесений, колонну машин полка связи обстреляли из лесу продолжавшие блуждать кругом немцы. Очередью прошили накрытую тентом машину, в которой, привалясь друг к другу, ехали и спали усталые бодистки. Четырех ранило, а одну убило.

- Так во сне и убило, - сказал дежурный, - так и не проснулась, уже была убитая. Маруся. Вы ее знаете, такая полная, курносенькая. Она еще, помните, срочно после Минска, когда его взяли, вашу корреспонденцию передавала. Все переспрашивала вас. Говорила, вы сердились на нее, что не могла ваш почерк разобрать. Вот ее и убило.

"Ничего я не сердился на нее, - подумал Лопатин, - просто раздельно, буква за буквой, повторял то, что не могла разобрать. А не могла разобрать, потому что устал как собака и к концу писанины рука не слушалась, выводила черт-те чего. Вот ее, значит, и убило - эту курносенькую Марусю. А переспрашивала она тогда как раз очень деликатно, робея, может, потому, что кончила библиотечный техникум и читала две моих, вышедших еще до войны, книжки",

- Где же вы ее похоронили?

- Еще не похоронили. Сюда привезли. Завтра будем хоронить. Еще одна девушка - тоже плохая. Звонили врачам - не обещают. Боюсь, обеих похороним.

В том, как дежурный рассказывал о случившемся, было и это лето, и это наступление, оставившее позади себя почти полтысячи километров освобожденной земли. Война шла, и где только в это лето не рыли могилы. И все госпитали по-прежнему были забиты ранеными, а все-таки что-то уже настолько переменилось на войне, что несчастье с девушками из Полка связи, обыденное где-нибудь в сорок первом или в сорок втором, теперь казалось чрезвычайным и не сразу забудется.

Прямо с узла связи Лопатин поехал искать командующего воздушной армией. Тот был занят, но Лопатин уговорил адъютанта, и он, сходив к командующему, вынес телеграмму, на которой вкось было написано, чтоб корреспондента "Красной звезды" взяли завтра, 17.8.44, на самолет в Москву.

Когда вновь, уже в темноте, добрались до дома, где жили корреспонденты, Василий Иванович во двор заезжать не стал, остановился у калитки, едва Лопатин сошел, буркнул:

- Поеду заправляться. - И был таков. На лавке возле дома кто-то сидел и курил.

- Кто прибыл? Уж не товарищ ли Лоп-патин, часом? - раздался с лавки знакомый голос Гурского. Красная точка папиросы метнулась вверх, Гурский поднялся, и они привычно тиснули друг другу руки.

Обниматься, как бы долго ни виделись, Гурский не любил. Еще в первый год войны, вырываясь из объятий подвыпившего сослуживца, подвел под это теоретическую базу.

- Д-дружок, не люблю мужских лоб-бзаний, тем более в ходе войны. Я суеверен, и всякий раз, когда мужские губы касаются моих неб-бритых щек, мне кажется, что я уже успел отдать свою жизнь за родину и лежу в гробу. Так что давай отложим этот христианский обряд на б-будущее.

- Когда ты здесь появился? - спросил Лопатин.

- Полтора часа назад, через пять минут после твоего уб-бытия на узел связи. Провел тут небольшую пресс-конференцию с п-парнишкой из Информбюро, выпил его водку, скормил ему четыре кот-тлетки, врученные мне на дорогу мамой, в отпустил его к какой-то д-девочке, которую он себе успел тут завести.

- Что случилось с Матвеем?

- Если вк-кратце, он не доп-понял, для чего у него поставлена верт-тушка. Думал, она поставлена, чтобы он звонил. А она была п-поставлена, чтобы ему звонили. Шутка жест-токая и не моя, но в ней - доля истины.

- А если не вкратце? - Если не вк-кратце, то как будем дальше - стоя или присядем? Или пойдем в дом, если ты голодный? У меня есть еще три кот-тлетки.

- У меня тоже кое-что есть, но это потом, успеется.

- А водки у тебя нет?

- В машине. Вернется из автороты - будет. . - Тогда действительно усп-пеется. Сядем здесь. С чего начнем?

- С главного. Что произошло с Матвеем?

- С главного? Ладно, так и быть, начнем с нашего редактора, раз это для тебя главное, - сказал Гурский. - Только потом не уп-прекай меня, что я не с того начал. Вп-прочем, раз у тебя будет водка, о том, с чего я соб-бирался начать, даже грех говорить всухую. Подождем, пока она п-появится. Итак, в один, далеко не п-прекрасный для него день наш редактор поехал к тому, к кому он, как тебе известно, не очень любит ездить, и вернулся от него п-просто генерал-майором, ждущим нового назначения. Надо отдать ему должное, он целых два года ст-тарательно сам рыл себе эту яму, начиная с той - ты п-помнишь ее - поездки на фронт к своему т-только что снятому начальству в пику только что назначенному.

- Помню, - сказал Лопатин, - и уважаю его за это.

- Не сп-порю. Но когда два года сам делаешь все, чтобы тебя сняли, не надо удивляться, когда это происходит.

- А Матвей удивился?

- В п-первый момент - очень. Наверное, как ни ст-транно, в глубине души сам считал себя незаменимым. А умный человек должен только внушать это заб-блуждение другим. Он был очень уд-дивлен, но надо отдать ему должное, быстро оп-правился, - он вообще все делает быстро, - и когда через час позвал меня, его кабинет был уже под м-метелку, а рабочая куртка висела на гвозде, рядом с к-конторкой.

При словах о куртке и конторке в голосе Гурского послышалась нота сочувствия.

"Бедный Матвей, - подумал Лопатин. - Заменимый или незаменимый, все это в конце-то концов игра в слова. Но человек любил свое дело и делал его хорошо. И если по своей дерзости был для кого-то трудно переносим, то ведь это все-таки вторичное, а не главное. А главное в том, что он хорошо делал свое дело. И еще вопрос, достаточно ли хорошо делает свое дело тот, кому не хватило справедливости смириться с вторичным ради главного. Сколько людей на фронте можно было бы поснимать по принципу вторичных недостатков! Сколько их - и неуживчивых, и занозистых, и с разными закавыками, - а вот не снимают, дают же воевать дальше!"

- Расстроил ты меня своим рассказом, - сказал он вслух.

- А ты зак-куривай. Это помогает в минуты бесп-правия. Имею в виду, что посетившее тебя сейчас ощущение своего бессилия

исправить не-сп-праведливость и есть наиболее острая форма бесп-правия. Хотя заметим в скобках - не заблуждайся, отнюдь не все в ред-дакции сокрушаются об его уходе. Д-догадываются, что без него им будет легче, а оп-пределенный процент людей при всех обстоятельствах предпочитает, чтоб им было п-полегче.

- Это не меняет сути дела, - сказал Лопатин.

- По-твоему, я недостаточно ск-корблю? Не так ли? Ничего не поделаешь, д-дружок. Ирония и ск-корбь во мне неразлучны. И тебе за годы нашей д-д... смею сказать, дружбы пора к этому п-привыкнуть. Когда речь идет о нашем бывшем ред-дакторе - не суди по себе. Ты был его люб-бимчиком. Он полюбил тебя, как часть собственной б-биографии. Полюбил, потому что лично п-придумал забрать тебя ид штатской п-печати в военную. Полюбил, потому что ты не раз бывал свидетелем его личной храб-рости, а мы все очень любим иметь таких свид-детелей. Кроме того, ты в своем уже нем-молодом возрасте с самого начала войны начал мотаться по всем фронтам так, словно тебе п-попала вожжа под хвост, или, говоря интеллигентней, овладела ут-топическая надежда - самому понять все п-про-исходящее. А ему только подавай таких - которым вожжа п-под хвост! Тем паче, что он мог тыкать тобой в глаза всем более молодым и менее п-подвижным. И если тебя, несмот-тря на все это, не возненавидели в ред-дакции, то лишь благодаря твоему собственному отрицательному об-баянию.

- Предыдущее понял. Последнюю формулировку уточни.

- Ут-точняю: отрицательное об-баяние - это когда человек отрицает то п-положительное, что ему п-приписывают. Хотя бы п-половину. То есть, когда он неп-подкупен по отношению к самому себе. Лично я п-просто-напросто люблю тебя за это, а нек-которые другие, по- крайней мере, не ненавидят, хотя наш бывший редактор от изб-быт-ка любви к тебе почву для такой ненависти п-под-готовил, дай ему бог здоровья! "Г-гурский, - сказал он, когда я вошел по его вызову в его кабинет. - Г-гурский, - сказал он, - я ухожу". Это я уже, п-положим, знал. "А вы остаетесь заведовать своим отделом". Об этом я тоже, п-положим, догадывался. "Сделайте без меня так, чтобы Лопа-тину не. стало трудней раб-ботать". - "Есть!" - сказал я. Ты знаешь, я люблю это неп-претендующее на эмоции слово, н подумал, что про меня ему даже не пришло в голову, как мне будет без него - т-трудней или легче? Потом он показал лежавшую на абсолютно пустом столе пачку твоих черных к-клеенчатых тетрадей и, не надеясь на мою догадливость, объяснил мне, что они т-твои, лежали у него, а теперь я должен взять их к себе.

- Я как раз о них думал, - сказал Лопатин. - Это хорошо, что

они у тебя.

Ему стало тяжело от мысли о раздражении, которое могло возбуждать там, в редакции, то, как относился к нему Матвей. Конечно, он не впервые об этом думал и даже учитывал в своем поведении, но так явно и оголенно ощутил это лишь сейчас.

- Не п-переживай свое прошлое, д-дружок, - сказал Гурский - с той звериной чуткостью, которая его отличала, услышав происходившее в душе, Лопатина. - П-переполовинь все, мною сказанное, хотя бы потому, что мне не чужд порок зависти. Работая под его руководством, я никак не мог избавиться от чувства, что я не глупей его, об-бразованней и, если говорить о сп-пособности водить п-перышком по бумаге, талантливей. И при других обстоятельствах я бы вп-полне мог быть им, а он Г-гурским. Причем в роли Г-гурского он был бы хуже меня, это я точно знаю. И, однако, на п-практике не я нашел его, а он меня. И не я стал редактором, а он Г-гурским, а наоб-борот. Сп-прашивается: почему? То, что ему многого недостает по сравнению со мной, мне вп-полне очевидно. А вот чего мне недостает по сравнению с ним - я себе так и не ответил и пришел к п-пе-чальному для себя выводу, что, видимо, все же недостает чего-то такого, что я, при всей гибкости своего ума, не в состоянии сф-формулировать. Но в день его ухода, освоб-бодившись от уже бессмысленных попыток сравнительного анализа наших достоинств,, я п-позавидовал тому, с каким великолепным отсутствием ск-корби в глазах он покидал ред-дакцию. И это была уже зависть б-благородная, в противоположность прежней, неб-благородной.

- У нового редактора был?

- Был.

- Какое впечатление?

- Как тебе известно, я нахожусь на службе не у редакт-торов, а у от-течества. Жизнь мне не д-дорога, жила бы г-газета. По первому вп-печат-лению думаю, что он ее в гроб не загонит. Для начала дал ему понять, что об-богащать его своими отрицательными впечатлениями от прежнего начальства не намерен. Не знаю, кто ему п-посо-ветовал сразу же поговорить со мной, но кто-то п-посоветовал. То, что я не ругал ему ст-тарого редактора, а наоборот, желая под-дразнить, хвалил, не помешало ему выслушать меня со вниманием, что я и занес в его кондуит как первую "п-пятерку".

- Почему он вызывает меня? - спросил Лопатин.

- А вот и т-твой, а теперь, к его неудовольствию, мой Василий Иванович, - вместо ответа сказал Гурский, увидев въезжавший во двор "виллис". - Самое время для неожиданного п-поворота

сюжета нашего разговора в духе О`Генри. Позд-дороваемся и пойдем в дом. Только не забудь взять у него водку, потому что мне, как я подозреваю, он ее не д-даст.

Василий Иванович слез с "виллиса" и сразу же обратился к Лопатину, подчеркивая, что покуда его начальство еще Лопатин, а не Гурский:

- Когда поедем на аэродром? В пять, без перемены, как вы сказали?

- Без перемены, - подтвердил Лопатин.

- Я тебя провожу, уд-достоверюсь, что ты действительно улетел, сказал Гурский.

Василий Иванович недовольно крякнул в темноте, - наверное, предпочитал поступить под команду Гурского на несколько часов попозже.

- А вы ужинали? - спросил Лопатин.

- Ужинал в автороте.

- Где спать будете?

- На дворе, у машины. Погода хорошая. Гурский подтолкнул в бок Лопатина, напоминая про водку.

- Василий Иванович, у вас где-то в машине моя фляжка, - сказал Лопатин. ,

Василий Иванович молча пошел к "виллису" и принес флягу.

- Будить вас?

- Думаю, сам проснусь, но на всякий случай - в полпятого.

Василий Иванович вернулся к "виллису", а Лопатин вслед за Гурским зашел в дом. Оказывается, там внутри, за завешенными окнами, горела керосиновая лампочка с прикрученным фитилем. Гурский сел за стол и прибавил свету. Теперь, при свете, стали видны пожитки корреспондентов, засунутые под хозяйскую двуспальную кровать, под лавку и раскладную парусиновую койку. На столе лежала начатая буханка хлеба, стояла тарелка с тремя котлетами и стаканы.

- Хозяев нет, а наших гавриков, по моим сведениям, стоит здесь п-пятеро, - сказал Гурский, - но четверо в отъезде, а п-пятый, как я тебе уже сказал, отбыл по личным делам, так что никто нам не помешает развить об-бещанный сюжет.

Взболтнув во фляге водку, он налил себе в один из стоявших на столе стаканов и, кивнув на другой, вопросительно посмотрел на Лопатина. - Не б-брезгуешь, что уже пили из него до тебя?

- Наливай, - сказал Лопатин.

- П-поставь, - остановил его Гурский, когда он поднял стакан с налитой в него водкой. - Если помнишь, когда-то, п-прибыв тебе на смену под Калугу, я сообщил тебе, что у тебя в семье - дело д-дрянь. На этот раз наоб-борот, я п-прибыл как добрый вестник. Ты

сп-просил, почему тебя вызвал наш новый ред-дактор. Главным образом потому, что в Москву п-приехала из Т-ташкента твоя Нина Ник-колаевна, и я ему объяснил про нее - что она твоя невеста, что она п-приехала всего на две недели и ты должен успеть ее п-повидать.

- Ты что, серьезно? - спросил Лопатин, опешивший и от самого известия, и от показавшегося нелепым слова "невеста".

- Как нельзя б-более. Она приехала, пришла прямо с п-поезда в редакцию и спросила, где ты и когда будешь в Москве. И хорошо тебе известный Лева Ст-тепанов сделал ед-динственно разумное, немедленно послав ее ко мнеПогоди, я д-до-говорю. Мне очень понравилась эта твоя женщина, которая назвала себя Ниной Ник-колаевной. Если бы ее вст-третил в Ташкенте не ты, а я - я бы на ней женился.

Он сказал это непохоже на себя, без иронии, даже грустно и, словно спохватившись, добавил уже обычно по-гаерски:

- Немедля и без рассуждений. - Добавил и снова стал серьезным. - За это, за твою т-так называемую личную жизнь, и выпьем. Все остальные п-подробности - потом.

- Как мамины кот-тлетки? - спросил он после того, как они выпили и закусили.

- Как всегда, на должной высоте.

- Мама очень просила меня не есть их неп-подогретыми, но боюсь, что нагревать их по одной над этим ламп-повым стеклом было бы слишком долго. А теперь - п-подробности: твоя Нина Ник-колаевна сказала мне, что будет жить эти две недели на Квартире у какой-то артистки, у которой ты бывал и знаешь ее, а потом поедет обратно в Т-ташкент, и когда я ее сп-просил - а что д-далыие? - то из ее неоп-пределенного ответа понял, что, кажется, это зависит от т-тебя. С чем тебя и я поздравляю.

- Как она выглядит?

- Я уже сказал тебе, что женился бы на ней без п-промедлений. Что тебя бесп-покоит? - спросил Гурский, глядя на Лопатина, начавшего считать про себя: когда же приехала в Москву Ника? По словам Ефимова, телеграмма целую неделю лежала в штабе фронта, потом пошла в армию, потом его искал Ефимов, потом он ехал сюда. Выходило, что Нике оставалось жить в Москве всего два дня.

- Считаю - застану ли?

- Чего не знаю, того не знаю, - сказал Гурский. - Когда я предстал пред ясные очи нового ред-дактора и попросил вызвать тебя, слово "невеста" произвело на него, как на человека ст-тарого закала, такое неизгладимое вп-печатление, что телеграмма с вызовом пошла в тот же вечер. А я, п-попросившись сюда тебе на

смену, как только ты явишься, как д-дурак ждал тебя в Москве. Куда ты, к черту, зап-пропастился? Я уже ст-тал тревожиться и вылетел, не д-дождавшись. На тебе, по-моему, новенькая гимнастерка, и притом габ-бардиновая, - сказал Гурский, - но выглядишь ты п-паршиво. Чем дольше на тебя смотрю, тем ты меньше мне нравишься. Где ты был? И главное, чаю с тобой было? И прибереги для других свое, популярное в кругах корреспондентов, немногословие. П-поп-прошу поподробней!

Если бы разговор этот, которого все равно было не миновать, отложился до завтра, наверное, все вышло бы намного короче, а так просидели за столом далеко за полночь. Гурский несколько раз перебивал, допытываясь, неужели у Лопатина так ничего и нигде сейчас не болит, и прекратил свои расспросы, только когда Лопатин начал злиться.

- Прости, пожалуйста, по молодости лет все забываю, что тебе уже п-пятый десяток, а люди в этом возрасте склонны подчеркивать несок-кру-шимость своего зд-доровья. Не болит так не болит. Тем лучше! Ты действительно в сорочке родился! И после всего этого можешь сп-покойно лететь в Москву и жениться. Хотя для порядка все же п-постучу по дереву, чтобы не сглазить.

- Постучать по дереву можно, - сказал Лопатин. - А жениться... Я как раз наоборот, пока рассказывал тебе все это, подумал, что...

- Что при твоей профессии до конца войны сохраняется оп-пасность оставить одной вд-довой больше? - - перебил Гурский. - Д-допустим. Не хотел бы допускать, но д-допустим. А чем ей будет хуже от того, что она п-получит свою законную пенсию за погибшего мужа? И чем ей будет лучше, если ты ей скажешь, что п-подождешь на ней жениться, п-потому что не можешь ей обещать, что тебя не уб-бьют? А кто и кому может сейчас это об-бещать? И какая женщина сейчас об этом не д-думает? Да если она тебя действительно любит, она с самого начала только об этом и д-думает. Ст-тарается выбросить из головы и не может!

- Наверно, ты прав, - сказал Лопатин, - но не будем больше на эту тему.

- Не б-будем так не б-будем! Но п-попомни мое предчувствие, что у тебя в этом воп-просе все должно быть хорошо. И не только должно, а д-даже обязано! Вот за это и выпьем то, что осталось. Если осталось. - Гурский встряхнул фляжку и разлил остаток по стаканам. - И п-пожалуй-ста, съешь сам эту, третью кот-тлетку. Мама не любит, когда их ломают п-пополам руками, а ни ножа, ни вилки в этом доме я не обнаружил, видимо, братья корреспонденты таскают их за голенищами. Питайся. Пригодится там в Москве. Повторяю - твой вид оставляет желать лучшего,

несмотря на новенькое об-бмундирование. Кст-та-ти, где ты его добыл?

- По старому знакомству получил у Ефимова.

- Ты подал мне неп-плохую идею, - сказал Гурский. - Попробую последовать твоему п-примеру. На закуску имею сообщить тебе самую п-по-следнюю новость! Я только сегодня от этого п-пар-нишки из Информбюро узнал, что наш б-бывший редактор два дня как принял на вашем же фронте п-политотдел армии, - Гурский назвал номер. - Бывал в ней?

- В сорок первом, в Крыму, когда она там по-другому называлась, бывал. А здесь - собирался, но еще не был.

- Тем более законная причина поехать туда. Провожу тебя на самолет и прямым ходом п-по-еду к нему за новым обмундированием, а заодно посмотрю, как он сам выглядит на новом месте. Кстати, говорят, их армия, вполне вероятно, одной из п-первых выйдет на границу Вост-точной Пруссии.

- Рад за него. Наверное, это лучшее из всех назначений, на которые он мог рассчитывать, - сказал Лопатин и добавил, что если действительно армия, в которую попал их бывший редактор, первой окажется на границе Восточной Пруссии, то он сам, чего доброго, приедет к ним туда третьим лишним.

- Вот именно, лишним! - сказал Гурский. - Не жадничай! Посиди в Москве и оставь на мою жалкую долю выход наших п-подразделений на берега речки, название которой я только вчера смотрел в энциклоп-педии и оп-пять забыл. П-пусть эта маленькая газетная сенсация будет лично моей. Доедай кот-тлетку, а я п-полягу костьми. По правде ск-казать, я, как всегда после самолета, зверски хочу сп-пать, а ты, судя по твоему виду, еще ни в одном глазу и вполне способен подумать о своем ближайшем будущем, не прибегая к моей помощи как соб-беседника. Как ты знаешь, однажды решившись на это, я засыпаю без размышлений. Если буду слишком сильно храп-петь, нарушая ход твоих мыслей, можешь выйти и п-подумать на воздухе.

Оглядев комнату и секунду поколебавшись, Гурский лег на ничем не застеленную парусиновую раскладушку, положив под голову полевую сумку, накрытую вынутым из кармана носовым платком. Поерзав щекой и полусонно пробормотав "жест-тковато!", он и в самом деле через минуту уже спал, прерывисто похрапывая.

"Еще сегодня утром был в Москве", - подумал о нем Лопатин и, мысленно обругав себя за то, что не решился спросить, видел ли Гурский еще раз за эти дни там, в Москве, Нику, вышел на двор.

Небо было чистое, в звездах.

"Если не сядем и не заночуем где-нибудь по дороге из-за испортившейся погоды, завтра же буду в Москве и увижу ее", - подумал Лопатин, удивляясь неправдоподобию того, что он еще вчера утром вместе с Чижовым стоял там на дороге, у сгоревших танков, около стонавшего, не приходя в сознание, танкиста с оторванной ступней, а завтра днем может оказаться в Москве...

18

Когда "дуглас" поднялся в воздух, Лопатин еще с минуту видел стоявший внизу "виллис". Василий Иванович сидел за рулем, а Гурский, стоя в "виллисе", прощально махал над головой пилоткой. По дороге на аэродром он сказал Лопатину, что когда приедет к их бывшему редактору, то, кроме обмундирования, выклянчит какую-нибудь фуражечку пощеголеватей, а то при своей рыжей шевелюре, очках, да еще в этой пилотке, сам себе напоминает пленного фрица.

- Черта с два ты у него что-нибудь выклянчишь сверх положенного по закону. Разве что отдаст собственное запасное обмундирование. Если оно у него есть.

- Вот и п-прекрасно. А заодно пусть п-произ-ведет меня в генерал-майоры. П-представь себе, как я буду хорош в ламп-пасах!

Отвернувшись от иллюминатора, в который уже ничего не было видно, Лопатин улыбнулся своему воспоминанию о Гурском. Странно, когда вот так, на пятом десятке, привязываешься к человеку и совсем другого образа жизни, чем твой, и совсем другого поколения. Хотя война, как я всюду, так перепутала в их редакции поколения и так свела всех на "ты", что и сам не поймешь, к какому поколению принадлежишь...

Как только легли на курс, из кабины летчиков вышел стрелок-радист и, поднявшись по лесенке, сел на свой насест; как и во многих других "дугласах", в этом посредине фюзеляжа наверху был вставлен плексигласовый колпак с пулеметной турелью для наблюдения за воздухом и самозащиты. Колпаки эти, придумали в первые годы войны, когда в воздухе господствовали немцы, но многие. летчики их не любили - не только теперь, когда все изменилось, но и раньше считали, что овчинка не стоит выделки: торчавший над самолетом колпак срезал скорость, и это иногда обходилось себе дороже.

Прикинув в уме, сколько ж они с этим колпаком пролетят до Москвы, Лопатин подошел к стрелку-радисту проверить.

- Не знаю, - сказал стрелок-радист, - мы еще в Минске присядем.

"Значит, не прямо", - с досадой подумал Лопатин, уже прикинувший, что они пролетят без посадки самое большее часа

четыре с половиной, будут в Москве рано и если он сразу застанет Нику у Зинаиды Антоновны, то увидит ее еще до обеда, для которого заботами Василия Ивановича у него было кое-что припасено и в чемодане, и в вещевом мешке. "Наверно, будем брать еще пассажиров", - подумал он.

Брать их было куда. На тянувшихся вдоль фюзеляжа с обеих сторон узких железных скамейках сидело всего девять человек.

"Сколько же простоим в Минске и когда полетим в Москву? И сразу ли застану ее у Зинаиды Антоновны? - снова подумал Лопатин о Нике. - И сколько она пробудет еще там, в Москве, если сказала Гурскому, что у нее всего две недели? Выходит, только два дня. А вдруг у нее что-то изменилось и она уехала, не дождавшись? Гурский сегодня утром рассказал, что она каждый день звонила ему в редакцию и он объяснял ей, что вызов - вызовом, а корреспондента на фронте даже и по такой телеграмме иногда с собаками не разыщешь. Но это объяснял Гурский, а ей самой вполне могло прийти в голову гораздо худшее".

Он вспомнил позапрошлую ночь. Его так перетряхнуло, что неизвестно, как там в будущем, а сейчас хотелось побыть подальше от войны. И подальше, и подольше.

Бывает же так: весной, когда ранили, не испугался, не успел. А сейчас, когда остался цел, задним числом страшно. И непонятно - что писать об этом рейде.

"Вот когда она уедет обратно в Ташкент, - тогда и напишу. А может, не уедет? Но как она может не уехать, если там мальчик? Не могла же она сразу приехать с ним, значит, на кого-то оставила. Не хочу думать об этом. уедет - не уедет, мальчик... Когда увидимся с ней, тогда и будем думать, а сейчас - бессмысленно, потому что все равно ничего не способен без нее решить", с ожесточением подумал Он и, прислонившись к переборке - не спиной, которая все-таки болела, я левым плечом - так было удобней, - вытащил из полевой сумки тетрадь и карандаш.

Чем гадать, как все будет, лучше сейчас пересилить себя, чтобы на те дни и часы, которые она еще проживет в Москве, отрубить себя от войны, не быть в долгу. Может, этим уменьем пересиливать себя и объяснялась его так называемая работоспособность, про которую привыкли говорить в редакции. Никакая это не работоспособность, а просто нелюбовь быть в долгу!

Он раскрыл и перегнул тетрадь и, привычно подложив под нее на колено полевую сумку, заставил себя писать. Долг был важный, потому что тот разговор с Ефимовым, который он так до

сих пор и не записал, был необычным. Ефимов и в былые времена разговаривал с ним откровенно, но на сей раз откровенность была из ряда вон выходящая, и разговор сидел в голове - весь, от начала до конца.

Было все это в первую их встречу, здесь, в Белоруссии, после того как не виделись с весны сорок третьего, с Северного Кавказа. Ефимов обрадовался, даже обнял, но разговаривать не стал - куда-то уезжал; сказал, что поговорят ночью, за ужином, когда дела - с плеч долой.

Наступление армии за три дня до этого приостановилось, принимали пополнение "и ждали подхода танков и артиллерии из резерва главного командования.

Ужинали вдвоем, с коньяком, и Ефимов, обычно пивший одну рюмку, на этот раз выпил пять или шесть. Сначала расспрашивал Лопатина, где был и что делал; две из запомнившихся за это время корреспонденции в "Красной звезде" похвалил, а одну обругал сказал, что война в ней выглядит проще, чем есть. Потом сказал, что артиллерия снова, как и в начале наступления, подкидывают много, сколько на Северном Кавказе и не снилось, и снарядов будет предостаточно. Такая мощи, что, имея ее, постыдно не сделать всего, что предстоит. И, выпив еще рюмку, вдруг помрачнел:

- Вот только воевать кем? Раньше, бывало, кем воевать - есть, а чем воевать - нет- А сейчас иногда выходит - чем воевать есть, а кем... Ездил сегодня из дивизии в дивизию, лично знакомился, какое получили пополнение. Оставляет желать лучшего. - Ефимов дернул контуженой головой. - Много стариков, в том смысле, что нашего с вами возраста. Много юнцов - с двадцать седьмого года. Есть, конечно, в пополнении и наш золотой фонд бывалые, из госпиталей, во при всей их готовности воевать и дальше глядишь и думаешь: "Есть ли на тебе крест - радоваться, что они раненые-перераненые - опять к тебе, слава богу, явились!" - Он вздохнул и снова дернул головой. - А приходится радоваться, ничего не поделаешь! И нет такого права даже после трех ранений сказать ему: "Отдохни, ты свое на передовой сделал! Теперь другие доделают, а ты побудь где полегче, хотя бы в полковых тылах".

Он замолчал и долго смотрел на Лопатина, словно еще раз примеряясь, говорить или не говорить до конца все, что хотелось.

И, примерявшись, все-таки сказал то, что Лопатин теперь, хотя и сокращая, но так, чтобы потом все самому было понятно, записывал в дневник.

- Конечно, за все, что раньше - тут или там - не так делалось, не вы, а мы - генералы - первые ответчики, кому ж еще! Но все же и вы, корреспонденты, писатели, особенно те, кто с первых дней и

давно уже не только штатские, а и военные люди, - тоже не без греха. Вспоминаю по газетам, что вы - не лично вы, а вообще, да и вы тоже, - бывало, писали про наши дела и в весну сорок второго, и осенью, да и в сорок третьей тоже, особенно про те фронты, где подолгу в обороне стояли или на месте топтались, то и дело писали про нас, как мы геройски наступали в разных частных операциях, как из болота на гору лезли или с открытого поля опушку леса брали. А задумывались ли над тем, почему так часто наступали с невыгодных исходных позиций? Войну вы видели, но недостаточно над ней думали. Так задумайтесь хоть теперь; кого ни спросишь о тех временах - из солдат или младших офицеров, - и странное дело! - в памяти у солдата чаще всего, что он лежит в низине, а немец на высотке; он перед деревней, а немец в деревне, он под горкой, а немец на горке; он в болоте, а немец на опушке. Почему? География, что ли, такая необратимая?

Фронт-то длинный, почему - не так на так. В одном месте - мы на горке, а они в болоте, а в другом - наоборот. В чем тут дело? Не задумывались? А надо бы! А немцы - сами, наверное, помните, - если столкнули их с горки, выгнали из деревни, в низине не встанут, в болоте не зароются. Отступят еще на километр-два, до господствующей высоты или населенного пункта А мы - раз они отступают - вперед! По самое никуды! Вот так и получалось. Они в деревне, мы - перед ней; они на высоте - мы в болоте. А зачем он нам был этот километр болота? Что он нам давал для будущего выступления? Бывало, что и ничего. Да мы сейчас, в это наступление от Могилева и Витебска, уже где на четыреста, а где и на пятьсот километров шарахнули! В Польшу ворвались, к Восточной Пруссия подходим. И какая, спрашивается, разница - с чего мы все это начали, на километр западней стояли или на километр восточней? Бывает, конечно, обстановка: плацдарм на том берегу, когда умри, а стой, потому что до зарезу надо для будущего. Думаете, я кому-нибудь позволю поставить под сомнение святость слов "ни шагу назад"? Я их с Одессы и с Севастополя знаю. Но эти слова бесповоротные! Эти слова не для того, чтобы швыряться ими по поводу каждого болота, хаты или отдельного дерева, от которого - ни шагу назад! Знакомился сегодня с пополнением, а в душе ярость: не на кого-нибудь - на самих себя! Чем дальше идем вперед, тем горше за прошлое, за то, что мы "ни шагу назад" слишком часто говорили не по делу. Принимал исполнение, а это - как гвоздь! Разные, конечно, есть среди нас, начальников - и больших, и малых, - одни раньше за ум взялись, другие позже. Одни способны были доложить наверх и доказать или претерпеть за это другие - не умели или страшились. Но ведь были и такие, что не желали.

Лежит у него солдат в болоте - и лежит, и сам он к этому солдату ходит, и сам вместе с ним в болоте гниет, и со своей жизнью так же не считается, как с солдатской. А что тут хорошего? Какая доблесть? Думаете, не помню, как панику пресекал, бегущих останавливал? Как ни горько, а было, что вот этой рукой на месте клал. Но когда мог солдата хоть немного от смерти оберечь, дать время поглубже закопаться, ход сообщения к нему подвести, - мог, а не сделал, - не прощаю этого ни другим, ни себе, потому что и сам бывал повинен. И тем более не терплю, когда сейчас, на четвертом году войны, какой-нибудь хлюст, имея право, а то в мое прямое разрешение отойти на удобную, грамотную позицию, - кобенится, что удержится и там, куда по собственной дурости залез! Может быть, и удержится на солдатских костях, а то и на своих, но все равно хочется сказать ему: сукин ты сын!

Так говорил в ту ночь Ефимов и напомнил об этом Лопатину позавчера, когда прощались.

Наверное, не раз за войну выкладывал по частям это, накопившееся, с кем-то спорил, кого-то ругал, на кого-то досадовал. И Лопатин не раз за войну слышал, как касались этой темы и другие люди: одни - пооткровенней, другие - поаккуратней. Но такую безоглядную генеральскую исповедь, такой сгусток выстраданного - кулаком в душу, в чужую и в собственную, пришлось ему слышать за войну впервые. Поэтому и записывал ее сейчас как можно ближе к тому, как помнил, платя долг не Ефимову, а войне, всему пережитому на ней, всей той ее правде, которая была бы неполной без этого, так же как и без позавчерашних слов Ефимова про немцев и Восточную Пруссию.

Самолет накренился, начиная разворот, и Лопатин увидел через иллюминатор близко, почти под собой, коробки взорванных и сожженных домов на окраине Минска.

Он сунул тетрадь в полевую сумку. Наверное, можно было не писать так безотрывно, можно было продолжиться потом, по дороге в Москву, но, увидев под собой развалины Минска, он был рад, что покончил с этим еще до посадки. Минск, куда он тогда, в сорок первом, попал на четвертые сутки войны, была первая, самая первая его боль. И то, о чем вспоминал Ефимов, тоже связано с этой первою болью. Будь начало войны другим, многое на ней было бы по-другому.

"Дуглас" сел на знакомом летном поле. Отсюда после освобождения Минска Лопатин отправлял в Москву с оказией свою первую за эту командировку корреспонденцию.

Летчик со штурманом вылезли первыми и пошли через поле к оперативному дежурному.

"Будет ли и дальше погода? - вместе с другими спустившись

на землю, чтобы размяться, снова подумал Лопатин о Нике и о том, когда он ее увидит. - Не застрянут ли они теперь, чего доброго, здесь, в Минске?"

Почему-то, когда вылезешь из самолета и растянешься на траве, если это лето и есть трава, непременно потянет сорвать и пожевать былинку. Так он и сделал: растянулся навзничь, сорвал былинку, засунул в рот и стал жевать ее, глядя в серое, бессолнечное небо. Видимость пока была хорошая. "Скорей бы дали", - снова подумал он о погоде и, почувствовав, что и лежать на спине тоже больно из-за ссадин, повернулся на бок. Повернулся - и увидел стоявшего над ним знакомого человека, которого меньше всего ожидал увидеть здесь. Иронически поглядывая на Лопатина и раскачиваясь на своих коротеньких кривоватых ножках, над ним стоял военный корреспондент "Известий" Петр Иванович Белянкин.

- Здорово, Ревекка. Откуда ты здесь очутился? - Лопатин сел, протягивая Белянкину руку и невольно улыбаясь, как улыбались всегда и все, кто в шутку называл Петра Ивановича этим в начале войны прилипшим к нему прозвищем. "Ревекка" - было смешным сокращением от слои "ровесник века". Родившийся первого января тысяча девятисотого года, Петр Иванович, на свое несчастье, когда-то сам отрекомендовал себя так кому-то из корреспондентов, и с тех пор и появилась эта "Ревекка", вызывавшая улыбку еще и потому, что Петр Иванович был слишком очевидный русак для такого прозвища.

- Здорово, здорово. - Петр Иванович ловко - он все делал ловко - сел напротив Лопатина на землю по-турецки, между стоявшими до этого у его ног с двух сторон большим, доверху набитым вещевым мешком и маленьким чемоданчиком. - Уже пять минут смотрю на твое озаренное какой-то небесной мыслью лицо и жду, когда дожуешь траву.

- Небесной, говоришь? - спросил Лопатин.

- А что - нет?

- Наверное, да. Лежал, думал: долетим ли сегодня до Москвы? Дадут ли погоду?

- Кто ее знает. Но раз с нами начальство полетит, погода обязана быть.

- А кто? То-то мы сели здесь.

- Начальник тыла воздушной армии. Вчера, пока летели с ним из штаба фронта, у нас один мотор забарахлил, и сели здесь. Из-за этого вас сюда и подрулили. Взять его, а заодно и меня.

- Где ты ночевал? В Минске? - спросил Лопатин.

- Нет, не потянуло, да, наверное, я негде. Переспал тут у "кукурузников", в эскадрилье связи, они на другом конце этого же

летного поля базируются. А с утра пораньше пошел в лес - гриба собирать. Грибов много, а тары мало. На кухне картонку из-под консервов взял, да еще в свой котелок набрал. Крупные потом даже повыкинул, оставил - один к одному только боровики. - Он вкусно причмокнул. - Прилечу в Москву, замариную на скорую руку. Если хочешь, могу оделить.

- Одели, - подумав о Нике, - сказал Лопатин, - а во что?

- Так и быть, отдам котелок. С возвратом, принесешь в редакцию. Котелок тот самый - с начала войны, помнишь?

- Хозяйственный ты!

- На том стоим.

Войну они оба встретили тут в Минске, вместе пешком добирались до Могилева, и Лопатин оценил тогда не только хозяйственные способности Петра Ивановича, но и другие его достоинства. Хотя Лопатин, если считать Халхин-Гол и финскую, оказался уже на третьей войне, оружием он тогда, в начале ее, строго говоря, не владел. А Петр Иванович, провоевавший гражданскую красногвардейцем и помкомвзвода, владел, и отлично. И это в первую же неделю войны, когда шли к своим, спасло их обоих. Для Лопатина на всю войну потом осталось уроком - и как он сам выпустил тогда из нагана весь барабан попусту в белый свет как в копеечку, и как Петр Иванович залег с винтовкой и хладнокровно отстреливался, а потом так же хладнокровно выждал момент, чтобы выползти и спастись вместе с Лопатиным. Такие уроки не забываются, и Лопатин помнил его так же, как и другие уроки истинного хладнокровия, которое молча преподал ему тогда Петр Иванович.

А познакомились они еще задолго до войны, работая в выходившей тогда занозистой газете, называвшейся "За индустриализацию" и чем-то похожей в те мирные, но горячие дни на "Красную звезду" - теперь, в военные.

Петр Иванович перешел потом в "Известия" и всю войну писал в них, не броско, но основательно и всегда о том, что видел своими глазами. Насчет этого - своими или не своими - у Лопатина был нюх, основанный на собственном опыте, и, читая время от времени корреспонденции Белянкина, он радовался, что один из самых милых людей, с которыми сталкивала его судьба, по-прежнему жив и здоров на этой длинной войне.

- А вообще-то в Минске, после освобождения, ты был или не был? спросил Лопатин.

- Нет. Сначала застрял под Бобруйском, пока там "котел" ликвидировали, а потом так и не попал.

- Теперь надолго в Москву?

- Не знаю. Наверное, ненадолго. - Петр Иванович стесненно

улыбнулся. Вызвали через редакцию в ваш Союз писателей. Надумали вдруг принять нескольких человек из нашего брата - меня и... - Он назвал еще две фамилии.

- Рад за тебя, давно пора, - сказал Лопатин. - Гурского еще в прошлом году приняли.

- Что приняли - правильно, хотя не люблю я, по правде сказать, твоего Гурского.

- Почему?

- Больно уж он выламывается, что умней всех, на свете. Допустим, так, - но выламываться-то зачем? Тем более - умному человеку. Не люблю его за это, хотя ты и питаешь к нему слабость.

- Почему слабость? Слабость - это когда любят человека, которого не за что любить.

- А тебе есть за что?

- Мне - да. А вообще-то, конечно, другим - не обязательно, - добавил он, вспомнив, как умеет, а иногда и любит Гурский оборачиваться к людям отнюдь не ангельскими сторонами своей натуры.

- Неудобно как-то с этим вызовом, - сказал Петр Иванович. - Говорят, для приема полагается, чтобы хоть одна книжка была, а у меня - какая книжка? - все в газете.

- Ничего, раз вызвали, значит, по военному времени обойдутся и без книжки. Неудобно не тебе, а тому, кто в призывном возрасте пасется где-нибудь в эвакуации вместе со всеми своими довоенными книжками, пусть их не одна, а десять!

- А если вдруг все-таки, раз я без книжки... - начал было Петр Иванович, но, не договорив, повернулся. - Похоже, что погоды пока не дали.

С того конца летного поля, из дежурки, явно не спеша, сдвинув на затылок фуражку и поглядывая по сторонам, возвращался один летчик, без штурмана.

Недовольно объяснив сгрудившимся ему навстречу пассажирам, что перед Москвой сплошной грозовой фронт и теперь погоду дадут или не да" дут только через два часа, он пошел разговаривать со своим механиком.

С этого началась та знакомая Лопатину аэродромная маета, когда уже не живешь, а ждешь. Через два часа погоды снова не дали. Потом самый нетерпеливый из пассажиров, к тому же еще и старший по званию, пошел выяснять сам и, вернувшись, сказал, что погоду вот-вот дадут. Но ее снова не дали, а когда все-таки дали, то уже не хватало времени засветло сесть в Москве, и вылет перенесли на утро.

Обстоятельный Петр Иванович, еще среди дня сказавший, что

так оно все и выйдет, заранее настроился на ночлег, сходил к "кукурузникам", отдал там на кухню грибы и, пока никого другого не набежало, сговорился насчет двух, как он выразился, "лежачков" - для себя и Лопатина.

Лопатин, наоборот, до последней минуты надеялся на вылет. Но ничего не поделаешь - пешком в Москву не пойдешь. Оставалось укротить свое нетерпение и поблагодарить "ровесника века" за предусмотрительность, а "кукурузников" за гостеприимство.

И день, и вечер тянулись долго. Поужинав картошкой с грибами, перед сном вышли на воздух и присели на лавке покурить.

- А как ты все же чувствуешь себя после всего этого? - спросил Петр Иванович, за ужином услышавший от Лопатина о передряге, в которую тот попал с танкистами. - Крепишься или в самом деле нормально? Что-то, вижу, тебя ко сну не тянет.

- Отчасти креплюсь, а в целом нормально, жаловаться грех. Но не спится - это ты прав. В первый день завалился, как мешок, не раздеваясь. А потом обе ночи, и вчера, и сегодня, наполовину спал, наполовину крутился. И сейчас - ни в одном глазу. Вдобавок ко всему - спина зудит.

- Зудит - это хорошо, подживает, - сказал Петр Иванович. - Только не ерзай, не трись об стенку, как лошадь, хуже будет. Сиди, а я спать лягу. Он бросил и примял сапогом окурок. - Светать начнет, схожу по вчерашним местам, возьму до отлета еще боровичков, сколько успею. А досплю в самолете!

- Смотри, не прогуляй вылет.

- Не прогуляю, как услышу, что моторы гоняют, прибегу.

Лопатин лег через час после Петра Ивановича, но заснул только под утро, уверенный, что сладко храпевший на соседней койке "ровесник века" проспит свои грибы.

Однако, как выяснилось, Петр Иванович не проспал. Открыв глаза, Лопатин услышал на аэродроме гул моторов и увидел Петра Ивановича, который, развязав его вещевой мешок, готовился засунуть туда свой круглый объемистый котелок. полный мелких грибов. Несмотря на трехлетний стаж, котелок был до удивления чистенький, как и все, что было у Петра Ивановича - и на нем, и при нем. На надраенном - не то кирпичом, не то шкуркой - котелке были аккуратно и глубоко выгравированы инициалы: П. И. Б. Пристроив котелок, Петр Иванович сверху, чтобы не высыпались грибы, обвязал его белой полотняной тряпочкой.

- Сразу кладу тебе в сидор, чтобы потом не отдумать. Пожарить-то их есть у тебя кому?

- Наверное, есть, - сказал Лопатин и, поймав удивленный взгляд Петра Ивановича, ничего не добавил.

Погоду дали в восемь утра, но вылетели не сразу, потому что не прибыло ночевавшее в Минске начальство, а с ним и часть пассажиров.

Лопатин с Петром Ивановичем, от греха, чтоб не оказаться в лишних, не стали пастись у самолета, а с разрешения летчиков залезли внутрь заранее, за полчаса до того, как началась общая посадка.

Рослый пожилой полковник - начальник тыла воздушной армии, мимоходом кивнув Петру Ивановичу и прошел в кабину к летчикам, пассажиры - старые и новые, - расталкивая друг друга, расселись по скамейкам; стрелок-радист втянул внутрь лесенку, захлопнул дверь, и самолет, прокрутив моторы, запрыгал по полю.

Петр Иванович, как только взлетели, привалился к плечу Лопатина и заснул, оставив его наедине со своими мыслями о том, что ждет его в Москве.

Лопатин думал о том, что слишком многого не знает. Так вышло, что он не знает даже имени ее сына. Это было не более нелепо, чем многое другое в его жизни, но тоже нелепо. Она знает имя его дочери, потому что он когда-то сказал ей и Ташкенте, что его дочь - тоже Нина. А он не знает имени ее сына, потому что она не сказала, а он не спросил, и надо будет спрашивать это у нее теперь, когда она приехала в Москву; И в этом будет неловкость, и, наверное, только одна из многих, которые им предстоит преодолеть при встрече.

В июне, в последнюю ночь перед отъездом на фронт, он долго колебался, но все-гаки написал дочери о возможной перемене в своей жизни. Ему показалось несправедливым при той вере в него, которая была у его дочери, не написать ей заранее, на что он решился.

Тридцатилетняя женщина с десятилетним мальчиком и семнадцатилетняя девочка, никогда раньше не знавшие друг друга, - как все это будет?

И вообще - как все будет? Разве даже теперь, считая оставшиеся до встречи часы и минуты, он знает, как все будет? Просто он уже не может представить себе свою жизнь такой, какой она была, представить себе и дальше то одиночество, в котором он жил. Он де желает больше этого одиночества. Вот и все, что он знает!

- Скоро Москва, только что смотрел - над Можайском прошли! - сквозь шум моторов крикнул ему в ухо проснувшийся Петр Иванович.

- В самом деле? - Лопатин боком подсунулся к иллюминатору, но Можайска уже не увидел. Под крылом было шоссе и два медленно ползущих по нему к Москве грузовика.

"Если, как говорили, сядем во Внукове, - подумал он, - то осталось всего семьдесят пять километров, еще минут двадцать - и будем на земле".

И вдруг представил себе невозможное: что они вылезают из самолета, а там, на земле, стоит и ждет его Ника. Стоит и ждет, в ушанке я перепоясанной офицерским ремнем вытертой цигейковой шубе. Такая, какой видел ее в последний раз в Ташкенте, когда она сказала: "Пойду", - и пошла от него по перрону, а он смотрел ей вслед. Такой представил себе ее и сейчас, летом, на аэродроме. И никакой другой так и не смог представить,

Конечно, она не ждет его там, во Внукове, и не может ждать, и ей неоткуда знать, когда и на чем он может прилететь, этого и в редакции никогда толком не знают. И глупая мысль об этой несбыточной встрече только от нетерпения и тревоги за будущее.

Те полтора года, которые он ее не видел, все-таки как пропасть, в которую и заглянуть страшно. А мост через нее - только два письма - ей от него и одно письмо ему от нее, и эта телеграмма в кармане гимнастерки, чуть не убитая вместе с ним всего-навсего три с половиной дня тому назад"

- Все, садимся, - сказал Петр Иванович. - Подозреваю, что тебя не встречают из редакции?

- Не имеют такого обыкновения.

- Меня тем более. Может, к начальнику тыла подгребем? Его, наверное, встречают. Вдруг подкинет!

19

И все-таки первой, кого увидел Лопатин, прилетев в Москву, была Ника. Они сели не во Внукове, а на Центральном аэродроме, на Ленинградском шоссе, и когда шли вместе с Петром Ивановичем, каждый со своим чемоданом и сидором. от самолета к дежурке, тот на полдороге окликнул его:

- Вася! По-моему, тебя встречают. "Эмка" и около нее ваш Степанов. Тебя, кого же еще! У маленького двухэтажного домика действительно стояла "эмка" в возле нее Лева Степанов, но Лопатин едва успел заметить все это, потому что увидел стоявшую рядом со Степановым женщину и, уже не видя никого и ничего, кроме нее, пошел к ней.

На ней, конечно, не было ни старой цигейковой шубы с офицерским ремнем, ни ушанки, в которых он ее помнил, но это была она - в ситцевом платье и косынке, которых он никогда на ней не видел, и с сумочкой в руке.

Когда он подошел ближе, она, до этого неподвижная, сорвалась с места и, пробежав несколько шагов, обняла его, закинув ему за спину левую руку с сумочкой, а правой, как потерянного ребенка, обхватив за голову, ткнулась губами в губы, в щеку и снова в губы и, уронив голову ему на плечо, горько - так ему показалось - горько - заплакала.

- О чем вы плачете? Я так рад вас видеть, - сказал он.

- А я тебя, - сказала она, продолжая плакать.

И только тут он опустил на землю вещевой мешок и чемодан и обнял ее, одновременно ощутив, как она крепко прижалась к нему грудью, и почувствовав своими, прикоснувшимися к ее спине пальцами, как она похудела.

- Зачем же вы плачете? - все еще на "вы" повторил он.

- Я так боялась, что тебя убили. Никогда еще так не боялась, - сказала она и, оторвавшись от него, неловко шмыгнув носом, ладонью вытерла слезы и снова подняла на него свои, уже не заплаканные и постаревшие, а прежние, чуть-чуть прищуренные, готовые улыбнуться, глаза.

Он оглянулся я увидел Петра Ивановича, который с чемоданом у ног и вещевым мешком за спиной, насмешливо скрестив руки на груди, стоял и ждал, что будет дальше.

- Познакомься, моя жена, - неожиданно для себя сказал он Петру Ивановичу, глядя в глаза Нике и не испытывая чувства вины перед ней за свою внезапную решимость.

- Очень приятно, - церемонно поклонился Петр Иванович и протянул ей руку.

Но она сказала: "Сейчас!" - и стала рыться в сумочке и, только вытащив оттуда платок и еще раз вытерев заплаканное лицо, подала руку.

- Здравствуйте.

- Белянкин, Петр Иванович, - все так же церемонно сказал Петр Иванович, пожимая ей руку.

- Спасибо тебе. Лева, что встретил! - сказал Лопатин и обнял Степанова, который до этого выжидающе стоял поодаль и лишь теперь подошел к ним.

- Это вам спасибо, Василий Николаевич, что вернулись с того света в наши редакционные объятия. И притом в полном порядке, - улыбаясь, сказал Лева. На разницу в возрасте в редакции не взирали, и он был один из немногих, кто звал Лопатина на "вы".

- Поехали! Редактор приказал прямо, к нему.

- Меня до "Известий", рассчитываю, по дороге подбросите? - спросил Петр Иванович.

- Если обещаете фитилей нам не вставлять, подбросим! - сказал Лева Степанов.

- Какие там фитили! Разное видели, о разном и напишем.

Пристроив в ногах чемодан и вещевой мешок Лопатина, втроем втиснулись на заднее сиденье "эмки", а Петр Иванович с его здоровенным вещевым мешком, который он переложил себе на колени, сел вперед. За рулем оказался сам завгар редакции Капитонов.

- Видите, с каким почетом вас встречаем, - сказал Лева Степанов.

- Все в разгоне, - объяснил Капитонов. - Звонят "давай", а ни одной машины! Принимал эту от слесарей из ремонта - прервал и поехал. Чего-то мне у ней левая рессора не нравится. - Человек самолюбивый и притом имевший звание техника-лейтенанта, завгар счел нужным сначала объяснить, почему оказался за рулем, и лишь после этого спросил: - А как там Василий Иванович? Не пострадал?

- Не пострадал, - сказал Лопатин, после этого вопроса окончательно поняв, что о случившемся с ним уже известно в редакции. - Кстати, отдайте его семейству. - Протянув завгару записку Василия Ивановича, он виновато, напоминая о себе, прижался плечом к плечу Ники, тепло которого все время чувствовал.

Пока ехали от аэродрома до Пушкинской площади, Лева Степанов объяснил, как вышло, что они его встретили. Оказывается, Гурский вчера же утром, едва проводив Лопатина, отбил с узла связи штаба фронта подробную телеграмму редактору обо всем происшедшем и сообщил номер борта самолета.

- Вчера я один ездил встречать. Нину Николаевну не брал с собой, только позвонил - Гурский мне ее телефон дал. А сегодня вместе поехали, потому что - наверняка. Это вам повезло, что с их начальником тыла летели; в таких случаях они тут на месте все знают, не как с нами, простыми смертными, когда мы летаем. Позвонил им, заехал за Ниной Николаевной, и вышла встреча, я считаю, по первому классу, - сам завгар за рулем! Нина Николаевна в момент собралась, по-военному. Подъехал, а она уже внизу ждет! - улыбаясь, добавил Лева, которого по молодости лет бескорыстно веселило, что их старого хрыча Лопатина сегодня встречала, обнимала и целовала на аэродроме эта не такая уж молодая, но все же сравнительно молодая и еще красивая женщина.

Лопатин вспомнил, как тогда, летом сорок второго, этот же Лева Степанов сочувственно смотрел на него, когда он принес ему заверить подписью и печатью свое согласие на развод с Ксенией.

- Вот вы меня сейчас подвозите, - когда они уже приближались к Пушкинской площади, сказал Петр Иванович, - а я вспомнил, как в сорок первом, зимой, ваш редактор рано утром сам приехал на этот аэродром и лично пристроил лететь под Елец, на Юго-Западный, вашего корреспондента. Я к нему: "Товарищ дивизионный комиссар, помогите, мне тоже до зарезу нужно!" А он мне:

"Вот когда перейдете к нам в "Красную звезду", товарищ Белянкин, на что заранее согласен, тогда и буду вас в самолеты сажать. А пока что позвоните вашему редактору, разбудите, пусть встанет с постели, сам приедет и вас устроит".

- Да, - сказал Лева Степанов, - это было в его духе. Теперь это у нас все в прошлом.

"Эмка" остановилась у Пушкинской площади, и Петр Иванович, уже вылезая, сказал Нике:

- Смотрите не забудьте вы, а то он забудет: у него там в сидоре котелок с грибами. Пожарьте сегодня, до завтра пропадут.

- Будет сделано, - сказала Ника.

- А котелок пусть возвратит. Котелок мой. Напомните ему.

- Обязательно напомню, - сказала Ника с той, сближавшей их с Лопатиным обыденностью, словно это все само собой и разумелось.

Петр Иванович, закинув за плечи вещевой мешок, пошел через улицу Горького к "Известиям", а "эмка", один раз уже пропустившая зеленый свет, снова стояла перед красным.

- Сейчас мы вас подкинем, - сказал Лева Степанов Нике.

- А вы знаете, не надо. Поезжайте прямо в редакцию, раз вас редактор ждет, а я сойду и пойду, мне совсем близко. А ты позвони сразу, как освободишься-, хорошо? И пропустите меня, а то я через вас не перелезу.

Они вылезли и пропустили ее. р - Только вот что, - сказала она, уже стоя на тротуаре. - Грибы мне дай с собой. Где они?

Лопатин послушно развязал мешок и отдал ей котелок Петра Ивановича.

- - До свиданья. Спасибо вам большое за все, Лев Васильевич. И вам тоже спасибо, - кивнула она Капитонову и, взяв котелок и сумочку, не оборачиваясь, пошла своей, знакомой Лопатину, особенной, быстрой походкой.

По лицу Левы было видно, как его подмывает спросить, действительно ли эта женщина выходит замуж за Лопатина, но Лева не спросил, удержался.

- Когда будете отдавать письмо домашним Василия Ивановича, - сказал Лопатин Капитонову, - объясните, что я сам на этих днях зайду, расскажу им про него.

- Что, подружились с ним за эту поездку? - спросил про Василия Ивановича Лева Степанов.

- Представь себе.

- Вы с ним или он с вами?

- Представь себе, и я с ним, и он со мной.

- По-моему, вы первый, во всяком случае, у нас в редакции.

- А наша редакция еще не весь свет, - сказал Лопатин.

Когда приехали в редакцию, оказалось, что редактора нет на месте: его неожиданно вызвали к начальству, но он уже звонил оттуда, спрашивал, не появился ли Лопатин, и сказал, что выезжает и будет через двадцать минут.

Эти двадцать минут ушли на хождение по редакционным коридорам, расспросы и разговоры о том, что же там, собственно говоря, произошло с Лопатиным и как именно он чуть не отдал богу душу. Один из спрашивавших поинтересовался, цел ли редакционный "виллис", будет ли на чем ездить Гурскому.

- Вот видишь, какой ты тип, - усмехнулся Лопатин. - Наш Капитонов тебе несколько раз по канистре бензина недодал, считал, что сам добудешь, и он у тебя за это - уже казенная душа! А между прочим, эта казенная душа - цел ли "виллис"? - меня не спросила, спросила только, цел ли Василий Иванович. - А ты, наоборот, не казенная душа, а инженер человеческих душ, но спрашиваешь про "виллис", а не про человека.

- Ну и ну, наш Капитонов - и вдруг про "виллис" не спросил! Согласись сам, что это удивительно!

- Соглашаюсь - удивительно! А что это- за люди, в которых нет ничего удивительного! О таких не только писать, а и думать-то неинтересно.

- Ладно, посмотрим, что ты найдешь удивительного в нашем новом редакторе.

- Что-нибудь да найду. - Лопатин пошел дальше по коридору навстречу новым расспросам. Он чувствовал по ним, что на какое-то короткое время после телеграммы Гурского стал здесь в редакции героем дня, которого только что, и притом уже второй раз за год, чуть не убили. Он сознавал смешную сторону своего положения, но все равно сердце глупо екало от бессмысленной гордости, испытываемой человеком, про которого говорят, что его "чуть не убили". Екало, хотя он понимал, что слова "чуть не убили" - одни из самых бессмысленных, потому что всех, кто за три года войны так или иначе бывал под огнем, уже по многу раз "чуть не убили". Только иногда, как сейчас с ним, это бывало для всех очевидно, а гораздо чаще так и оставалось никому не ведомым. Откуда ты можешь знать, почему за километр или за два от тебя кто-то взял не ту, а эту поправку к прицелу или нажал

на педаль бомболюка на полсекунды позже, а не раньше; и это и есть то самое "чуть", из-за которого один продолжает жить, а другой - нет.

Похвалы притупляют здравый смысл. Однако за те двадцать минут, пока он ходил по редакционным коридорам, Лопатин остатками здравого смысла все-таки осознал, что все это имеет и свою оборотную сторону; всеобщий интерес к случившемуся с ним, в сущности, значил, что такое не слишком часто происходит с их братом корреспондентом, и сколько ни приравнивай к штыку перо, а от повседневной солдатской доли все это ох как далеко!

Вернувшийся от начальства редактор встретил Лопатина, быстро встав из-за стола и успев дойти до середины кабинета. В тугом кителе, с ленточками трех орденов Красного Знамени, в туго натянутых на ноги, сиявших сапогах, с чуть-чуть высоковатыми, добавлявшими ему роста, каблуками, был он без единой сединки - черноволос, черноус и на диво свеж для своих, не таких уж молодых, лет. Во всяком случае, выглядел намного моложе своего ровесника Ефимова.

- Очень рад наконец лично познакомиться с вами, после того как три года был усердным читателем всего, вами написанного. Прошу присаживаться. Энергично пожав руку Лопатину, он указал ему на кресло у стола, и сам сел в кресло напротив. Кресла эти были нововведением, раньше они тут не стояли, прежний редактор, если не топтался у конторки или не бегал по комнате, то сидел за столом, нисколько не интересуясь, сидят или стоят те, кто к нему явился. Впрочем, чаще всего он сам или стоял, или бегал, и если, пока он бегал, кто-то садился - тоже не обращал на это внимания.

Лопатин спиной окунулся в мягкое кресло, но почувствовал, что ему больно, и выпрямился.

- Спасибо на добром слове, - сказал он. - И привет вам от Ивана Петровича Ефимова.

- Благодарю, - сказал новый редактор. - Иван Петрович из числа моих былых сослуживцев по польскому фронту шагнул дальше всех. И по заслугам. Уже знаю, что вы у него были, и вообще - все о вас уже знаю. Как ваше самочувствие?

- Чувствую себя неплохо, товарищ генерал, но, если можно, хотел бы, прежде чем сесть отписываться, дня три-четыре отдохнуть.

- Разумеется. И рекомендую за эти дни посетить наш Центральный военный госпиталь, чтобы удостовериться, что вы действительно здоровы. Если для этого понадобится мое содействие - к вашим услугам! С вашего разрешения, на будущее - Михаил Александрович. Надеюсь, что предстоящим нам с вами

служебным отношениям это не помешает, а без нужды ответно обращаться к вам по званию мне, признаюсь, не с руки.

- Слушаюсь, - сказал Лопатин, окончательно понимая, что для этого, не привыкшего командовать писателями генерала он не майор, а писатель, и, наверное, так оно и останется в дальнейшем.

- Как, Василий Николаевич, надеюсь, вы уже встретились с вашей невестой?

От внимания Лопатина не ускользнула маленькая запинка, которая вышла у нового редактора перед последним словом. "Наверное, вдобавок- к возрасту, еще и так хорошо выгляжу, что слово "невеста" плохо выговаривается", усмехнулся он над собой.

- Спасибо, встретились.

- Четверо суток в вашем распоряжении, - сказал генерал. - Он пододвинул к себе по столу блокнот, заглянул и что-то пометив. - После чего в это же время жду вас у себя, а ныне не смею задерживать.

Это он сказал, уже вставая.

- Ну, как новый? - спросил Лева Степанов, когда Лопатин зашел в его комнатку по соседству с редакторским кабинетом.

- Не знаю, каким будет за редакторской конторкой, а так, по первому впечатлению, - воспитаннейший человек, даже, пожалуй, слишком - для нашего брата.

- Вот именно, - сказал Лева. - Некоторые уже разбалтываться стали. Но первый выговор в приказе вчера влепил.

- А за конторкой стоит? Полосы читает?

- И стоит, и полосы читает; в меру сил стремится сохранить преемственность. Будете звонить ей?

- Да. - Лопатин повернул и пододвинул к себе телефон, но Лева остановил его:

- Погодите! Сначала не хотел говорить при ней, а потом закрутился и забыл! Вам письмо от дочери. Вчера пришло.

- Давай! - снимая руку с телефона, сказал Лопатин. Как ни хотелось скорей позвонить Нике, но что-то заставляло сначала прочесть письмо дочери, - так, словно без этого нет права звонить.

Письмо было большое и начиналось совсем не с того, с чего ожидал Лопатин, а "с того, как она кончала школу. .Кончила хорошо, но тон письма заставил Лопатина почувствовать, что далось ей это нелегко, наверное, поездка в Москву выбила из колеи. Да и странно, если б не выбила. В письме присутствовал оттенок торжества, она была довольна собой - и тем, что все сдала, и тем, что уже на пятый день после этого поступила на курсы медсестер, - все как собиралась и как говорила ему в

Москве.

Вслед за этим шла страница про домашние дела. Писала о тетке, как о человеке, оставшемся на ее попечении, а о себе - как о главной в доме, и заключила эту часть письма немного даже нахальной фразой: "Тетя Аня не спорит и слушается меня, когда я требую, чтобы она следила за своим здоровьем".

"Да, плохо дело, если она стала кого-то слушаться", - подумал Лопатин о своей старшей сестре. "Значит, сломалась после смерти мужа! Всю жизнь никогда и никого, кроме себя самой, не слушалась, наоборот, заставляла слушаться других. А теперь, оказывается, слушается, и хорошо, что слушается. Но есть в этой покорности что-то опасное, какие-то признаки разрушения личности - обратимые или необратимые - убедиться в этом можно, только поехав и увидев ее, выполнив наконец этот свой долг перед нею, так и не выполненный за всю войну. И если разрешат обстоятельства, надо слетать туда сразу 9 этом же месяце, как только он отпишется за поездку на фронт.

Ответ на его вопрос, с которого, как он ждал, должно было начинаться письмо дочери, оказался в самом конце и занял всего несколько строк.

"Извини, пожалуйста, папа, но, по-моему, - я даже обиделась, по-моему, даже глупо спрашивать меня, как я могу ко всему этому отнестись! Я же всегда думала, что у тебя что-то наконец будет, это же вполне нормально, - писала она так, словно говорила с ним, как с входившим в возраст ребенком. - А раз ее мальчику только десять лет, то если даже он вдруг окажется не совсем так воспитан, как ты считаешь нужным, я уверена, что ты с этим справишься. И вообще - неужели ты не понимаешь, что я хочу только одного, чтобы у тебя было все хорошо, а больше ничего не хочу", самоотверженно заключила она письмо.

"Да, барышня с характером, - дочитав до конца, с благодарностью подумал Лопатин о дочери. - Отчасти и с фамильным. Как у ее тетки в былые времена. Конечно, если думать серьезно, - а думать придется серьезно, сейчас никто - ни эта барышня с характером, ни ты сам, ни Ника с ее сыном никто заранее не может знать, как сложатся все эти будущие отношения". И однако, письмо дочери снимало камень-с души. Как постепенно .выяснялось, она росла сильным человеком. И как ни трудно иметь дело с сильными людьми, а все же лучше, чем с ни то ни сё. Может, для кого-то и не так, но в таких делах неоспорим только опыт собственной жизни.

Он сиял трубку и, показав деликатно поднявшемуся из-за стола Леве, что тот может и не уходить, набрал номер.

- Да? - сказала в телефон Ника.

- Я уже освободился.

- А я уже почистила грибы. Через сколько времени ты будешь? - И что-то неуловимое в ее голосе сказало ему, что она там, у Зинаиды Антоновны, стоит и говорит по телефону одна в пустой квартире.

- Постараюсь как можно быстрей. - Он хотел положить трубку, но она спросила:

- Тебе удобно говорить со мной?

- Да, конечно, - сказал он, снова остановив глазами вопросительно смотревшего на него Леву.

- Если ты собираешься заходить к себе домой, сегодня не надо - завтра. Я здесь одна, - сказала она, словно угадала только что подуманное им.

- Хорошо. - Он положил трубку.

- Доверши благодеяние, Лева, добудь мне еще на двадцать минут машину.

- Уже добыл. Точней - имею в наличии. Пока вы шли от меня к редактору, он позвонил, чтобы вас доставили на его машине, куда вам потребуется.

И, радостно стиснув обеими руками руку Лопатина, не выдержал, добавил:

- Дай вам бог, и сегодня, и вообще. Просто завидую вам, что такая прекрасная женщина...

"Такая прекрасная женщина... Такая прекрасная женщина", - повторял про себя Лопатин, спускаясь по знакомой старенькой, тесной редакционной лестнице с третьего этажа на первый. Повторял, казалось, бессмысленно, а на самом деле начиная неясно пугаться того, как удивительно, необъяснимо, небывало хорошо складывался у него весь этот первый день в Москве.

Взяв оставленные внизу у вахтера чемодан я вещевой мешок, он вышел во двор, где стояла незакамуфлированная, как все остальные в редакции, а незнакомая новенькая черная "эмка" с незнакомым водителем.

- Я не ошибся? - спросил он, открывая дверцу.

- Если вы товарищ Лопатин, то не ошиблись, все правильно, - ответил водитель.

И когда Лопатин сел рядом с ним, сунув на заднее сиденье вещевой мешок и чемодан, спросил:

- Куда вас?

- Сначала на десять минут на улицу Горького, а потом - там же, совсем близко, в переулок, в Брюсовский, знаете?

Шофер кивнул и тронул с места.

Хотя Лопатин сказал ей по телефону - "хорошо!" - но, уже говоря это "хорошо", он знал, что все равно должен заехать домой,

только не хотелось объяснять ей этого по телефону. Все-таки, прежде чем увидеть ее, ему хотелось знать, живет или не живет сейчас там, в их квартире, его бывшая жена. Правда, Гурский позавчера сказал, что Ксения еще в Ташкенте, но это было позавчера. А кроме того, и этого тоже не хотелось объяснять по телефону, ему нужно было кое-что выбросить из чемодана, а кое-что взять.

Когда подъехали к дому, он, оставив в машине вещевой мешок, взял чемодан и стал подниматься по лестнице. Все, что было связано в его памяти с этой лестницей и о чем он еще вспоминал, когда в начале июня вместе с дочерью возвращался сюда из госпиталя, сейчас стало далеко, до безразличия. Ему самому было почти все равно, живет или не живет сейчас там, в своей комнате, его бывшая жена. Другое дело, что это могло быть не все равно для Ники.

Войдя в квартиру и поставив на пол чемодан, он сразу же зашел не в свою комнату, а в ванную и, судя по тому, что там ничего не лежало и не висело, понял, что Ксении нет, а может быть, она за это время и вообще -не появлялась тут.

Он поднял с пола чемодан и вошел с ним в свою комнату.

В комнате было душно, лето накалило ее, но он не стал открывать форточку - ему не хотелось делать ничего лишнего. Положив на тахту чемодан, он открыл его и вывернул все содержимое: две не влезших в вещевой мешок банки консервов, банку сгущенного молока, выстиранное Василием Ивановичем, но не глаженое, изжеванное обмундирование с так и не отмытыми до конца пятнами крови, грязное белье, грязные носки и платки. Этого грязного белья он и стеснялся, его и хотел оставить здесь. Да и неотмытое обмундирование могло стать причиной лишних расспросов.

Банки с консервами и со сгущенным молоком он бросил обратно в чемодан и, достав из ящика, положил поверх них чистое белье и носки, которые ему постирала перед отъездом дочь.

От духоты в комнате белье в ящике было теплое.

Закрыв чемодан и оглядев все разбросанное по тахте, он завернул накрывавшую ее кошму так, чтоб из-под нее ничего не было видно. Они могли прийти сюда завтра вдвоем, и неловко, если она вот так увидит все это...

Через несколько минут "эмка" довезла его до Дома Зинаиды Антоновны; он поднялся по лестнице и, поставив у ног чемодан и вещевой мешок, позвонил.

Дверь открыла Ника. Взяв его чемодан прежде, чем он успел помешать этому, она сказала, что уже спускалась вниз, чтобы

встретить его и помочь, но ждать там внизу побоялась - вдруг у него что-то переменилось, он позвонит по телефону, а она не подойдет.

- У меня уже ничего не может перемениться, - сказал он, опустив на пол aseuidk и беря ее за руки. - Получил четыре Дня отпуска от всего на свете. А как ты? Я считал дни, и у меня вышло, что тебе нужно чуть ли не завтра уезжать обратно.

- Нужно уезжать, - сказала она, - но не завтра, а послезавтра поздно вечером, и у нас с тобой, считая сегодняшний, почти два с половиной дня. Мне вчера удалось переменить билет.

- Я еще на аэродроме хотел спросить тебя, но не сумел при всех.

- А я с самого начала хотела сказать тебе и тоже не сумела.

Продолжая стоять, держа друг друга за ,руки, они оба улыбнулись этому.

- Вот так, - сказала она. - Явилась к вам по вашему приказанию, - так когда-то, очень давно, любил говорить мне мой первый муж; он же отец моего сына.

Да, было все-таки в этой Женщине что-то неукротимо правдивое, было Даже в этих, с полуулыбкой сказанных словах. В них вместилось сразу все - и напоминание о том, что у нее была своя, далекая от Него, жизнь и что она не так уж молода и не одна, а с сыном от первого мужа, и без стеснения высказанная вера в бесповоротность того, что происходило или уже произошло с ними обоими сейчас. Другая женщина не сказала бы в такую минуту "мой первый муж.". А эта взяла и сказала.

- Почему ты задержался? Заезжал к себе домой?

- Да.

- Я так и подумала. Хотел проверить, нет ли там Ксении. За этим?

- Не только за этим, но и за этим.

- Я так и подумала, - повторила она, - я потом пожалела, что не сказала тебе по телефону, что Ксения еще в Ташкенте.

Они все еще стояли в передней, привыкая к тому, что снова видят друг друга. - Ты встречалась с ней?

- Да. Вскоре после того, как получила твое письмо. Увидела ее и сказала, что ты Хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж, и что я поеду к тебе как только смогу. Я не хотела чувствовать себя виноватой перед ней, а если бы я промолчала, вышло бы так" словно я виновата.

- Она не удивилась? - спросил он.

- Кажется, нет. По-моему, вернувшись из Москвы, она окончательно поставила на тебе крест.

- А раньше не ставила?

- По-моему, нет.

"Да, наверное, и это правда, - вспомнил он свое последнее свидание с Ксенией. - Раньше все-таки не ставила, как старый

вагон, держала где-то на запасных путях. А тут поставила".

Ника улыбнулась ему той своей особенной, так нравившейся ему полуулыбкой, которую он столько раз вспоминал за эти полтора года. Чуть сощурила глаза и полуулыбнулась.

- На кого ты оставила сына?

- Главным образом на самого себя, он самостоятельный и хорошо учится. Только школа очень далеко. А кормят его мои ленинградцы. Они еще не уехали, только собираются. Я купила им для него про запас то, что смогла, и оставила денег. Но все равно, конечно, беспокоюсь. Я и раньше уезжала в другие города, с выездными спектаклями, но самое большее на три-четыре дня. Так надолго я еще никогда его не оставляла.,

- Как его зовут? - Лопатин пересилил себя и все-таки задал вопрос, который чем дальше, тем казался бы все нелепей. - К стыду своему, так до сих пор и не знаю. - Сказал "к стыду". Подумав, что мог узнать это хотя бы у Зинаиды Антоновны.

- Его зовут, как тебя, Васей. - Она снова полуулыбнулась. - Даже смешно: твою дочь - как меня, а его - как тебя.

Он обнял и поцеловал ее, и она полуответила коротким поцелуем, не отстранившись, но и не потянувшись к нему.

- Что ты хочешь сначала - поесть или помыться?

- Наверное, все-таки помыться.

- Очень хорошо. Сейчас я зажгу газ Пять дней назад вдруг пришли и починили газовую колонку, и Зинаида Антоновна была так счастлива, что мылась весь день, с утра до вечера. У тебя есть чистое белье?

- Есть. Я за ним и заезжал.

- Где оно, в чемодане?

- Да.

- Отпусти меня. Пойди в комнату и посиди, а я все тебе приготовлю.

- А где Зинаида Антоновна? - спросил он, не отпуская ее.

- Уехала третьего дня в Ташкент, чтобы самой сыграть в трех прощальных спектаклях и вернуться вместе со всей труппой.

- А ее Елена Лукинична? - спросил он.

- А ее Елена Лукинична уехала к себе в деревню, под Верею, к родственникам - копать картошку и привезти то, что дадут на ее долю. Я же тебе сказала, что я тут одна. Ты что, не поверил?

Он хотел сказать, что иногда бывает страшно поверить не только в плохое, но и в хорошее, но вместо этого виновато улыбнулся.

- Но если ты захочешь, мы можем завтра пойти туда, к тебе, и до моего отъезда быть там.

Он молчал. Он знал, что хочет сейчас только одного - чтобы

она была и оставалась с ним.

- Ну так как же? Отпустишь меня? - спросила она.

И он отпустил ее, и пошел в комнату, и сел в то самое кресло, за то самое старинное бюро, за которым почти два месяца назад сидел и писал ей письмо.

И вот он снова сидел за этим бюро, благословляя тот день и час, когда сделал это; сидел и слушал, как она чиркает спичкой, зажигая газ, как пускает стучащую о дно ванны воду, как щелкает в передней замками его чемодана, доставая белье, как легко, чуть слышно, но все-таки слышно, ходит из ванной в переднюю и обратно.

"Хочу, чтобы она была счастлива, - думал он, слушая ее шаги. - Хочу, чтоб она была со мной и была счастлива. Другое дело, может ли это быть? Будет ли она счастлива со мной?"

Он хотел, но не мог подавить в себе неприятную, оскорбительно-тяжелую мысль о своем возрасте, о тех семнадцати годах, которые разделяли их. Ему не хотелось об этом думать, но эта мысль все равно жила в нем, и выгнать ее было некуда. С Ксенией их тоже разделяло не так уж мало - десять лет. Но они были несчастливы с ней не поэтому. Он вспомнил, как вчера утром, пока он, раздевшись до пояса, умывался, Гурский, рассматривая его синяки и ссадины на спине, с оттенком зависти сказал:

- А все-таки, Вася, железное у тебя здоровье. Воспоминание было утешительным, потому и вспомнил. Железное не железное, а последний раз болел малярией пять лет назад, когда возвращался с Халхин-Гола. И с тех пор - ни в финскую, ни в эту, ни зимой, ни летом - ни разу ничего, кроме ранений И ранения тоже - даже последнее, - потом, кто их знает, - могут и сказаться, а пока не сказываются. А все-таки, семнадцать лет - это семнадцать лет Тогда, в Ташкенте, он почувствовал, что ей хорошо с ним. Но сейчас, после того как они не видели друг друга полтора года, страшно было подумать, - а вдруг тогда это только показалось? Вдруг она просто очень хорошая, очень чуткая, очень нежно отнесшаяся к нему женщина? А то, что говорят, когда говорят о двух людях, что им друг с другом хорошо, только показалось. Так хорошо было самому, что решил это и за нее.

- Что ты, что с тобой? - спросила она, открыв дверь и увидев его поднятые на нее глаза.

- Ничего, - солгал он. - Ровно ничего, - во второй раз солгал он, не радуясь, а пугаясь ее чуткости, только усилившей вспыхнувшую в нем тревогу. Как у нее просто и сразу вышло это "ты" - там, на аэродроме! Он - "вы", а она - "ты" и бросилась к нему

так, словно уже давно мысленно бежала навстречу.

Нет, все это не может быть обманом, а если и может - то только самообманом женской доброты, принятой за любовь.

Что-то в его лице продолжало тревожить ее - и не напрасно; угнетенный своими мыслями и своей неспособностью отвязаться от них, он уже не мог вернуться в то состояние безрассудной радости, в каком находился с первой минуты их встречи на аэродроме.

- Что не так? - спросила она. - Что-нибудь не так? Ты что-то вдруг вспомнил?

- Да, вдруг вспомнил, - сказал он, не объясняя что, потому что объяснить это было нельзя.

И на этот раз она - при всей своей чуткости - не поняла его, подумала про совсем другое - про войну.

- Я понимаю, - сказала она. - Мне Лев Васильевич, пока Мы ехали на аэродром, рассказал про эту телеграмму, которую они получили Я понимаю, как это страшно, когда все, с кем ты был, вдруг убиты и только ты один жив Я когда встречала тебя, приготовила себя даже к тому, что могу почти не узнать тебя, что тебе, может быть, даже трудно самому двигаться. Мы даже хотели подъехать на "эмке" прямо к самолету, но нам не разрешили.

- Было бы трудно двигаться, положили бы в госпиталь, а не отпустили бы к тебе в Москву, - сказал Лопатин, - И не я один жив, наш механик-водитель тоже жив и, может быть, даже еще один человек жив. - Он вспомнил танкиста с оторванной ступней, которому меняли жгут там, на шоссе. - И незачем было - Степанову вываливать тебе все это, тем более с преувеличениями. Вполне мог подождать и не трепаться.

- По-моему, он, наоборот, хотел успокоить меня.

- Вижу, как он тебя успокоил, - все так же сердито сказал Лопатин. Она рассмеялась.

- Ну, вот наконец ты опять такой же сердитый, каким был там, в Ташкенте, когда объяснял им про войну.

- Конечно, сердитый, - сказал он. - Не терплю, когда преувеличивают. Отделался двумя ссадинами на спине, только и всего.

- Я там все приготовила и ванну налила; и ' душ там тоже есть. Но, может быть, тебе нельзя мыться?

- Можно и даже нужно. - Подойдя к ней, он наклонился и поцеловал руки - сначала одну, потом другую. - А если ты найдешь здесь, в квартире, йод, чтобы потом помазать мне спину, будет и вовсе хорошо.

- Найду, есть йод, - сказала она и, улыбнувшись, перевернула ладонью вверх свою левую руку, которую он еще продолжал

держать в своей руке. На ладони был маленький порез, только что или недавно помазанный йодом. - Я привыкла у себя в хозяйстве к острым ножам. А у Зинаиды Антоновны все тупые. А когда тупые, я с непривычки непременно режусь.

И он сделал то, чего ей хотелось: поцеловал ее в эту ладонь с порезом и с пятном йода, с трещинками и шершавинками на коже, с негрубыми, но давними мозолями. Поцеловал одну ладонь, а потом, перевернув, поцеловал другую, такую же, только без пореза и пятна йода; поцеловал и вспомнил, как мысленно увозил тогда ее с собой из Ташкента, всю ее: и эти чуть шершавые, с исколотыми иголкой подушечками пальцев руки - тоже. И, оторвавшись от них, с комком в горле, молча вышел из комнаты.

20

Они лежали вдвоем в чужом доме, в чужой постели со старинной, высокой, почти до середины стены, спинкой из выгнутого красного дерева. Лежали усталые и растерянные простотой и естественностью всего, что с ними происходило. Ника, с ее всякий раз заново продолжавшей удивлять его чуткостью, помогла ему расстаться с ощущением неловкости - и действительной, и придуманной, от неуверенности в себе. Он был счастлив по ее вине и чувствовал себя в том неоплатном долгу перед нею, который, наверное, и есть любовь к женщине.

На висевших на стене и громко тикавших старинных длинных часах с маятником был только девятый час вечера, но уже начинало заметно темнеть, напоминая, что и нынешнее, четвертое лето войны переломилось и пошло к осени.

Спина по-прежнему болела, но он все равно лежал на спине, потому что так было лучше и думать, и говорить.

Она все-таки заставила его говорить с ней о войне, хотя он сначала не хотел. Заставила так же, как заставляла когда-то в Ташкенте. Задавая вопросы, на которые нельзя было не отвечать, она доверчиво, но настойчиво проверяла им все, что сама думала о войне. Не расспрашивала день за днем, когда и что с ним было, а хотела знать самое трудное: "Почему ты считаешь, что это хорошо, а это плохо, это правильно, а то - неправильно?"

После первых же вопросов он понял, что она знает о нем все, что могла знать, живя в Ташкенте, читая газеты, слушая радио и не пропустив ничего из написанного им с войны. Она не вспоминала его корреспонденции, но так, словно сама шла за ним по пятам все эти полтора года, почти без промаха спрашивала о том, что оставалось за бортом написанного, чего не разрешала ему писать все еще продолжавшаяся война. В какую-то минуту он даже представил себе, как война, словно лист бумаги, делится в

ее глазах на то, что вырезано им из войны для корреспонденции, и на то, что осталось со всех сторон, по краям вырезанного. Об этом, оставшемся, она и спрашивала. Но спрашивать так, как спрашивала она, можно было, только помня все, о чем он писал.

Он так и сказал ей.

- Нет, - сказала она, - я не все помню. Все читала, но не все помню. Но конечно, ты прав: я спрашиваю тебя о том, чего не читала. Мы ведь там, в тылу, тоже живем и тоже все кругом себя видим. Но не обо всем читаем: об одном пишут, а о другом - нет. Я понимаю, что во время войны иначе и не может быть, но ведь мы с тобой вдвоем. И я спрашиваю тебя не про военные тайны, а про тебя самого. Когда я думаю про тебя и про себя, мне кажется, что, если б мне вдруг велели написать про все, что я видела и слышала за эти годы, и про все, что я думаю - хорошее и плохое, - и про всех людей, которых я встречала, и про себя, про все, чего я боялась и не боялась, чему верила и не верила, и сказали бы, что все это напечатают и все будут это читать, я бы не согласилась. Я могла бы рассказать это только тебе одному. Почти все, может быть, даже рее. Наверно, и у тебя - тоже так?

Услышав это, он подумал о себе, что - нет. все-таки у него не совсем так, потому что его должность на войне, которую он старается исполнять настолько честно, насколько хватает силы воли, в сущности, состоит в стремлении держаться как можно ближе к той истине войны, которую он знает, и эта истина в конечном счете необходима другим не меньше, чем ему. Нет, с этим у него при его должности немножко посложней, чем у нее с ее мыслью: что было бы, если б ей вдруг велели про все написать! И все-таки в самом главном она была права. Он впервые за весь этот день подумал не только о том, что может сделать для нее он, а о том, что может сделать для него она. И дело не просто в избавлении от одиночества. С такой женщиной можно стать сильней, чем ты есть. И исполнять свою должность и храбрей, в упрямей.

Да, вот она, так называемая личная жизнь... А что такое личная жизнь? Употребляем слова, не вдумываясь в их смысл. Разве есть у человека еще какая-то другая жизнь, не личная, - безличная, какая? Потусторонняя, что ли? Если человек из малодушия не разделил сам себя на две мнимые половинки, то никакой другой жизни и вообще-то нет в природе, кроме личной.

Уже совсем стемнело, когда, словно насытясь до конца три мерой откровенности, с какой ей отвечал на ее вопросы, она заговорили о себе:

- Одно время я так похудела, что было самой противно смотреть на себя. А сейчас, я знаю, стала выглядеть немножко

лучше.

- Лучше всех на свете. Хотя, правда, похудела.

- Это потому, что я болела.

- Я знаю. - Он тихонько, словно там еще могло продолжать болеть, провел пальцами во длинному узкому шраму, оставшемуся у нее после операции аппендицита. - Мне сказала Зинаида Антоновна.

- Я слишком поздно попала к ним; не обращала внимания - болит и болит. Сначала похоронила маму. Говорят, что от сердца легкая смерть, но мама перед смертью мучилась. И сразу же заболел дизентерией Вася. А потом меня отвезли прямо с работы. Вот и все мин жалобы. - Он почувствовал, как она вдруг улыбнулась в темноте. - Ведь у военных принято начинать с этого: жалобы есть? Жалоб у меня больше нет, об остальном спрашивай сам. Если хочешь.

И хотя она сказала это тихо и просто, он почувствовал, как она напряглась в ожидания того, на что сама напросилась.

- Знаешь что, - он решил взять на себя то, что затрудняло ее. Прошлой зимой, приезжая с фронта в Москву, я бывал у женщины, для которой все это не много значило, так же как я для меня. Не хочу сказать этим о ней ничего плохого, да и о себе, пожалуй, тоже. Задним числом предпочел бы/, чтоб этого не было, но это было. И если ты ждала от меня, что я тебя спрошу о чем-то таком же, будем считать, что я уже спросил, а ты , ответила. Хорошо?

- Для меня даже слишком хорошо, - она благодарно пожала его лежавшую на ее плече руку, которую он не снимал, пока говорил все это. Не снимал, хотя был готов к тому, что она отодвинется от него.

- Я знаю, ты не любишь спрашивать, - не отпуская его руки, сказала она.

- Спрашивать - моя профессия. На войне я только и делаю, что спрашиваю - то одного, то другого, то об одном, то о другом. Спрашиваю, когда хочу, и спрашиваю" когда не хочу, но должен. Сам я знаю только сотую часть войны, остается или не знать всего остального, или спрашивать, другого выхода нет. Спрашивать - моя работа. Но когда я не на работе, ты права, не люблю спрашивать. Почему ты молчишь? - спросил он после долгого молчания.

- Думаю о том, как много времени понадобится, чтобы привыкнуть к тебе - не в этом смысле, - она прижалась к нему плечом" - а вообще. Иногда говорят, что самое страшное - привыкнуть друг к другу, а я хочу. Можно признаться тебе в одной глупости?

- Конечно.

- Пока я ждала тебя здесь, в Москве, мне несколько раз хотелось пойти и посмотреть хотя бы на окна квартиры, где ты живешь. Мы завтра утром пойдем к тебе. Я хочу увидеть, как ты живешь: какая у тебя комната, где что в ней стоит. Я даже несколько раз пробовала представить себе это.

- Завтра пойдем. И если захочешь, останемся там. У меня три комнаты. То есть не у меня, а вообще - три. Одна - Ксении, другая - дочери, третья моя. В ней нам и придется жить, пока мы не обменяемся на что-то другое, вместе с дочерью жили отдельно от нее - это уж как вы с ней решите.

- Ей уже семнадцать?

- Семнадцать.

- Ты не боишься, что все это будет длиться слишком большой неожиданностью?

- Что неожиданностью - не боюсь. Самое главное она уже знает из моего письма.

- Что она знает?

- Что я просил тебя приехать. - Все равно, все это будет очень трудно, - помолчав, сказала Ника. - Я хорошо представляю себе, как все это будет трудно - для тебя и для меня и, главное, для нее.

- Наверно. Думаю, что и твоему мальчику будет не просто со мной, особенно сначала.

- И все-таки с ним будет проще.

- Я не спросил тебя, как с твоим отцом? Все так же?

- Все так же. Уже получив твое письмо ездила к нему в Кзыл-Орду. Лежит у своей жены и мучается. При мне просил ее сдать его обратно в госпиталь. Но она, по-моему, скорей умрет, чем согласится. Наверно, все-таки это самое страшное, страшнее, чем когда просто убьют. Прости меня, но когда я боялась за тебя, думала и об этом. Не могла не думать.

- А я почему-то никогда не думал. Что могут убить - думал, а что останусь вот так, как он, калекой, - нет. Прости, пожалуйста, - добавил он, почувствовав неловкость сказанного.

- Что ж прощать, так оно и есть. Ты будешь совсем свободен эти дни?

- Совершенно!

- Обидно, но у меня эти дни, наоборот, будет сплошная беготня. Половина нашей костюмерной уже работает здесь для новых спектаклей, поэтому мне и удалось вырваться сюда так надолго. Сегодня я все утро была в театре; забежала поесть, и вдруг ваш Степанов звонит, что едет за мной. Я позвонила в театр и нахально наврала, что мне обещали достать сорок метров бязи

и надо срочно мчаться за ней, чтобы не упустить. Даже не знаю, как завтра выкручиваться с этой бязью.

- С утра поедем за ней. Будем добывать вдвоем!

- А где ее добывать? Ты знаешь? - рассмеялась она.

- Но где-то же она есть!

- Там, где она есть, мне ее как раз и не обещали.

- А мы поедем вдвоем и вырвем. Жалко, нет Гурского. Втроем с ним наверняка бы вырвали!

- Твой Гурский меня тронул. Делает вид, что он самый злой и самый умный, а на самом деле заботливый, как женщина, и добрый.

- Насчет - добрый, положим, зависит от того, когда и с кем, насчет злой - тоже, а насчет - самый умный - так оно и есть.

- А я чувствую себя дурой. Сколько ни думала, так и не придумала, как исхитриться, чтобы и завтра, и послезавтра как можно меньше бегать без тебя.

- У тебя была когда-нибудь собака? - спросил Лопатин.

- Никогда не было.

- На эти два дня появится. Хорошо, что сейчас лето и что я свободен. Сначала мы пойдем и добудем с тобой эту бязь. А потом, пока ты будешь работать в театре, я буду сидеть там в подъезде, курить, чесать лапой за ухом и ждать тебя. Завтра и послезавтра тоже. Только придется иногда кормить меня. С моей же помощью: банки с тушенкой, как это водится среди ученых собак, я открывать умею, жарить омлет из яичного порошка - тоже обучен.

Она смеялась, слушая, как он развивает свои, как он выразился, собачьи планы на будущее, и вдруг, вскочив с постели, не зажигая света, босиком побежала в соседнюю комнату - там звонил телефон.

- Сейчас будут допрашивать меня про эту проклятую бязь, - все еще смеясь, сказала она и взяла трубку.

- Да, здесь. Да, сейчас. Хорошо, повторю. - Он услышал, как она раздельно и медленно - говорит адрес: номер дома и квартиры. - Да, у вас правильно записан. Сейчас я его позову.

Когда она вернулась, он в темноте уже поднялся с кровати и натянул бриджи.

- Иди, тебя из редакции к телефону. Попросили проверить адрес.

- Товарищ Лопатин? - раздался в трубке незнакомый голос, очевидно, кого-то из новых, пришедших вместе с новым редактором.

- Да, слушаю вас.

- Генерал Никольский приказал срочно вызвать вас в

редакцию. Высылаем за вами машину.

- И так дойду, я недалеко, - сказал Лопатин.

- Уже высылаем. Приказано срочно.

- А что случилось?

- Не могу знать. Мне только приказано вас срочно вызвать.

- Хорошо, еду. - Он положил трубку.

- Может быть, я тебе успею подогреть чаю? - спросила Ника.

- Может, и успеешь. Спасибо.

- Я пойду на кухню, а ты зажги свет и одевайся, - сказала Ника. Думаешь, это надолго?

- Не знаю.

- А что случилось?

- Не знаю, - сердито усмехнулся Лопатин. - Может быть, с Японией война началась и вспомнили, что я был на Халхин-Голе. А может, приказ свыше срочно дать в номер двести строк именно о том фронте, с которого я вернулся. У нас никогда ничего заранее не знаешь. Словом, помогают нам с тобой привыкнуть друг к другу...

- Даже если тебе придется куда-то ехать, - говорила Ника, пока он, уже одетый, сидел на кухне и наскоро пил чай, - все равно тебе нужно сходить и показаться врачам. Дело не в ссадинах, они и правда пустяки, но ведь спина у тебя болит. Не хотела тебя огорчать этими разговорами, оставила бы до завтра, но я же почувствовала, что болит! И если ты куда-то поедешь, до этого надо сходить к врачам. Слышишь?

- Слышу. - Он допил последний глоток и встал. - Не волнуйся, скорей всего ровно ничего не случилось. Про Японию - это я так, дурака валял. А если засадят писать, пока не допишу, не встану, а как допишу - вернусь.

Он обнял ее, поцеловал и, открыв дверь на лестничную площадку, услышал, как там, внизу, дает нетерпеливые гудки машина. И, спускаясь по лестнице и слушая эти гудки, перестал злиться. Ну да,/понадобился, ну да, очередной редакционный пожар, который надо срочно гасить, заполнив на готовой полосе какую-нибудь дырку в двести строк. Это он тоже умел и потому, что умел, иногда и любил. Ну, сядет и за час-полтора напишет - не для вечности, а в номер. И вернется, ничего с ним не сделается Заврался от счастья, вот и ляпнул про Японию.

На этот раз в машине за рулем сидел знакомый по многим фронтовым поездкам, веселый и безотказный водитель Коля Шумов, цыган.

- Что, Коля? - садясь рядом с ним и захлопывая дверцу, спросил Лопатин. - Наверное, уже знаешь, зачем меня глядя на ночь вызвали? Ты всегда все знаешь.

Коля с места рванул машину и только после этого повернул к Лопатину большую курчавую голову, на которой еле держалась пилотка.

- Знаю. Гурского убили.

- Как убили? - тупо, словно его ударили, спросил Лопатин. - Не может быть. Откуда ты знаешь. - Еще продолжая произносить все эти бессмысленные слова, он уже понимал, что услышал правду.

- Со Степановым ездил на узел связи - пакет запечатанный для редактора, но Степанову еще и на словах сказали. А он по пути - мне.

- Когда же это?

- Сказали, что сегодня, рано утром. Всю дорогу до редакции Лопатин больше ничего не спрашивал. Сидел и молчал. Значит, когда сегодня здесь, в Москве, на аэродроме, Ника бросилась тебе на шею, Гурский уже был убит. Выходит, что последний раз в жизни ты видел его, когда он, стоя в "виллисе", прощально махал самолету своей пилоткой, которую собирался сменить на фуражку. И его слова: "Представь себе, как я б-буду хорош в ламп-пасах", - были последними, которые ты слышал. А когда вы полчаса назад, лежа в постели, мельком вспомнили о нем, - он уже давно лежал где-то там, убитый...

Лопатин подумал об этом с ощущением неясной вины, словно, если б они с Никой все время думали и говорили о Гурском, а не о себе, он мог бы остаться жив. Было чего-то, необъяснимо чего, стыдно, и Лопатин прошел прямо в кабинет редактора, не заходя к высунувшемуся из своей двери Леве Степанову, чувствуя, что лучше без предисловий, иначе не достанет сил для предстоящего разговора...

"Наверно, вызывают, чтоб вы заметку про него дали", - входя в кабинет, вспомнил он слова водителя, на которые по дороге не ответил. Но е первых же слов редактора понял, что вызван не за этим. Редактор ходил по кабинету и, остановившись при скрипе двери, повернулся к Лопатину. Он выглядел расстроенным. Здесь, в редакции, это была первая для него смерть.

- Василий Николаевич, с прискорбием хочу вам сообщить...

- Мне уже сказали, товарищ генерал, - прервал Лопатин редактора, вдруг забыв его имя-отчество

- Тогда я вам зачту телефонограмму, которую передал для нас по ВЧ начпоарм через узел связи Генштаба.

Генерал вынул из кармана кителя очки и, взяв с конторки лист бумаги, стал читать:

"Сегодня, восемнадцатого августа, пять сорок пять, находясь в составе разведроты на плацдарме территории Восточной Пруссии,

при обратной переправе через Шешупа погиб результате смертельного осколочного ранения военный корреспондент "Красной звезды" Б. А. Гурский Как бывший редактор "Красной звезды" обращаюсь вам личной просьбой выслать представителя редакции участия захоронении вручения личных вещей завершения на месте незаконченной корреспонденции "Наконец". Желательно Лопатина. Вопрос посмертном награждении поставлен мною Военном Совете Армии. Начпоарм Девятнадцатой".

- "Наконец", очевидно, название его корреспонденции, - сказал генерал, дочитав телеграмму.

- Очевидно, - сказал Лопатин. Обалдев от горя, он только посредине чтения, услышав слова "как бывший редактор", понял то, что должен был бы понять сразу, после первого же упоминания о начпоарме, что телеграмма от Матвея и Гурский погиб у него в армии. К нему поехал, у него и погиб.

- Что вы мне скажете, товарищ Лопатин? - спросил генерал, очевидно, по-своему, по-другому, чем это было на самом -деле, поняв обращение Лопатина "товарищ генерал".

- Надо завтра ехать, то есть лететь, - поправил себя Лопатин. - Если вы дали согласие.

- На такое личное обращение ко мне моего предшественника я, естественно, не мог не дать согласия. Место на самолет до штаба фронта, по моей просьбе, уже оставлено за нами. Речь о другом - кому персонально лететь.

- Речь-то обо мне, Михаил Александрович, - вдруг вспомнив имя-отчество генерала, сказал Лопатин. - Мне и лететь.

- Есть и другие кандидатуры Их уже обсуждали. Но отложили решение до вашего прибытия. Вы лишь сегодня вернулись с фронта и, как я уже рекомендовал вам, должны сходить к медикам. Мой предшественник, давая телеграмму и называя вас, был, наверно, не в курсе дела о вашем здоровье.

Услышав это и вспомнив Матвея, Лопатин внутренне усмехнулся: если успел увидеть Гурского, скорей всего в курсе. Но для такого, как он, это ничего не меняет.

- Не горячитесь, Василий Николаевич. Осведомлен о вашей дружбе с покойным и от него самого, и от других, но мертвого не воротишь. А здоровье у нас с вами одно на всю жизнь, тем более когда мы уже немолоды. - Генерал, кажется, принял молчание Лопатина за колебание.

Но Лопатин не колебался, просто думал как все это будет трудно и тут, и там. И может быть, тут трудней, чем там.

- Вы его матери - она здесь, в Москве, - еще не сообщали? - спросил он.

- Думали и решили, что как раз это лучше сделать вам.

"Это - мне, а то - кому-то другому? Не получится, Михаил Александрович. - Лопатин слишком хорошо понимал неотделимость одного от другого. Как так, прийти к его матери, сказать, что ее Боря погиб, а потом начать объяснять ей, что хотя похоронить его просили тебя, но полетишь к нему не ты, - как повернется на это язык?" - подумал он, но вслух сказал совсем другое:

- Я рассматриваю эту телефонограмму как личное обращение вашего предшественника не только к вам, но и ко мне. И в том, что касается меня, прошу оставить решение за мной.

- Ну что ж, быть по сему, летите! - Генерал вздохнул. Судя по выражению его лица, ему все это не нравилось, но логика, стоявшая за словами Лопатина, оказалась сильней.

- В его незаконченной корреспонденции я там, на месте, разберусь, сказал Лопатин. - Что потребуется, допишу и передам по военному проводу.

- С этим можете не торопиться, это дело второе, - сказал генерал.

"Хороший ты человек, но не газетчик, - подумал Лопатин. - Не понимаешь, что это как раз и есть - дело первое".

Он вспомнил о Нике, о том, что через несколько минут придется звонить ей, и спросил, известно ли, когда завтра пойдет самолет?

- Известно. Мне доложили, что в семь ровно.

- И еще один вопрос: когда я буду у его матери, вправе ли я сказать ей до вашего имени, что впоследствии, если позволит дальнейшее продвижение наших войск и общая обстановка на фронте, будут приняты меры, чтобы она могла посетить могилу сына. Можно ее этим обнадежить? Больше нечем!

- В принципе, разумеется, - без колебаний сказал генерал, и Лопатин, прощаясь с ним, еще раз подумал, что он хороший человек.

Лева Степанов сидел в своей комнате и ждал Лопатина.

- Летите? - спросил он.

Лопатин кивнул, сел к столу и, сняв телефонную трубку, чтобы позвонить Нике, остановился и поглядел на Леву:

- Вот на этот раз действительно - выйди. Будь другом, оставь меня одного...

21

Он шел к матери Гурского, плохо представляя себе, как все это будет. Вот он войдет, поздоровается с ней и скажет, А что потом?

Уже трижды за войну - в сорок первом и два раза в сорок

третьем - ему приходилось вот так приходить в дом и говорить, что его нет - про человека, которого считали живым.

В сорок первом он пошел сам, потому что сам видел, как это было, и, кроме него, некому было прийти и рассказать.

А в сорок третьем - он оба раза сам не был свидетелем происшедшего и знал убитых и их, уже успевших вернуться из эвакуации в Москву, жен не лучше, чем их знали другие люди в редакции, но именно его - в одном случае редактора а в другом товарищи - попросили первым пойти и сказать. Почему-то считали, что он сделает это лучше других. И хотя он сам так не считал, но это принадлежало к числу тех просьб, в которых не отказывают. И он приходил и говорил и хорошо помнил все, что происходило после этого. Но все те три раза это были молодые женщины, у которых кто-то оставался: дети, отцы, матери, братья, сестры... У них в жизни было еще что-то, кроме вдруг переставшего быть. А сегодня он шел к старухе, которой предстояло сказать, что она лишилась всего, что у нее было, и ей больше не для кого и не для чего жить.

Он не мог позвонить ей в двенадцать ночи и заранее сказать: "Сейчас я к вам приду!" - потому что она неминуемо бы спросила:, "Что случилось?" Звонить ей было нельзя. Оставалось прямо идти к ней.

Полторы недели прожив у нее этим летом, он знал, что она ложится по-всякому - то раньше, то позже, и сейчас может и спать, и не спать. Она никогда не Засыпала, не послушав вечернего сообщения Информбюро, но иногда "после этого еще ходила по комнате и что-нибудь прибирала или перебирала, а иногда, если с утра ходила по магазинам и уставала от очередей, слушала радио, улегшись в постель, и, дослушав, выдергивала в темноте вилку репродуктора и сразу же засыпала.

- Боря смеется, что у меня детский сон, - говорила она про сына.

Да, так говорил про нее ее Боря, и говорил не только ей, говорил и будившему его Лопатину вчера утром, в штабе фронта:

- У меня зд-доровая наследственность п-по материнской линии: не сп-пать так не сп-пать, а сп-пать так спать!

Но чем ближе Лопатин подходил к ее дому, тем меньше мог представить себе, что она спит сейчас тем детским сном, про который говорил ее сын.

Укоренившаяся за войну привычка - задним числом связывать смерть людей и с их собственными, и с чужими предчувствиями - не миновала и его. Ему казалось, что мать Гурского не может сегодня спать. Но, оказывается, она спала. Он несколько раз нажимал на тот из звонков, который звонил не в коридоре, а

прямо в ее комнате, прежде чем она открыла ему, заспанная, в бумазейном халате поверх ночной рубашки и с поразившей его улыбкой на лице, - такой, словно, открывая среди ночи дверь после его нетерпеливых звонков, она ждала чего-то хорошего, а не ужасного. Ее лицо не изменилось и тогда, когда она увидела его. Прикрыв дверь и взяв Лопатина за руку теплой от сна рукой, она молча потянула его за собой по коридору, длинному, полутемному, с одной тусклой экономной лампочкой под самым потолком. Она шла и тянула его за собой, заботясь, чтобы он не нагремел в тишине своими сапогами и не разбудил кого-нибудь из соседей, и отпустила его руку, только когда они вошли, в комнату.

В этой хорошо знакомой ему комнате было две лампочки; одна притенённая старым зеленым жестяным абажуром - на столе, другая - яркая, без абажура - под потолком посреди комнаты. И сейчас горела как раз эта яркая, и все было так хорошо видно, что хуже не придумаешь.

Она посадила его в мягкое кресло у стола, а сама продолжала стоять, все еще улыбаясь.

- Я спросонок, как глупая, подумала, что это вдруг вернулся Боря, а это вы! Вы даже не представляете, как он за вас беспокоился: как это можно было так долго не отвечать, когда они вас сюда вызывали? Боря так старался, чтоб они поскорей вас вызвали, а вы ничего им не отвечали!

Она выжидающе посмотрела на него, и он вдруг понял, что она просто-напросто не может представить себе, что с только что улетевшим от нее сыном успело что-то случиться, а ждет, что Лопатин, вернувшийся оттуда, куда улетел ее сын, сейчас что-то расскажет ей о нем или передаст от него, и ради этого и появился здесь так поздно.

- А может быть, вам негде сегодня переночевать? - Она продолжала выжидающе смотреть на Лопатина.

Оказывается, она подумала и об этом. Успела перебрать в уме все причины его появления, кроме той, единственной, которая привела его сюда. И в этом самообмане было что-то до такой степени невыносимое, что его заколотила внутренняя дрожь, и он, резко поднявшись, схватил ее руки в свои. И в то самое мгновение, когда он вскочил и схватил ее за руки, ее лицо из улыбающегося стало ужасным, еще более ужасным от того, что она ужаснулась, еще не перестав улыбаться.

Как только он поднялся и взял ее за руки, она поняла, поняла все сразу, не дав ему времени совершить ту нелепость, которую имеют в виду, когда говорят, что кого-то к этому надо готовить, как будто к этому можно готовить.

- Борю убили, - сказал он, сжимая ей руки и глядя прямо в ее остановившиеся ужасные глаза.

- Я так и знала, - еле слышно сказала она и, хотя еще полминуты назад ничего не знала, сказала правду, потому что все, о чем она перед этим говорила и думала, для нее уже навсегда перестало существовать Теперь для нее существовало только то, с чем он пришел и что сказал ей Борю убили!

Он все еще держал ее за руки, готовый подхватить, успеть это сделать, если ей станет плохо, но она продолжала стоять перед ним, не выражая признаков физической слабости и глядя на него помертвевшими, сухими, без слез, глазами. Потом голова ее стала медленно покачиваться то влево, то вправо, как у чем-то очень удивленного человека, и внутри нее, где-то в глубине, возник тихий стон. Чуть слышно постанывая и покачивая из стороны в сторону головой, она еще минуту или две стояла перед Лопатиным, а потом освободила из его рук свои руки и опустилась в мягкое кресло у стола - не в то, в которое сначала, когда он пришел, посадила его, а в другое, напротив, в свое. Он стоял перед ней, не зная, что дальше говорить и делать, а она, не меняясь в лице, все с тем же тихим, нескончаемым стоном сидела и удивленно покачивала головой. Потом внимательно оглядела себя, поправила рукой волосы и, наклонившись, застегнула на бумазейном халате самую нижнюю, оставшуюся незастегнутой пуговицу. Сделала это так, словно только что проснулась и вспомнила, как она выглядит при чужом человеке, и, посмотрев снизу вверх на Лопатина, вдруг скорчилась в кресле и безутешно, бессильно, по-старчески уродливо и жалко зарыдала.

Люди плачут по-разному: одни - почти не изменяясь, а другие - и это чаще всего самые сильные люди, - заплакав, перестают быть самими собой, изменяются до непохожести, почти до неузнаваемости. Их рыданья как помешательство, как долгое или короткое беспамятство, всю меру которого они и сами потом не сознают до конца.

Мать Гурского, такая, какой ее знал до сих пор Лопатин, несмотря на старость, была человеком, переполненным жизненной силой. Но сейчас вся эта сила как бы обернулась вовнутрь и обрушилась на нее самою. Она рыдала долго и страшно, отмахиваясь руками от валерьянки, которую разыскал Лопатин и которую она держала в доме не для себя, а для других. Она чуть не выбила из его рук стакан с водой, который он пытался ей подать, и с силой оттолкнула его руку, когда он протянул ей платок. И он растерянно стоял над ней, потеряв представление о том, сколько это продолжается.

Не говоря ни слова, она колотилась в рыданиях, то поднимая

голову, то ударяясь ею в колени, и вдруг, в одно мгновенье, все это кончилось так же сразу, как началось. Она встала и вышла, не закрыв за собой двери, а он, не зная, что ему делать, стоял и слушал ее шаги, как она идет по коридору в тот конец, где была кухня. Потом с минуту ничего не слышал, колеблясь идти или не идти вслед за ней, и снова с облегчением услышал, как она идет обратно.

Она вернулась в комнату с чайником в руках, закрыла за собой дверь, не глядя на Лопатина, воткнула вилку стоявшей на столе электрической плитки, поставила на нее чайник, подошла к буфету, взяла там две чашки и два блюдца, порылась в ящике, достала две чайных ложки, положила их на блюдца, поставила блюдца и чашки на стол, вернулась к буфету, достала из него сахарницу и тоже поставила на стол. Во всем, что она делала, была спасительная привычка - жить. И, только доделав все до конца, словно это было самое главное и необходимое для нее, она села напротив Лопатина и сказала:

- Ну, вот!

- Я узнал из телеграммы, меня вызвали в редакцию и показали телеграмму.

Она ничего не ответила, молчала и слушала, и пока он пересказывал ей телеграмму, и пока объяснял, как они встретились там на фронте, с ее сыном, и куда ее сын собирался поехать, и как, провожая Лопатина на аэродром, он в последнюю минуту стоял в "виллисе" и махал над головою пилоткой.

Его голос дрогнул, а она все сидела и молчала, не глядя на него. Сидела с сосредоточенным лицом и закрытыми глазами, - кто знает! - может, пытаясь представить себе все это, такое несовместимое с тем, что ее сына уже нет.

И Лопатин, глядя на нее, подумал, что чем короче предисловие к смерти, тем страшней послесловие к ней. Мгновенный ужас неожиданности беспощадно растянется потом на годы воспоминаний, Да и чем другим жить теперь этой, сидящей перед вит. старой женщине? Привычкой говорить людям "здравствуйте" и "до свиданья", привычкой утром ходить по магазинам и стоять в очередях, а вечером сидеть и пить чай, ночью ложиться, а утром вставать? Привычкой, услышав звонок, идти по коридору, чтобы открыть дверь, за которой никого нет и не будет, - потому что, если кто-то и звонят там, за дверью, все равно это - кто-то, а не ее сын.

Он попробовал представить, что это не с ней, а с ним, что это у него никого больше нет, что это ему ничего больше не нужно. И уже ответив себе, что если бы так с ним, наверно, лучше пулю в лоб, подумал про отца Ники. Ну а если вот так, как ее отец - с

перебитым позвоночником, с отнявшимися руками и ногами, - тоже лучше пулю в лоб? Может быть, да. А в то же время, как можно заранее знать это о себе - не таком, какой ты есть, а таком, каким можешь оказаться? Известно, что ты думаешь об этом сейчас; но откуда знать, что ты будешь думать об этом тогда? Человек может представить себе заранее все, чего он может лишиться, но не может представить себе заранее, какую тогда цену приобретет для него то, что у него останется.

- Я хочу поехать к нему, - сказала мать Гурского. - Не знаю, как они, но про вас я знаю, что вы это сделаете для меня в память Бори. Вы ничего не знаете, кроме того, что уже сказали мне? Если знаете что-нибудь еще, не бойтесь, скажите. Он покачал головой.

- Все, что узнаю, расскажу вам, когда вернусь оттуда.

- А когда вернетесь?

Он уже сам прикидывал это в уме, но, понимая, как она его будет ждать, на всякий случай добавил два дня:

- Дней через семь-восемь. Я улечу рано утром, но завтра к вам придут наши товарищи из редакции.

Она отчужденно махнула рукой и с минуту молчала, уйдя в свои мысли, и ход их, очевидно, привел к воспоминанию о том, что он улетает и что это будет совсем скоро, через несколько часов. Она забеспокоилась, встала, открыла и закрыла крышку на все еще не закипевшем чайнике, сказала, что плитка слабая, Боря хотел переменить спираль, запнулась, опустила голову и, пересилив себя, посмотрела на Лопатина.

- У вас все хорошо и ночевать есть где, да?

- Да.

- Боря мне говорил, что у вас теперь должно все стать на свое место, как у людей. Он беспокоился, что ей придется, не дождавшись вас, уехать. Она не уехала?

- Нет, не уехала, - сказал Лопатин, тяготясь этими вопросами и удивляясь тому, как у нее хватает на них добра и силы.

- Так идите к ней. Зачем вам этот мой чай? Идите, идите, - повторила она, когда ей показалось, что он хочет возразить. - Другой бы на вашем месте, раз он сам улетает, попросил зайти ко мне кого-то другого, а сам бы пришел только потом, когда вернулся. Это вы просто очень любите Борю, не меньше, чем он вас, - поэтому и пришли ко мне. А теперь идите. Все равней я сижу с вами, а сама даже думать ни о чем не могу. Сейчас вот думаю о плитке, что надо ее выключить, а то потом забуду. - Говоря это, она выдернула вилку из розетки. - И вспоминаю, погасила я свет на кухне, когда наливала воду в чайник, или нет. А больше ни о чем не могу думать. Вот вас провожу - и проверю, погасила или нет.

Она пошла рядом с Лопатиным по коридору до наружной двери, и когда он перед уходом нагнулся и поцеловал ей руку, потянулась, словно хотела обнять его, но не обняла, может быть, боялась снова разрыдаться.

Дверь за ним захлопнулась, и он, уже переходя улицу, взглянув назад, на черные сейчас окна этого знакомого дома, вспомнил невеселую шутку Гурского: если что-нибудь случится с Лопатиным, он, Гурский, удочерит его дочь, а если наоборот - то пусть, как он выразился, "тебя уд-дочерит моя м-мама".

Тогда Лопатин только усмехнулся странности этих слов Гурского, а сейчас подумал, что в глубине их была закопана потаенная просьба: не забыть о его матери, если с ним вдруг стрясется то, что стряслось. Может быть, и так. Гурский принадлежал к числу людей, не. боявшихся ни думать, ни говорить о смерти - ни о своей, ни о чужой, и любил повторять, что человеку, который никак не хочет примириться с безошибочной мыслью, что он рано или поздно умрет, логичней вообще не появляться на свет божий.

"Что я смогу для нее сделать? - подумал Лопатин о матери Гурского. Да, когда вернусь оттуда, что-то смогу, конечно. И все, что смогу, сделаю и сразу, и потом, всегда, когда это понадобится. Ну а сейчас? Единственное, что могу до своего возвращения, - это попросить Нику, как бы она ни была занята, выбрать время и прийти сюда завтра, а может быть, и послезавтра. И она это, конечно, сделает, - подумал он, вспомнив, как Ника, когда он сказал ей по телефону о гибели Гурского, горестно вскрикнула, а когда он сказал, что из редакции пойдет прямо к матери Гурского, ответила: "Конечно. И позвони мне, если тебе покажется, что я могу чем-то помочь, я же все-таки женщина..."

"Да, ты все-таки женщина! - подумал Лопатин. - И сидишь там и ждешь меня, зная и все, что произошло, и всю тяжесть этого для меня, но еще не зная того, что не захотел и не смог сказать тебе по телефону, когда звонил из редакции. Ты не знаешь, что у iгас с тобой уже нет больше ни двух, ни даже одного дня, что я улетаю туда, где его убили, и что до этого нам осталось быть вместе всего три часа, и даже не три, а еще меньше".

Он шел но ночной Москве, все ускоряя шаги, шел, удрученный и тем, что произошло, и тем, что предстояло. Он не сетовал на себя за то, что не сказал ей всего сразу: бессмысленно объяснять по телефону то, что дай бог объяснить с глазу на глаз. Он заранее знал, что скажет ей правду, что сам настоял на том, что должен лететь, и если бы не настоял, вместо него полетел бы кто-то другой. Но если бы в сложившихся обстоятельствах туда

полетел кто-то другой, то и здесь, в Москве, вдвоем с нею, остался бы другой человек, а не -он. А он не хотел становиться другим, и это и предстояло ей объяснить, заранее понимая, что это будет не так-то просто. И если отпуская его, у нее хватит силы подавить в себе чувство женской обиды, то хватит ли ей этой силы на то, чтобы подавить в себе страх? Людям в таких случаях свойственно представлять себе, что там, где вчера убили его, завтра могут убить тебя. Он зная это по себе; шел я думал: чем черт не шутит - на войне иногда все хорошо, хорошо, а потом вдруг - одно к одному... Мысль не новая, но трудная, когда идешь к женщине, от которой уезжаешь и которую, вопреки собственному страху, хочешь убедить, что ей не надо за тебя бояться.

С этой мыслью он шел к ней. Но разговор начался с другого, потому что она сразу стала спрашивать про мать Гурского - не сделалось ли ей плохо и предупредил ли он кого-нибудь из соседей по квартире, чтобы они прислушивались и готовы были помочь ей.

- Она не из тех, кого отпаивают валерьянкой, - сказал Лопатин. - Хуже, чем было, уже не будет. Такое чувство, что пришел и убил ее. Что может быть хуже этого? В четвертый раз за войну вот так прихожу - и говорю. Даже все свое собственное как провалилось куда-то! Словно сам уже ничего не чувствовал, а только через нее. Не знаю даже, как тебе объяснить это.

Но она, видя его измученное лицо, не стала просить его еще что-то объяснять ей, а только сказала, что завтра пойдет к матери Гурского вместе с ним.

- К сожалению, не получится, - сказал он. - Если сможешь завтра сходить к ней, будет хорошо. Если и послезавтра - еще лучше. А вместе - не выйдет. Я утром улечу туда, надо похоронить его, привезти его вещи и дописать то, что он начал и не кончил, так что придется лететь.

- Когда? - спросила она.

И он по ее лицу понял, что, хотя она совершенно не ожидала услышать то, что услышала, задавать вопросы - действительно ли ему нужно лететь туда и почему должен лететь непременно он, - задавать все эти вопросы, к которым в былые времена приучила его жизнь с Ксенией, она не будет. Не будет тратить на них ни времени, ни сил - ни своих, ни его.

- Самолет в семь, - сказал он - Но это далеко. Я полечу вместе с фельдъегерями, с того аэродрома, с которого они летают, и тебе нельзя будет туда ехать. Я в четверть шестого пойду от тебя в редакцию, там в половине шестого будет ждать машина. Оттуда и поеду.

- А почему от меня в четверть шестого, - спросила она. - Ну, туда, на аэродром, нельзя, но до вашей редакции-то можно?

- Можно, но.

- Что - но? На сколько ты туда полетишь?

- С дорогой - на пять, самое большее на шесть дней, - сказал он то, что в действительности думал. - Вещевой мешок не возьму, возьму только чемодан, который здесь. Можно бы взять поменьше, но тогда пришлось бы заходить домой. Правда, там, дома, надо бы сделать кое-что еще, но жаль терять время.

- А я тебе и не позволю его терять, - сказала она.

- Да, конечно, - сказал он. - Верно. Но я не про чемоданы...

Он подошел к подоконнику, где лежала его полевая сумка, а в ней последняя тетрадка дневника. После записи про Ефимова в ней оставалось еще с десяток чистых страниц, а в его правилах было дописывать тетради до конца, до корки; но на этот раз он изменил своим правилам, вытащил из сумки тетрадь и отдал ее Нике.

- Это мой военный дневник. Все прежние лежат там, у Гурского. Раньше лежали у редактора, а потом редактор, когда уехал, отдал ему. Пусть там и лежат, пока я не вернусь. А эту, чтоб мне не возить ее еще раз туда-сюда, возьми и спрячь где-нибудь здесь, у Зинаиды Антоновны, до своего возвращения. Когда ты вернешься, я уже буду в Москве- и сразу вас встречу и повезу к себе... Что ты думаешь делать с вашим ташкентский жильем? Будешь продавать его?

Он говорил с ней именно так и об этом - не только потому, что об этом тоже надо было поговорить перед тем, как они снова расстанутся, но и потому. Что хотел, чтобы она побольше думала о делах, которые остаются на ее долю и здесь, и в Ташкенте, и поменьше о нем и его поездке.

- Продать - не купить. Еще не знаю. Там сама уже думала об этом, а сейчас - с тобой - даже не хочу об этом ни думать, ни говорить, - сказала она, сжимая в руках его тетрадку. - Куда же мне положить ее здесь? Так, чтобы... - Казалось, -это больше всего беспокоило ее. - Ага, знаю. Хорошо. Заверну во что-нибудь и зашью кругом стежками, ниткой, потому что клея здесь нет, и надпишу Зинаиде Антоновне, чтобы она не трогала, что это твое. Не беспокойся, не пропадет. Может, хочешь оставить что-то еще?

- Не", больше ничего не хочу.

- Есть чай. Я два раза подогревала.

- Ты знаешь, ничего не хочу, даже чаю. Он и в самом деле ничего не хотел и стоял в странной растерянности. На какое-то время его собственное горе, придавленное другим, еще большим горем, ушло глубоко на дно, а сейчас медленно всплывало

обратно.

- Ничего не хочу, - повторил он.

Они стояли в спальне Зинаиды Антоновны, около прикрытой сверху, но неубранной кровати; из-под одеяла были видны подушки и краешек простыни.

Она повернулась и посмотрела на те старинные, с маятником, часы, которые - сначала при свете, а потом в темноте - отсчитывали им сегодня время. Сейчас в комнате горел свет, и на часах было ровно три часа ночи.

- Ляг, - сказала она. - У тебя есть целых два часа. Разденься и ляг. Или ложись одетый, если не хочешь раздеться, я тебе что-нибудь подложу под сапоги. Ляг и попробуй хоть немного доспать. На тебе лица нет. Я еще никогда тебя таким не видела. Но все-таки лучше разденься. Тебе, конечно, кажется, что ты не заснешь, но, может быть. ты заснешь. Все-таки два часа. Раздевайся и ложись. А я пойду и налью тебе чаю. Сейчас тебе кажется, что ты не хочешь, а через пять минут ты захочешь. Я сейчас принесу, поставлю здесь, рядом на стуле, и ты выпьешь.

Так, ни о чем не спрашивая и не заставляя его объяснять того, что он собирался объяснять, пока шел к ней, она мягко, но властно, по-своему, распорядилась теми двумя часами, которые оставались на' их долю.

И он, сидя на кровати и устало, из последних сил стаскивая через голову гимнастерку и бросая ее рядом с постелью, прямо на пол, вместе с ремнем и пистолетом, подумал, как все-таки нужно человеку быть не одному, хотя бы не всегда, хотя бы редко, хотя бы в такие минуты...

22

Лопатин был рад, что летит с фельдъегерями; самолеты фельдсвязи редко задерживались в пути.

Но в одном из моторов потекло масло, и пришлось сесть почти в двухстах километрах от штаба фронта на аэродром, где стояли бомбардировщики.

Фельдъегеря выцыганили у командира авиационной дивизии его личный У-2, воткнулись в него вдвоём, потому что возить почту Генштаба в одиночку не положено, и улетели в штаб фронта. А Лопатин остался на аэродроме. Посчитав, что если У-2 за три часа обернется, то, пожалуй, хватит светлого времени и на второй полет, он попробовал подъехать с этим к командиру дивизии, но полковник и слушать не захотел.

- Если и хватит, что ж, по-вашему, отдай жену дяде, а сам живи с другой? Прикажете бомбардировщик поднимать, если мне вдруг самому лететь на свои точки? После двух месяцев наступления с подачей горючего знаете как? Сегодня за ночь в

один из полков так и не подвезли, не успели, пришлось с утра докладывать: два полка подниму в воздух, а третий - нет. Как у вас в таких случаях, тоже матерят?

- Ну, если и не матерят, - сказал Лопатин, - то что-нибудь в этом духе...

- У вас что-нибудь, а у нас в натуре. Не скажу, что тылы плохо работают, нам сверху видней, - машины по всем дорогам взад и вперед, как муравьи! Кажется, ползут, а на самом деле жмут, как могут, днем и ночью. На развилке к нам два "студебеккера" валяются. Полотно дороги высокое, - один заснул, другой с ходу на него, и оба - по три переворота? Там же и схоронили, - за рулем засыпают. Нас матерят, мы материм, а что сделаешь, когда уже полтыщи километров позади себя оставили...

Еще немножко поговорив и отведя душу, полковник спросил у Лопатина, как он думает добираться в штаб фронта.

- Как выйдет - на перекладных. Шоссе рядом, пойду голосовать,

- Тогда хотя бы "виллис" вам дам, подбросить до шоссе, - сказал полковник. - Идущим к фронту автоколоннам останавливаться не приказано. Но если с "виллиса" проголосуете - скорей притормозят!

Через десять минут Лопатин уже был на шоссе и голосовал с развернувшегося на обочине "виллиса".

Первая колонна шедших в сторону фронта крытых брезентами машин не остановилась, но вскоре появилась вторая, груженная снарядными ящиками. Головная машина притормозила, из кабины высунулся пожилой лейтенант с интендантскими колесиками на мятых полевых погонах.

- Почему задерживаете? - сердито спросил он.

Лопатин, заранее доставший предписание и удостоверение личности, протянул их лейтенанту, объяснив, что просит подкинуть его до рокады Гродно - Каунас, а если свернут раньше - до того места, где свернут.

- Хорошо, - быстро, но внимательно посмотрев документы, сказал лейтенант и громко, как на плацу, гаркнул: - Никифоров!

Из третьей от головной машины выглянул водитель.

- Посадите майора! Быстрей, не задерживайте! - Это было сказано уже Лопатину, и прежде чем он успел добежать с чемоданом до третьей машины, головная уже рванулась с места.

Он вскочил на подножку, кинул в ноги чемодан и на ходу захлопнул дверцу.

По-разному ему доводилось въезжать в войну: и привилегированно, сидя за спиной у разговаривавшего или спавшего начальства; и самостоятельно, на переднем сиденье

редакционной "эмки", с картой в руках, чтоб не заехать к немцам; и вот так, на перекладных.

Водитель, небритый молодой солдат, намертво вцепившись в баранку и неотрывно глядя в задний борт шедшей впереди машины, за первые полчаса ни разу не взглянул на Лопатина. Потом, разогнувшись и поерзав по спинке сиденья занемевшей спиной, повернулся и спросил:

- Вы что, с нашей части, товарищ майор?

- Нет, не с вашей.

- А я думал, с нашей. А то наш лейтенант - кто ни голосует - никого не берет. Не останавливается. И нам запрещает. Вплоть до трибунала. Вам куда надо-то?

- Если доедете, то до рокады Гродно - Каунас.

- Нам еще дальше, - водитель так исступленно зевнул, что Лопатин вспомнил те два, валявшихся под откосом, исковерканных "студебеккера".

Первые два часа они ехали еще при свете дня. Сначала грело солнце, потом прошел дождь, и дорога стала скользкой.

Отчасти по привычке, но больше, чтобы не думать о другом, о своем, Лопатин пытался разговорить водителя. Но тот оказался неразговорчивым, отвечал односложно: про харчи - что харчей хватает, но все больше всухомятку; про курево >"р что оно то есть, то нет, сейчас есть; про дороги - что дороги терпимые, видали и похуже. Про недосып Лопатин не спрашивал, и так было ясно, что он-то больше всего и мучит.

Когда стемнело, поехали с подфарниками и через час надолго застряли, догнав шедшую впереди автоколонну.

Лопатин было подумал, что это пробка, но оказалось, что через перекресток, загородив путь, перемещалась на тягачах тяжелая артиллерия.

Сразу же, как остановились, водитель навалился на руль и заснул.

Лопатин вылез из машины и. закуривая, ˆслышал рядом с собой голос:

- Не гасите, прикурю.

И при свете догоравшей спички увидел лицо начальника колонны - старое и усталое.

- Тяжело вам достается. - Лопатин ожидал не столько ответа, сколько подтверждения. Но подтверждения не последовало.

- Почему нам тяжело? - сказал лейтенант. - Нам как раз легко. Немец не бомбит, за месяц всего под две бомбежки попали: один убитый, три раненых все потери! А когда без потерь - разве это тяжело? Тяжело, когда потери! Это там тяжело. - Лейтенант мотнул головой в ту сторону, куда они ехали. Там еще не были,

только едете?

- Был.

- Тогда вам самому все ясно. Писать чего-нибудь едете?

Лопатин кивнул, готовясь услышать то, что приходилось выслушивать уже много раз за войну: про одно вы, корреспонденты, пишете, а про другое от вас не дождешься, например, про то, как люди день и ночь гонят на передовую снаряды, а обратно везут раненых...

Но, оказывается, лейтенанта беспокоило совсем другое.

- Ходил в голову колонны, - сказал он, - думал, уговорю, чтоб пропустили, и слушать не хотят! Как так - боевая часть и будет нас ждать, пропустит сквозь себя нашу автоколонну! Тут мы ждем, а там нас ждут! Без снарядов много не навоюешь! Будь ты полковник и ставь меня тут по стойке "смирно", а когда там останешься в бою без снарядов, без них немца по стойке "смирно" не поставишь! Сиди и жди, пока не подвезем"

- Кем вы на "гражданке" были? - спросил Лопатин, понимая, чти лейтенант в таком возрасте только и может быть с "гражданки".

- Тем же, кем и здесь, - сказал лейтенант, - автобазой заведовал на Магнитке. Двести автомашин имел. До войны, конечно, сейчас там и половины этого нет. К тому же рухлядь - .недавно письмо от товарища получил. Когда просился на фронт, считал, что еду куда тяжелее, а вышло - поехал куда легче. Так из этого письма понял. Пойду еще раз вперед, погляжу, как там. Он бросил окурок на землю, затоптал и пошел вдоль машин в темноту, в грохот продолжавших двигаться тягачей.

Лопатин тоже докурил, влез обратно в машину, захлопнул дверцу и привалился поудобней в угол, надеясь заснуть. Но сон не шел. "Да, - подумал он, - слово одно на всех - "война", а судьбы на ней - ох какие разные: у кого-то несравнимо тяжелей, а у кого-то несравнимо легче, если только рассуждать и о ней, и о себе по совести, как этот лейтенант. Хотя есть среди нас и такие, что - война еще не кончилась, а уже сидят и врут друг другу. Пекут в четыре руки общие пироги славы, пекут и делят, пекут и делят. А тем временем под их разговоры еще кого-то нет и еще кого-то..."

Он был зол оттого, что не мог заснуть, и все острей чувствовал боль потери, навстречу которой ехал.

Вот так после операции, когда отходит наркоз, начинает все больней и больней тянуть в ране. Только там тело, а тут душа.

Первого убитого, которого знал при жизни, хоронил на Халхин-Голе. Второго проводил на тот свет на финской. А потом, на этой, пошло и пошло и тех, кого знал до войны, и тех, кого узнал на войне, и тех, с кем ездил, и тех, к кому ездил...

Он вспомнил, как втроем с Велиховым и шофером поднимали на Симферопольском шоссе с залитого кровью асфальта и клали в машину то, что осталось от дивизионного комиссара Пантелеева. Они - за туловище и оставшуюся целой левую руку, а он, подхватив под колени, чувствуя теплоту еще неостывших ног.

А Гурский тогда, осенью сорок первого, встретив его в Москве, в редакции, расспрашивал подробности - как все это было там, в Крыму, с Пантелеевым...

Всякий человек чего-нибудь да не успел при жизни. И когда его жаль, то жаль и за это. Гурский почти никогда не говорил о своем будущем. Наоборот, любил делать вид, что живет только сегодняшним днем. Но о будущем, конечно, думал и на что-то в нем надеялся.

"Кто знает, может, он еще что-то писал, чего даже я не знал? - подумал Лопатин. - Мои тетрадки с дневниками лежат дома. там, у него, у мертвого. А он, может быть, тоже что-то писал и никому об этом не говорил. И я даже не знаю, где у него это может лежать".

Это, конечно, чепуха, что в жизни непоправимо только одно - смерть. В жизни непоправимо многое, верней, все, что переделал бы по-другому, да уже поздно. И все же очевидней всего непоправимость смерти. Когда чья-то жизнь была частью твоей жизни - если это действительно так, без преувеличений, то и смерть такого человека тоже часть твоей смерти. Ты -еще жив, но что-то в тебе самом уже умерло и не воскреснет. Можно только делать вид, что ты по-прежнему цел. Потому что оторванный кусок души - это не рука и не нога, и что он оторван - никому не видно.

Впереди догрохотал последний тягач. Водитель, проснувшись, поднял лицо от баранки.

Колонна двинулась через перекресток.

- Долго мы стояли, товарищ майор? - спросил водитель.

- Изрядно, больше часа.

С полчаса ехали молча. Чтобы отвлечься от других мыслей, Лопатин начал считать свои поездки на фронт: сколько всего часов и дней он провел в машинах - ив своих, и в чужих, и в таких вот, попутных. Считал, считал - и запутался. Времени, проведенного на колесах, считая Халхин-Гол, набиралось неправдоподобно много.

- Чего вы все молчите, товарищ майор? Расскажите чего-нибудь, а то спать клонит, спасу нет! - вдруг попросил водитель.

Лопатин закурил и стал рассказывать про Монголию: какая там ровная степь, только иногда полосы солончаков, а так, пока не наткнулся на них, можно ехать, как по столу, в любую сторону

без дороги. И какие там, ни на что не похожие, полосатые закаты, и как мало воды, и как в жару на горизонте мерещатся озера, а над ними лес.

- А какая там война была? - спросил водитель. - Мы про нее почти ничего и не слыхали.

Пришлось рассказывать ему про Халхин-Гол и про то, какая там была война - небольшая, кровавая и, по нынешним понятиям, короткая, а тогда, наоборот, считавшаяся очень длинной - с мая до сентября, целое лето...

После еще двух остановок - одной в пробке, а другой на объезде, на рассвете добрались до рокады Гродно - Каунас.

Лопатин подхватил чемодан и выскочил на перекрестке из приостановившейся на несколько секунд машины.

Регулировщица, с сержантскими лычками на погонах шинели и с винтовкой за плечом, на вид была из тех, кто себя в обиду не дает: рослая, со строгим лицом и вызовом в глазах - мол, попробуй только обратись ко мне не так, как положено; сразу отбрею! Но Лопатин обратился к ней, как положено, и попросил придержать какую-нибудь машину, идущую по шоссе направо, на север, предпочтительно какой-нибудь "виллис" с начальником.

- Чем больше начальство, тем дальше меня довезет! - добавил он, улыбнувшись.

Неизвестно что - эта немудрящая шутка, возраст Лопатина или ленточки орденов и медалей, которые она увидела, пока он, распахнув шинель. доставал удостоверение личности, - но что-то расположило к нему строгого сержанта дорожной службы. Она ответно улыбнулась и сразу стала тем, кем в была: одетой в шинель с погонами девятнадцатилетней девчонкой.

- Есть задержать для вас начальство побольше, товарищ майор. А если вдруг генерал - не боитесь?

- Не боюсь. Я человек штатный.

- Какой же вы штатский, товарищ майор, когда у вас вон сколько наград.

- А это мне за выслугу лет. Неудобно в моем возрасте ходить без ничего. Вот и дали!

Мимо по шоссе проскочило уже несколько грузовиков, но "виллисов" пока не было.

- Может, грузовик остановить, товарищ майор? - спросила регулировщица. - А то время раннее, начальники еще мало ездят. Можно и час прождать.

- Что первое пойдет, то и останавливайте, - сказал Лопатин, разглядывая ее и думая о собственной дочери.

- Что вы на меня так смотрите, товарищ майор? - спросила она не с вызовом, а смущенно, словно провинилась перед ним.

- Сколько вам лет? Девятнадцать?

- Девятнадцать.

- И давно на войне?

- Второй год.

Лопатин вздохнул, продолжая думать о дочери. успеет или не успеет она попасть на фронт.

- Откуда вы?

- Была эвакуированная. Под Семипалатинском в совхозе работала. Оттуда в армию пошла. А так - я из Пнёва Смоленской области Пнёвского района. У нас в сорок первом году там переправа была - Соловьевская, может, знаете?

- Как не знать - Лопатин вспомнил эту Соловьевскую переправу с ее тогдашним кромешным адом.

- Мы оттуда с войсками отходили. Я в санитарки оросилась, даже год себе прибавила, но тогда не взяли. А потом все же, когда восемнадцать исполнилось, в Семипалатинске пошла в военкомат - и взяли. Мне сейчас некоторые и двадцать один, и двадцать два дают. Говорят, я старше себя выгляжу.

- Дразнят. Сколько есть, на столько и выглядите, так что не расстраивайтесь.

- А я и не расстраиваюсь, потому что... Она не успела договорить. Увидела приближавшийся грузовик, шагнула навстречу, на середину дороги и задержала.

- Он только до следующего регулировочного поста довезет вас, а там сворачивать будет. Как, поедете или нет? - стоя у грузовика и держась рукой за открытую дверцу кабины, крикнула она Лопатину.

- Поеду. - Он поднял с полуразбитого асфальта чемодан и шагнул к грузовику.

23

В это утро ему не везло. Пришлось еще три раза ждать в три раза пересаживаться, пока уже после полудня он наконец добрался до стоявшего там, где и прежде, штаба фронта, верней, до шлагбаума, за который не пускали машины.

Не верилось, что всего-навсего три дня назад, семнадцатого, в пять утра он выезжал отсюда, сидя рядом с хмурым Василием Ивановичем, и Гурский, спросонок позевывая, ребром руки поколачивал его сзади по спине.

- Смот-три не озябни. Помни, что у тебя теперь легкие с д-дыркой!

От шлагбаума до оперативного отдела пришлось прошагать полтора километра и столько же обратно.

- Нам еще вчера оттуда, от начпоарма записка пришла, вместе с машиной, которая должна вас к ним, в армию забрать, -

сказал Лопатину дежурный по оперативному отделу. - Машину с водителем мы на, стоянку загнали - вы зияете где, в роще, где и раньше была. Там ее и найдете.

Обедать, хотя ему и предложили сходить в штабную столовую, Лопатин не стал, не хотел терять времени. До рощи дошагал довольно быстро, и там среди других машин тоже быстро нашел свой редакционный "виллис". Василия Ивановича при нем не было, как сказали другие шоферы - ждал, ждал и только что отлучился, пошел обед дать; значит, теперь предстояло ждать его около часа. Когда требовалось, он мог сутки не отлипать от руля, но если была возможность поесть горячего, никогда не пропускал ее и притом не любил торопиться.

Лопатин пристроился на заднем сиденье "виллиса", подложил под голову шинель, приоткрыл дверцу, вытянул ноги и закрыл глаза.

Пригревало солнце, ветки над головой покачивало ветром, по лицу бродили теня от листьев. Он проснулся от гудка машины. Василий Иванович сидел за рулем.

- Пересядете или как? - повернулся он, словно они виделись минуту назад.

Лопатин посмотрел вверх и увидел, что над головой натянут тент, стало быть, Василий Иванович пожалел его, дал поспать несколько лишних минут. Сперва натянул тент, наверное, как всегда, перед тем как ехать, открыл капот, проверил свечи, постучал сапогом по всем четырем скатам и, лишь убедившись, что все в порядке, я сев за руль, разбудил Лопатина.

- Печет, - сказал Василий Иванович, заметив, что Лопатин посмотрел на тент. - Так как - пересядете?

Лопатин поднялся, встряхнул шинель, сложил ее пополам на заднем сиденье и пересел на переднее.

- Можем ехать. Сколько до места?

Не любивший таких вопросов Василий Иванович пожал плечами. Это значило: сколько проедем, столько и проедем, зря стоять не будем!

- А все же? - спросил Лопатин, на сей раз не желая мириться со знакомым ему упрямством.

- Сюда за три часа доехали. Дороги тесные, объезды - спешить - себе дороже!

- Я и не прошу вас спешить, - сказал Лопатин, подумав, что, раз он не добрался ни вчера, ни сегодня утром, вряд ли там целый день будут ждать с похоронами. - Спешить нам с вами уже некуда.

- Это верно, некуда, - сказал Василий Иванович, - уже поспешили. Так спешил, так спешил, только в спину не пихал,

чтоб быстрей ехал. А для чего спешил, чего там не видел? Речка - она и речка, как Клязьма, и ничего на ней такого особенного - ни на этой стороне, ни на той. Можно бы и не спешить, оглядеться. Еще кабы ты первый! А ты ж не первый - солдаты так и так на той стороне уже сутки сидят! Нет, все же надо ему было сразу, как приехали!"

С этого начался рассказ Василия Ивановича о гибели Гурского, в котором смешались и жалость, и досада - поровну того и другого.

Оказывается, как и предполагал Лопатин, заехав с аэродрома на фронтовой узел связи, они махнули прямо оттуда в политотдел армии. Но у редактора, как его по-прежнему продолжал звать Василий Иванович, пробыли недолго, меньше часа. Не дав пообедать, Гурский продержал это время Василия Ивановича на ходу у дома, где стоял редактор, но и сам тоже не обедал - г ни там, ни потом по дороге в дивизию, так весь день и не ели. Поужинали только глядя на ночь, когда добрались до штаба полка.

Вышли вместе - и редактор, и Гурский, сели каждый в свой "виллис" и поехали в разные стороны.

Гурский вынес оттуда, от редактора, карту, по ней и ехали. Дорогу ни у кого не спрашивали, только по карте, поэтому ехали дольше, чем надо, три раза напрасно сворачивали и возвращались.

- Он же только командует: давай, давай! Ему чем остановиться, людей спросить, лучше десять километров крюку сделать. Имеет такую привычку никого не спрашивать, сам все лучше всех знает, - сердито говорил Василий Иванович о Гурском, как о живом.

А когда приехали в полк, дальше, как выразился Василий Иванович, все было по делу. Поговорив с командиром полка, Гурский сказал, что остается тут до завтрашнего дня, машина до утра не понадобится. Командир полка посадил к Василию Ивановичу своего солдата. Подъехали заправиться, поужинали в хозвзводе и с этим же солдатом и другими солдатами из взвода автоматчиков заночевали на сеновале фольварка, где стоял штаб полка. А утром, когда выспались, еще не так поздно, в седьмом часу, уже позвонили, что Гурский убитый. Он и еще трое: капитан из штаба полка, старший сержант и солдат. А раненых - сколько их и кто - Василий Иванович не знал. Слышал, что были, но когда на его "виллисе" подъехали с командиром полка туда, к тому месту, раненых уже вывезли, остались только убитые.

- А разве командир полка там с ним не был? - спросил Лопатин.

- Нет. Когда мы -с командиром полка туда поехали, он по дороге ругался, что у него ночью, как назло, где-то еще ЧП вышло и он вместо себя с Гурским капитана послал. "Если б, - говорит, - с ним я, а не этот капитан пошел, он бы меня не подначил, я бы его еще ночью заставил оттуда, из-за Шешупы, вернуться, и ничего бы не было!"

"Вот так, и почти всегда, - подумал о неизвестном ему командире полка Лопатин. - Почему-то нам, живым, кажется, что,, будь мы сами где-то там, вместе с мертвыми, что-то от этого бы переменилось, и они остались бы живы..."

Василий Иванович рассказал, как они с командиром и его ординарцем поехали на "виллисе" в батальон, как оставили "виллис" около разбитого снарядами дома, где стоял КП-батальона, перевалили через гребешок холма и пошли вниз к речке.

- И вы тоже пошли? - спросил Лопатин. Василий Иванович пожал плечами, как всегда, когда считал какой-нибудь вопрос никчемным. Сказал, что луговина вдоль берега была сыроватая, и по ней воронки от снарядов - старые и несколько новых, не особо больших. Трупы уже подобрали, положили в ряд, собирались копать братскую могилу, уже взяли кругом на пол-лопаты обозначили края, но командир полка отменил. Сказал, что надо похоронить в другом месте, а до этого позвонить по телефону и доложить.

- А как они... - Лопатин хотел спросить, как выглядели убитые, как их убило. Но Василий Иванович, не дав ему договорить, сам сказал, что сержанту снесло череп, капитану попало в живот - таким осколком, что кишки наружу, а солдату и Гурскому, наверное, в спину, - лежали лицами кверху, и по ним не видать было, куда их убило.

- И чего ему было там, в этой Пруссии, не знаю. Версты за три шпиль торчит, наверное, от ихней церкви, а на самом берегу почти ничего - только буквой "пе" сараи или, скорей всего, хлева. Правда, каменные, толстой кладки, и окна узкие, как дыры. Это и отсюда, без переправы, видать. А больше ничего и нет. Кругом поскотина.

И в этих словах его про поскотину, как показалось Лопатину, была досада, что люди погибли все равно что из-за ничего.

- А где их убило? Я верно понял, что уже на этом берегу? - спросил Лопатин.

- На этом. Пока на том были - немец не стрелял, солдаты говорят - он больше бросает с утра и под вечер. А они задержались там, уже на свету возвращались и как раз под это попали. Так мне сказали, - устав от непривычно долгого для него

рассказа, вздохнул Василий Иванович и на целый час замолчал. Только уже когда подъезжали к штабу армии, сказал: - Сейчас приедем. Редактор велел сразу, как приедем - днем ли, ночью, - прямо к нему, где он стоит.

"Виллис" остановился у обшарпанного особнячка, на въезде в небольшой городишко, известный Лопатину только по названию, промелькнувшему в сообщении Информбюро. Одна стена дома была поковырена мелкими осколками, должно быть, от ручной гранаты, а другая, за которую завернули, невредима, даже все стекла целы. В подъезде стоял автоматчик. Лопатин, предъявив документы, спросил, здесь ли генерал. Автоматчик, к удивлению Лопатина, спросил - какой? Оказывается, здесь квартировали сразу два генерала Начальника штаба армии не было, а начальник политотдела, по словам автоматчика, недавно вернулся.

Лопатин поднялся на второй этаж и вошел в большую, наполовину сохранявшую остатки уюта, а наполовину пустую, с вынесенной мебелью, комнату, оглядел ее и увидел в углу большой зеленый плюшевый диван, на котором, как ребенок, спал в своей генеральской форме его бывший редактор, уткнувшись носом в спинку дивана и поджав ноги в пыльных сапогах.

Лопатин успел уже дойти до середины комнаты, когда тот вскочил, быстро обеими руками потер лицо и уставился на Лопатина шальными, еще не вернувшимися из сна глазами.

- Здравствуй, - сказал он Лопатину; сказал так же и то же самое, что всегда. - Интересно, сколько я спал?

- Не знаю. Вряд ли долго. Автоматчик внизу сказал, что ты недавно приехал.

Редактор взглянул на часы, быстро шагнул навстречу Лопатину, быстро обнял его, ткнувшись губами в щеку, и так же быстро отпустил, все одним махом, - и, отступив на шаг и застегивая китель, отрывисто спросил:

- Ну, что скажешь?

- Что же мне говорить? Жду, что ты скажешь.

Редактор, не глядя на Лопатина, прошелся взад и вперед по комнате, еще раз посмотрел на часы, потом на Лопатина и сказал:

- Садись.

- Ну, сел, - сказал Лопатин, садясь на диван. - А ты?

- А я должен ехать в Политуправление фронта. Только приехал сюда звонят, чтоб ехал туда. Утром вернусь, даже ночью. Собирают срочно в связи с тем, что временно переходим к обороне. От тебя секретов нет, да это уже несколько дней как предрешено.

- Сядь. Не мелькай перед глазами, и без тебя - голова кругом.

- Вот именно, - сказал редактор. И сел на самый краешек дивана так, словно собирался сразу же вскочить обратно.

- Откуда ты только что приехал?

- С похорон. Ждал тебя вчера, ждал сегодня утром - и поехал хоронить. До сегодня оттянул, а дальше было бы непонятно, тем более со стороны начальника политотдела армии. По сути, я его живым почти и не видел, сказал редактор о Гурском, - даже время, помню, тогда засек - тридцать пять минут по часам, а больше - как \бы ни хотел - не мог. Нагрянул как снег на голову - отправляй его сразу на Шешупу! А мне через тридцать пять минут с членом Военного совета - в другой корпус, на другое направление. Я ему: "Оставайся до завтра; жди тут, завтра вместе поедем". А он мне: "Вы меня, очевидно, за кого-то другого принимаете, а у меня ваша школа. Сегодня же ночью должен ступить ногой на землю Восточной Пруссии, а завтра днем быть на узле связи и передать корреспонденцию". Этим купил. Мало того! При нем же сам позвонил в дивизию, чтобы не препятствовали. Что разрешаю! Вот и разрешил. Своими руками послал на смерть.

Его голос дрогнул. Но он помог себе тем, что вскочил и снова заходил по комнате.

- А все остальные тридцать минут ушли, конечно, на обычные его шуточки- и как продолжатель моего дела осваивает мой опыт - красным карандашом полосы марает, и как он его учит из длинного короткое делать, и как ему про твою невесту объяснил, чтоб поскорее тебя вызвать. Что у тебя в самом деле невеста?

- Ну, какая у меня в моем возрасте невеста? Просто уговорил женщину приехать, ко мне - женюсь на ней.

- Так и представлял себе. Знал, что она сейчас у тебя, в Москве, но по-другому не мог написать, считал, что после моей телеграммы ты все равно сам вызовешься, даже если б не назвал тебя.

- Правильно считал.

- Она ругалась, наверно?

- Нет, поняла меня.

- А я вот до сих пор понять не могу. Как так - своими руками взял и послал. Как он меня на это за пять минут уговорил? По правде говоря, ждал не его, а тебя. Думал, как только узнаешь, что я здесь, сразу ко мне приедешь.

- А мне только в ночь перед отлетом в Москву сказали, что ты здесь.

- Ты меня знаешь, я не щадил вас, пока был в газете. И когда от вас требовал - понимал, чего требую. Но это я сам требовал. А тут мое дело было не требовать, а разрешить или нет. Разрешил -

и угробил. А не разрешил бы, поехал бы сам с ним на другой день - ничего бы не было.

- Может, не было бы, а может, и было бы. Совершенно так же мог и сам с ним угробиться. Что тут хорошего?

- А что хорошего жить и знать, что мор сохранить человека, а угробил.

- Знаешь что, Матвей, - с неожиданной для него самого жесткостью сказал Лопатин. - Не устраивай для себя особого счета. Его на войне ни для кого не было, нет и не будет. Что значит - ты угробил? Он поехал делать свое дело, а ты разрешил - в правильно сделал. Что ты себя за это казнишь? Что же, все кругом на фронте, кроме тебя, такие бесчувственные, что никто не переживает свои потери? Что б это было, если б каждый из вас стал рвать на себе волосы: этого он угробил, послав вперед, того угробил, не позволив отойти. Скольким людям при мне отдавали эти приказания, да еще в такой форме, что - oro-rol - попробуй не выполни! Подумай, что ты говоришь? Да еще при своей новой должности. Что ты сам, что ли, не знаешь, как это каждый день бывает - не тут, так там?

Даже не осознавая этого до конца, он заговорил со своим бывшим редактором как старший с младшим, как знающий больше со знающим меньше, потому что, несмотря на всю личную храбрость и все рывки, Матвея из газеты на фронт, войну он, Лопатин, знал все-таки лучше.

"Может быть, став начальником политотдела армии, ты 'будешь знать войну лучше меня, но пока - нет, - подумал Лопатин. - И я понимаю, а ты еще не понимаешь, что тебе почему-то нельзя вот так, как сейчас, говорить "угробил" и объявлять себя виноватым. При мне еще так-сяк, а при других нельзя, неправильно. А те, кто там вместе с Гурским погибли, - кто их угробил? Что ж ты думал - они там в полку одного Гурского, что ли, туда, в Восточную Пруссию, переправят, а с ним никого?"

- Ты прав, - после короткого молчания сказал Матвей. Судя по его лицу, слова Лопатина не задели, а опечалили его. - К тому, что стал начальником политотдела, я еще не привык. Привык за вас волноваться - оттуда, из Москвы, привык, если сам на фронт приезжал, чтобы за меня волновались - не пускают, а я лезу. Но это все не то, с чем имею дело теперь.

Внизу раздался гудок "виллиса".

- На всякий случай будит меня! - Он опять взглянул на часы и так, словно спешил не он, а Лопатин, сказал: - Погоди минуту, - вышел в другую комнату и вернулся с хорошо знакомым Лопатину чемоданом Гурского и черной клеенчатой тетрадкой. Чемодан поставил у дивана, а тетрадку протянул Лопатину.

- Я прочел. Почерк у него, как всегда, но разобрать можно. Для очерка уже почти все есть, "о коротковато. Больше пяти страниц на машинке не будет. Поправишь, потом звездочки дашь или отточие и от себя еще странички три - все вместе как раз на высокий подвал, на вторую или третью полосу. А можно на три колонки - одно под другим.

Он еще не отвык быть редактором и мысленно верстал газетную полосу.

- В чемодане, - он показал на чемодан, - ничего особенного, я посмотрел. Но ты посмотри еще. По-моему, больше ни одной бумажки, кроме тетради. Не знаю почему, полевая сумка у него пустая в чемодане осталась, а эту тетрадь он свернул в трубку и в бриджи сунул вместе с картой и карандашом. Остальное - партийный билет. удостоверение, предписание - все уже взяли в сейф. И орден Отечественной войны второй степени, который с гимнастерки свинтили. По статуту, надо родным передать - значит, матери, а как и с кем, не знаю. Может, с тобой, а может, пакетом через редакцию. Я его посмертно представил еще к одной Отечественной - первой степени, но командующий, подписывая, исправил на вторую. Еще поговорим обо всем этом, когда вернусь. Спи здесь. Ординарец ужин принесет для меня, съешь его и ложись на диване. Или в той комнате, на моей койке, - как хочешь. А мне пора. И завтра с утра, при всем желании, навряд ли с тобой поеду. Сам съездишь туда в полк. Расспросишь, как все было. Мне теперь докладывают коротко. А тебе могут и подробней. До завтра. Я поехал.

- А чего я буду как дурак сидеть тут до завтра один? - сказал Лопатин. - Лучше я сегодня, пока тебя нет, съезжу. А утром вернусь, напишу, и ты дашь команду, чтобы быстрей передали. Если бы завтра вместе - другое дело, а раз ты не сможешь, кого мне ждать? Чего я тут не видел?

На лице редактора выразилось короткое колебание. Должно быть, хотел сказать что-нибудь принятое в таких случаях: "Только поосторожнее!" или " Не делай глупостей!", но пресек себя.

- В самом деле, зачем время терять, поезжай. Начни с того, что могилу посмотри, пока светло. Она там же, рядом, на высотке, где у них командный пункт полка.

- С этого и начну. - Лопатин, не заглядывая в тетрадь Гурского, сунул ее в полевую сумку и вышел из комнаты вслед за редактором.

У входа в дом теперь стояли уже не один, а два "виллиса". Заметив Василия Ивановича, редактор кивнул ему и, быстро пожав руку Лопатину, хотел идти к своему "виллису". Но Лопатин задержал его и все-таки спросил:

- Матвей, всего два слова. С газетой сильно расстраиваешься?

- Расстраиваются барышни, - зло ответил редактор. - Умней ничего не нашел спросить?

- Пока не нашел.

- Напрасно! - все так же зло сказал редактор. - Был лучшего о тебе мнения. Если чем и расстроен - тем, что еще не понял, каким буду начальником политотдела. Быть хуже других не привык. А буду ли лучше других - не знаю. Издали считал, что не так трудно. А попробовал на своей шкуре пока зашиваюсь.

- Понял. Поговорим в другой раз, - сказал Лопатин.

- Смотря о чем. Если о том, как зашиваюсь, найду время - объясню. А если о прошлом, к нему возвращаться не будем. Командир полка, к которому едешь, знает тебя по госпиталю, в шахматы с тобой там играл. И Гурского у тебя один раз видел, сказал мне об этом.

- А что еще до этого меня знал, не сказал?

- Где и когда?

- В сорок первом, в Крыму. Он у Пантелеева адъютантом был.

- У Пантелеева? Это школа хорошая. Не знал про него этого.

Матвей пошел к своему "виллису" и, уже сев, высунулся и крикнул:

- За мной не пристраивайтесь, сразу развернитесь и - до конца улицы, до указателя.

"Виллис" рванул с места и, подпрыгивая, понесся по мощенной булыжником улице.

- А мы куда? Туда, на Шешупу, что ли? - спросил Василий Иванович, когда Лопатин сел рядом с ним.

- Туда, куда ж еще. - Лопатин вспомнил то, что давно бы уже следовало сказать Василию Ивановичу. - Вашу записку жене я передал через завгара, сам не попал к ней. Так что ответа не привез.

- Чего об этом говорить. - Василий Иванович разворачивал машину на узкой улице, поглядывая назад, чтобы не зацепить за тумбу. - Какие записки, когда - был человек, и нету!

24

Разное занимает и душу, и внимание, пока подъезжаешь все ближе к передовой.

Иногда прислушиваешься к звукам боя, особенно если в них что-то вдруг меняется. А если они долго не слышны, думаешь о тем, когда же прервется тишина. Хочешь не хочешь, а все равно помнишь, что и ты смертей, и как раз в тишине трудней от этого отвязаться.

А бывает, что ждешь этой новой, предстоящей тебе встречи с передовой больше не слухом, а зрением. Глядя по сторонам

дороги, прикидываешь, во что обошлось и нам, и немцам то расстояние, по которому ты продолжаешь еще беспрепятственно ехать. Считаешь - и вблизи, и вдали - брошенные пушки и горелые танки - и их, и наши, и хочешь, чтобы наших было меньше, а их больше.

Но сегодня было чувство, чем-то непохожее на все, что испытывал обычно. Потому что обычно ехал туда, вперед, к уже знакомым или к еще незнакомым людям, но к живым или считавшимся живыми. А сейчас заведомо ехал к мертвому, не к человеку, а к могиле. Думал при этом и о встрече с Велиховым, но все-таки ехал к могиле.

Может, от того так и бросались в глаза то здесь, то там попадавшиеся братские могилы - то сразу видные вблизи дороги, то угадывавшиеся вдалеке. Да, много могил, и почти все - братские, издавна окрещенные этим словом, так сближавшим всех, кто там, под землей, - что куда уж ближе. Ближе некуда.

Война не кладбище, а дорога, на которой почти всегда и всем некогда. Но и свои штатные могильщики есть на Этой дороге - похоронные команды; и свои похоронные книги - ведомости потерь, которые пишут в каждом полку ПНШ-4 - четвертые помощники начальников штабов; среди других обязанностей лежит на них и эта - писать, когда убили, и где зарыли, и откуда родом, кому и куда посылать похоронку. Могилы общие, но в каждой, рядом с другими, чужими, - лежит чей-то собственный, и все чужие, лежащие рядом с ним, тоже для кого-то собственные. Это и есть война в той самой последней и долгой своей тяжести, которая потому и страшней всего, что она долгая. Войну еще, может, удастся укоротить и этим спасти на ней еще чьи-то жизни. А эту, уже легшую в землю, тяжесть памяти уже не укоротишь - ни письмом замполита, ни посмертной наградой, ничем.

Мысль была простая, вроде бы даже само собой разумеющаяся, но в своей безвыходной простоте она чуть ли не впервые за войну пришла Лопатину в голову.

Вспомнив о посмертных наградах, он подумал об ордене Отечественной войны, переправленном командующим с первой на вторую степень, о котором хлопотал для Гурского их бывший редактор. А за что он ему - этот орден? За то. что его убили? Но если так, то в этом нет здравого смысла, а если нет здравого смысла, то нет и того высшего смысла, про который иногда говорят, напрасно противопоставляя один другому. А если в такой посмертной награде есть здравый смысл, то, значит, она не за то, что убили, а за то, что сделал перед этим, за то, что, прежде чем писать, хотел не с чужих слов, а сам, своими подошвами пощупать эту первую версту Восточной Пруссии. И если, жалея

мертвого, говорить потом про него, зачем полез туда, и считать, что мог обойтись и без этого, - если б это было верно, то мало смысла и в посмертной награде ему, и даже не мало, а вовсе нет смысла - ни здравого, ни высшего, никакого.

Уже несколько раз за дорогу Лопатин собирался достать из полевой' сумки засунутую туда тетрадь с записями Гурского, но всякий раз не мог заставить себя это сделать и только теперь расстегнул сумку.

- Едем верно, все в порядке, карту смотреть не надо? - спросил он у Василия Ивановича, впервые заметив в тетради Гурского краешек засунутой туда карты.

- Если хотите - смотрите, а я два конца по ней сделал, мне не надо, сказал Василий Иванович.

Тетрадь была знакомая, одна из тех двадцати толстых общих, черных клеенчатых, в клетку, тетрадей, которые он, словно угадав еще до войны всю ее будущую длину, в июне сорок первого купил на Арбате в писчебумажном магазине около тогда еще не разбитого бомбой Вахтанговского театра. Пятнадцать этих тетрадей было уже исписано; эту, шестнадцатую, когда он после госпиталя снова стал жить у себя на квартире, увидев у него на столе, забрал Гурский, семнадцатая, не дописанная до конца, лежала у Ники, а три чистых, последних, оставались дома. Так и лежали там на столе, под рукой.

В эту поездку отправился, не взяв тетради. Хотел зайти взять и даже собирался объяснить это Нике, но не зашел и не взял. Да, хорошо бы, если б этих трех последних тетрадей хватило до конца войны.

Подумал так. словно одно было связано с другим, и, усмехнувшись нелепости этой мысли, наконец заставил себя открыть тетрадь. Сначала пробежал глазами первые десять страниц с очень короткими записями - в одну-две строки, судя по названиям мест, это были заметки для памяти, по которым Гурский диктовал стенографисткам свои корреспонденции с Карельского перешейка. Потом шло несколько неизвестно для чего оставленных чистых страниц, и сразу без всяких предварительных заметок начинался плотно и неразборчиво написанный текст того, что Гурский собирался передать по телеграфу, вернувшись с того берега Шешупы.

Это была одна из тех корреспонденции, весь смысл которых - в собственном присутствии пишущего при всем происходящем. Никаких соблазнительных преувеличений или смещений во времени не было. Наоборот, говорилось, как кругом тихо, даже неожиданна тихо, хотя первые солдаты переправились на тот берег, в Восточную Пруссию, еще сутки назад. И только после

этого начинались записи в настоящем времени: "Подходим к берегу, сидим вместе с капитаном на самом краю, тихонько зачерпываем руками довольно холодную для августа воду; сидим и ждем, когда возвратится с того берега, из Пруссии, надувной плотик, на котором старшина повез туда термоса, сидим и слушаем все приближающиеся тихие шлепки весла".

И так до конца, до записей разговоров с солдатами, сделанных на том 'берегу, и до самой последней фразы: "Записываю их мысли, откладывая на потом собственные. Капитан торопит с обратной переправой, если не собираюсь остаться тут еще на сутки. Говорит, что в светлое время переправляться никому не разрешено..."

Капитан торопит... Никого он уже больше не торопит, этот капитан...

Лопатин вынул из тетради карту; вдоль тонкого синего изгиба реки шли крупные черные точки и толстые тире государственной границы с Германией; недалеко от изгиба Гурский поставил карандашом крестик, обозначив им местопребывание командного пункта полка. На обороте карты, тоже карандашом, было написано: "Появление перед Берлином неприятельской армии невозможно. Мольтке-младший, 1914 год".
.

Наверное, Гурскому по дороге к границе пришла на память эта цитата для будущей корреспонденции...

Сверять карту с дорогой Лопатин не стал, решив положиться на Василия Ивановича. Сунул тетрадь и карту в полевую сумку и несколько минут ехал закрыв глаза, чтоб отдохнули от чтения на ходу.

А когда снова открыл глаза и надел очки, увидел по сторонам дороги не то, что до этого выбирал глаз, а обыкновенную здешнюю природу: поля и пригорки; кое-где обнажившийся на склонах песок делал эти пригорки похожими на дюны; вдали виднелись перелески и небольшие хутора в несколько построек, на полях лежали вывернутые из песчаной почвы некрупные валуны.

Потом впереди, на фоне росшего на гребне одного из пригорков сосняка, увидел большой каменный дом с длинным кирпичным коровником и таким же длинным рубленым сараем.

- Вот и доехали, - сказал Василий Иванович, сворачивая к дому. Но Лопатин остановил его, заметив в стороне, справа, чуть выше по склону, три молодых сосны, под ними белую пирамидку могилы, а над ней что-то непонятно, ослепительно блестевшее в лучах заходившего солнца.

- Она? - спросил Лопатин.

- Она.

Пирамидка была сложена из старого кирпича - наверное, разобрали для этого какую-нибудь разбитую снарядами стену, - но этот ломаный, поковырянный кирпич снизу и доверху был густо и чисто побелен. В пирамидку был вмазан штык острием вверх, а к нему обнаженным от изоляции медным проводом прикреплена вырезанная из разогнутой снарядной гильзы звезда. Она-то и отсвечивала сейчас на солнце так сильно, что остановила их еще издали.

На пирамидке, под добытой где-то пластинкой плексигласа, на хорошо отшкуренном куске фанеры густыми лиловыми чернилами, по-писарски четко, была выведена надпись: "Вечная память погибшим в боях за Родину!" И под ней фамилии. Рядом с первой - гвардии капитана Салимова Ю. С. - маленькая, плохо видная под мутным, поцарапанным плексигласом, фотография капитана в фуражке, с гвардейским знаком и тремя орденами на гимнастерке. Остальные фамилии без фотографий: капитан Гурский Б. А., военный корреспондент "Красной звезды"; гвардии старший сержант Лаврик С. С.; гвардии рядовой Самохин С. А.

Вот и всё. Одна на четверых война, одна надпись, одна могила.

"Значит, вот сюда она и приедет, если новый редактор сдержит свое обещание", - подумал Лопатин о матери Гурского и услышал у себя за спиной голос Василия Ивановича:

- Товарищ майор!

Это значило, что к ним подошел кто-то еще. Товарищем майором Василий Иванович называл его только при посторонних

Лопатин повернулся и увидел Велихова, стоявшего с непокрытой головой, держа фуражку в руке.

Велихов неуверенно потянулся и обнял его, сказав что-то про свое сочувствие, Лопатин толком не расслышал - что, потому что вдруг сжало горло от всего, вместе взятого: от (смерти Гурского, от молодости Велихова, от резанувшего по сердцу воспоминания о сорок первом годе и от этого внезапного объятия, про которые Гурский зло шутил, что, когда мужские губы касаются его небритых щек, ему кажется, что он уже отдал жизнь за родину и лежит в гробу.

Всё так. И отдал, и лежит, а ты стоишь и молчишь и не можешь проглотить комка в горле.

- Я здесь только второй раз в жизни увидел его, - не глядя на Велихова, услышал Лопатин его голос. - Но мхе ваша Нина говорила о нем, что вы его очень любите, и вообще высоко о нем отзывалась, как о самом лучшем вашем друге.

"Нина... высоко отзывалась..." - все это - было так странно и

далеко от случившегося здесь, что Лопатин в первую секунду не понял. Ошалело подумал: какая Нина? Словно речь шла не о его собственной дочери.

- Да, да, всё так, - сказал он И еще несколько раз повторил: всё так, всё так, - никак не мог отцепиться от этих слов и найти какие-то другие.

- Вы одни приехали? - спросил Велихов. - Начальник политотдела не приедет? Он хотел с вами вместе.

- Не приедет, - сказал Лопатин.

- Не переживайте, Василий Николаевич. Я уже сам тут переживал - и за него, и за капитана Салимова, и за Лаврика. Солдата не знал, он новый был, а с ними два года в одном полку. Особенно за Юсуфа Салимова. Когда в сорок втором, зимой, с политработы на строевую переехали, вместе курсы кончали. Так что вы не переживайте, - повторил Велихов.

И за его неумелыми словами утешения, стремлением облегчить тебе горе, напомнив о собственном, стояло что-то глубоко справедливое.

- Я не переживаю, - сказал Лопатин. - Просто стою как дурак и не могу привыкнуть" хотя пора бы.

- А я дежурному велел за дорогой следить, - сказал Велихов. - Он доложил, и я сразу выскочил и - сюда. Сначала думал, вы не одни, а потом вижу - одни. Как, постоим еще или поедем? Наверное, вам поужинать надо.

- Наверное, надо. Только не поедем, а пойдем. Вторые сутки все еду и еду.

- Поезжайте, водитель, - другим, не тем, каким он разговаривал с Лопатиным, а привычным командным тоном обратился Велихов к Василию Ивановичу. - Покушайте и отдыхайте, .солдаты вам укажут.

И когда тот отъехал, снова повернулся к Лопатину.

- Долго вы тут стояли. Стою за вашей спиной, жду, а вы все молчите и смотрите.

"Неужели долго? - Лопатину, наоборот, казалось, что все было очень коротко: подошел, посмотрел на фамилии и сразу услышал оклик Василия Ивановича: "Товарищ майор!" А оказывается, этот мальчик стоял за спиной и ждал", - подумал он о Велихове. - Так и подумал. мальчик.

С тех пор как война окончательно переломилась и пошла на запад, и где-то уже мерещился конец ее, - ему все тревожней бросалась в глаза молодость продолжавших жить и воевать людей. Она казалась опасной, и хотелось защитить ее от смерти - неизвестно чем и как, но все равно хотелось. Это чувство он испытывал и сейчас, глядя на Велихова.

- Вот что, Михаил... - Лопатин сделал паузу - ждал, чтобы Велихов подсказал отчество.

- Не надо, Василий Николаевич. Михаил - и все.

- Хорошо. Так вот, сейчас мы, конечно, пойдем к вам в штаб полка и поужинаем, и вы расскажете, мне, как все произошло, но сейчас, пока мы стоим с вами здесь вдвоем, прошу меня понять и заранее обещать сделать то, о чем я nonpotuy

- Конечно, Василий Николаевич, сделаю для вас все, что смогу, - сказал Велихов, и на лице его не выразилось ни малейшей тревоги.

- Мне нужно будет дописать для нашей газеты то, что он начал, но не закончил.

Велихов с готовностью кивнул. В связи с предстоящим приездом Лопатина он уже слышал об этом от начальника политотдела.

- А для этого - составить обо всем свое собственное представление, продолжал Лопатин. - А для этого - расспросить, и как выходили к государственной границе, и как переправлялись через нее. Поговорить не только с вами, но и с вашими подчиненными.

Велихов снова с готовностью кивнул.

- И не только здесь, но и там. Ночью - туда я ночью Же - обратно, добавил Лопатин, глядя в изменившееся лицо Велихова. - Пусть накоротке, но без этого не смогу написать.

- Вы без этого не сможете, а я этого не смогу вам разрешить, - сказал Велихов.

- Почему не сможете разрешить? Разве вам запретили это?

- Нет, не запрещали. Наверное, после всего никому в голову не пришло, что и вы тоже - туда. Но если запрошу разрешения - запретят, можете не сомневаться.

- А я и не сомневаюсь. Потому и прошу вас, а не кого-то другого.

- Начальнику политотдела не говорили об этом?

- Не говорил. Он уехал в Политуправление фронта и вернется только к утру.

- Но вы с ним не говорили об этом? - еще раз спросил Велихов.

- Повторяю: не говорил.

- Достанется мне за вас, - расстроено сказал Велихов.

- А я больше чем уверен, что со мной ровно ничего не случится.

- А я и не думаю, что случится. Обеспечим, чтоб не случилось. Но мне все равно достанется. За то, что взял на себя, не доложив.

- С полка не снимут? - спросил Лопатин. - Если считаете, что снимут, беру свою просьбу обратно. Буду просить не вас, а других.

- С полка не снимут, этого не думаю. Но выволочку дадут.

Лопатин молчал, понимая, что Велихов говорит святую правду и выволочку получит, но, решившись на риск, который ему предстоит, уже не пойдет на попятный. Если не успеет вмешаться какое-нибудь его начальство.

Об этом же, оказывается, подумал и Велихов, потому что вдруг спросил Лопатина, заезжал ли он к кому-нибудь по дороге в полк.

- Никуда не заезжал, прямо к вам.

- Тогда так, - помолчав и подумав, сказал Велихов. - Пока не придем с вами ночью на КП батальона, заранее никому ни слова! А когда будем переправляться туда и обратно, - я, конечно, с вами буду, - попрошу беспрекословно меня слушать. И предупреждаю: переправимся туда ровно на два часа, сам засеку время, и никаких разговоров. Обратно - значит, обратно!

- Спасибо, все ясно. А теперь пойдемте ужинать, - сказал Лопатин. - От начальника политотдела вам сильно досталось?

- За то, что переправил туда, нет, потому что по его собственному Приказанию. А за то, что сам не сопроводил, поначалу досталось. Но замполит дивизии заступился, объяснил, что я хотел, но не мог, что у меня в эту ночь в третьем батальоне ЧП было - неудачная разведка. При обратном переходе нарвались: пятеро вернулись, а шестого у немцев оставили, не вынесли с собой. Хотя заявили, что убитый, но вы же знаете, как с этим - оставлять не- положено. И пока сам не добился, чтоб еще раз пошли и вынесли, находился там у них. Начальника штаба за себя оставил, а с корреспондентом пришлось Салимова, ПНШ-1. Считал, что с ним лучше всего, а вышло хуже.

- Почему хуже? - спросил Лопатин.

- Салимов вообще-то выпивает, была такая опасность. Но я его предупредил, и он обещал.

- Не сдержал? - спросил Лопатин, вспомнив способность Гурского пить без последствий для себя и соблазнять других, иногда с последствиями.

- Почему не сдержал? Сдержал. Да у них там об этом и разговора не было, как я потом узнал. Он, - Велихов все время, не называя фамилии, говорил про Гурского "он", - только с людьми говорил да писал в тетрадку. Но когда Салимов стал его торопить, чтобы затемно обратно, он подначил. "Я, - говорит, - свое дело до рассвета кончить не успею, поэтому готов идти обратно хоть утром, хоть днем, если тебе не слабо!" Ну, а раз

сказал "слабб", попал в больное место. Юсуф горячий - и его не заставил, и сам с ним до рассвета остался. Что за такой за характер! Самому боевому офицеру в полку - и вдруг "слабб"! Да Салимов, если б не закладывал, давно б уже и майором, и командиром полка был, не хуже меня, а может, лучше. Салимов, если бы по делу требовалось, весь день бы туда и обратно под снарядами, а он ему "слабб"! И из-за этого слова - один сказал, а другого заело - не только сами легли, еще двоих с собой взяли. Как вспомню, не могу простить.

Лопатин почувствовал себя виноватым. Правда, такого, как с этим "слабб", он себе никогда не позволял, а все же в силу профессии не раз приходилось вынуждать .людей - и офицеров, и солдат - сопровождать себя куда-то, куда им по собственной необходимости в тот момент вовсе не надо было идти; и задерживать их расспросами там, где им не было нужды задерживаться, обрекая их всем этим на еще какую-то долю опасности сверх той, постоянной, к которой они и без тебя приговорены войной.

И, почувствовав себя виноватым, сказал, что обещает беспрекословно подчиняться Велихову.

- Это ясно, - сказал Велихов. - Я не об этом. Я о прошлом. Жалко людей. Начальник политотдела, когда приезжал, стоял у могилы, сказал, что это семнадцатый убитый у вас в газете. А у меня знаете сколько убитых на памяти? Вы, наверное, думаете про нас, что мы до того привыкли, что нам уже не жалко? Привыкли, а жалко. И чем дальше, тем жальче.

Он остановился сам и остановил Лопатина у входа в дом.

- Я вашей дочери написал, свою полевую почту ей напомнил и пять дней назад получил от нее ответ. Неужели вы все-таки дадите ей после этих курсов на фронт ехать, как она заявляет? Неужели вы этому помешать не можете?

- А как?

- Не знаю как. Вы не я, не командир полка. Вы, наверное, таких людей знаете, которые по вашей просьбе могут не разрешить ей этого, помешать. Все же она не солдат, не по призыву, а можно сказать, еще девочка. Помешать ей в этом, и все!

- Да, это верно, я знаю людей, которые могут помешать, - оказал Лопатин. - Но как это сделать? И как объяснить ей? До? Или после? Или вообще за ее спиной, так, чтоб ничего не знала? Как вы бы это сами не на своем, а на моем месте сделали?

Велихов ничего не ответил, но во взгляде его все равно осталась невысказанная вслух мольба - что-то придумать, чтоб всего этого не было. Неизвестно как, но не было!

- Рыбу будем есть, - сказал он. - Я велел, чтоб к ужину рыбу пожарили. Сегодня в Шешупе два ведра гранатами наглушили и принесли. Думал, начальник политотдела после похорон обедать останется, а он не остался, сразу уехал.

25

Уживали вдвоем в маленькой голой каморке, где стояли только стол, табуретка и койка.

Предстоящего не касались. Велихов рассказывал, как в последние дни в ходе боев - небольших, но трудных из-за постепенно наступившего безлюдья, когда еле хватает силенок спихнуть с дороги даже немецкий подвижной заслон, как-то не доходило до сознания, что вот-вот, еще немного - и дойдут до государственной границы, за которой - Восточная Пруссия. Позавчера на два километра продвинулись, вчера - на три, сегодня - еще на полтора, и как-то вдруг оказалось, что вышли двумя батальонами из трех к реке, к границе. И уже среди ночи узнали, что одна рота сама, на подручных средствах, без приказа и без сопротивления переправилась на тот берег.

- Ну, тут, конечно, когда узнал, - сказал Велихов, - приказал им закрепиться и сам слазил туда, посмотрел - как. Минометы туда переправил, а к этому берегу подтащил две батареи, и снаряды довел до половины боекомплекта, чтобы, если спихивать начнут, было чем поддержать. И тут началось! Одному туда надо, на тот берег, другому, третьему - всем охота, и по приказу, и без приказа! Пришлось порядок наводить.

- А почему, как вы думаете, немцы не препятствовали переправе?

- А там но самому берегу низина, а с этой стороны у нас - почти сразу - высотки. Там на самом берегу немцам все равно бы не усидеть.

А настоящая оборона у них на этом участке дальше подготовлена, километра три от берега. Сунулись из-под берега дальше, по открытому месту, и на такой огонь напоролись, что сразу приказ: отставить! Если дальше наступать, надо действительно плацдарм иметь. А один этот пятачок ничего не даст, просто неохота с него отходить, раз там оказались. Немцы за него пока не беспокоятся - немного побросают утром и вечером снаряды, напомнят о себе, и снова тихо. Чувствуется, что по-серьезному готовятся не здесь, а где-то в глубине. Ждут нового нашего удара.

- Они ждут. А вы? - спросил Лопатин, в сущности, о том же самом, о чем- пять дней назад спрашивал у Ефимова.

- Об этом не нас, командиров полков, спрашивать.

- А если вас?

- Наверно, как и все другие, хотел бы перед этим пополниться. Пятьдесят восьмой день с начала боев - сколько листов карт за это время сменили! Из-под Витебска, считая с поворотом на Минск, и опять с поворотом, за пятьдесят восемь суток шестьсот километров прошли. А теперь считайте: если во всем полку только по одному убитому на каждый пройденный километр вроде бы не так много. А сложить вместе - шестьсот! А на одного убитого принято считать - три-четыре раненых. Вот нам и весь полк, если б по дороге пополнения не получали и раненые в строй не возвращались.

- Да, выходит так, хотя в голове плохо укладывается...

- Потому я говорю, что не нас, командиров полков, спрашивать. Тем более меня. Шестого августа на плацдарме за Неманом, в один день. одним снарядом - и командира полка, и начальника штаба! После этого сутки исполнял обязанности, а на вторые - принимал полк! Оба в годах были, с опытом, уже давно на своих должностях. Многому научился от них. Но недоучился. Не успел. Последние три листа карт - без них воюю. И не всегда головы на это хватает. Так сам про себя иногда думаю. Но говорить про это никому в полку нельзя - раз я ям командую. Вам - первому.

Лопатин кивнул. Он хорошо понимал внезапную душевную открытость Велихова. Не раз за войну - бывая вот так, наедине с людьми, стоявшими во главе своего большого или небольшого хозяйства, где и первое, и последнее слово за ними, где рядом только подчиненные, которым надо приказывать, а не делиться своими сомнениями, - он уже сталкивался с этим жадным желанием поговорите с тобой просто как с человеком, расстегнуть свою, не по доброй воле, а по должности, застегнутую на все пуговицы душу!

Все было слишком хорошо понятно: и то, почему командир полка Миша Велихов так откровенен с ним, и то, почему захотел ужинать вдвоем. никого не позвав. Поистине нет ничего более изнуряющего человеческую душу, чем предписанная по долгу службы и безвыходная в своей ежедневной необходимости тяжесть власти.

- Все-таки вы не допускайте, Василий Николаевич, чтоб ваша дочь пошла на войну. Здесь надо быть только тем, кому обязательно. А тем, кому необязательно, лучше не быть, - сказал Велихов. И таким внезапным переходом с одного на другое, с себя на нее, протянул ту ниточку, о которой Лопатин до этого только мельком подумал. А теперь она, эта ниточка, стала очевидной. Значит, что-то в ней, еще совсем девчонке, зацепило его. И зацепило так сильно, что, уже понимая, что не нужно больше

говорить об этом, он все-таки не выдержал и опять заговорил. Что могло зацепить в ней его - молодого, статного, удачливого и, наверное, не обойденного вниманием женщин? Что? Уж не та ли, самая очевидная, черта ее натуры, которая никому, даже отцу, не позволит за ее спиной поступить так, как уже во второй раз молит Лопатина этот сидящий напротив него человек?

Лопатин расстегнул долевую сумку и вынул карту.

- Хочу проверить, где мы с вами находимся. Этот его крестик правильно стоит ил" нет?

- Правильно, - мельком взглянув да карту, сказал Велихов. - Но давайте по моей. У меня пятисотка, по ней виднее.

Он достал из планшета и положил перед Лопатиным лист карты, на которой наверху стояли номер и литеры и рядом с ними - даты: составления, исправлений, рекогносцировок, а внизу, под линейкой масштаба, было написано красным карандашом через точки - В. Г. Г. 3.15, 17.8.44. И подпись: М. Велихов.

- Сейчас мы здесь. Вот сюда, обогнув высотку, зайдем в батальон, и потом вниз до реки напрямую. А эти строения, показанные на той стороне Шешупы, - коровники. Я сначала по карте думал - дома, а это - коровники, и кругом - выгон для скота.

Он спрятал карту в планшет.

- А что эти у вас там стоит: В. Г. Г.?

- Это я себе для памяти - выход к государственной границе. День и час. И они ее здесь перешли в первый день войны, тоже в три утра, с минутами... Хочу этот лист зажать, не сдавать.

- Правильно, - сказал Лопатин. - Я бы на вашем месте не отдал.

Несмотря на обыденность" с которой Велихов рассказывал, как в боях почти незаметно подошли сюда, к границе, все равно - и его надпись красным карандашом, и нежелание сдавать этот лист карты значили, что он знает цену происшедшему.

Пускай в этом случае переправились туда без сопротивления, пускай одной ротой, пускай на пятачок, пускай там, на этом пятачке, ничего нет, кроме коровников и поскотины, все равно - на листе карты красным карандашом стоит: В.Г.Г. - выход к государственной границе; впереди, за обрезом карты, - Германия, а позади, за спиной, почти до самой Москвы, - все, что сначала отдали, и все, что потом вернули.

- Километрах в пяти от нас, в тылу. я заметил, еще когда сюда шли, а вчера еще раз поехал посмотрел, стоит наш довоенный дот, - сказал Велихов. - Поколупанный снарядами" а так на вид почти целый. Бетон черный, закопченный, обожженный, наверное, наши в нем до .конца сидели, а немцы или огнеметами их

выжигали, или горючим заливали. Думаю, так. Хода внутрь не видно, где он шел, может, под землей, не знаю, времени не было искать. Стоял там, смотрел, и все казалось: а вдруг внутри кто-нибудь до сих пор остался, сидит там, с сорок первого года? Ерунда, конечно, но такое у меня настроение вчера было, когда смотрел на эту старую точку. Завтра покажу вам, если хотите.

- Не хочу, - сказал Лопатин. - Может быть. потом когда-нибудь, а сейчас не хочу.

Велихов сидел, прислушиваясь к чему-то, чего Лопатин не слышал.

- Дождь пошел. Вы посидите, подождите меня. Я ненадолго. Распоряжения на ночь отдам и в батальон позвоню, что придем к ним.

Он вышел, и Лопатин остался один. Пока Беликов открывал и закрывал дверь, он тоже услышал дождь, а сейчас, подойдя к завешенному плащ-палаткой окну и прислушавшись, услышал его и там, за окном.

"Значит, пойдем в дождь", - подумал он, чувствуя навалившуюся усталость - и от сегодняшнего, и от вчерашнего дня и от бессонной ночи в грузовике, - от всего сразу, и представляя себе. как они сейчас, ночью, пойдут с Беликовым. Отсюда до батальона будет еще ничего - от высотки до высотки, и почва песчаная. Пониже к реке идти станет похуже, а там, за Шешупой, в низине, где эти коровники и поскотина, наверное, вообще болото.

Он поглядел на свой старые хромовые сапоги, досадуя, что не взял про запас, как обычно, еще и кирзовые. А впрочем, и взять не мог. Они лежали дома, на тахте, вместе с вывороченным наспех из чемодана грязным бельем и обмундированием.

Там, у Ники, когда подумал, что надо бы зайти домой за тетрадью, подумал и о сапогах. А потом даже и не вспомнил об этом.

И ничего она ему не говорила в те последние два часа, что они лежали с ней вдвоем, вместе, после того как, стащив с себя обмундирование, он все-таки разделся и лег, лег и ждал ее, а она долго не шла, а потом принесла ему чай, которого он все равно не стал пить. Сначала уговаривала его, чтоб он попробовал заснуть, а потом поняла, что он все равно не заснет, и легла рядом. И только одно казалось ему странным - то, как он" все время, пока они лежали в были вместе, молчала. Словно боялась проговориться, сказать что-то такое, чего не должна была или не хотела ему сказать. Только это, и то не сразу, а лишь под конец, заставило его понять, как она боится за него, боится его отъезда, боится его смерти - вслед за той, другой смертью, из-за которой

он туда ехал. Боится и ничего не может с собой сделать. И не может говорить ни о чем другом, потому что, если заговорит, заговорит об этом.

Но так и не заговорила. И когда лежали в постели, и когда встали, и когда вышли из дома, и когда вошли во двор редакции и простились около машины - так и не заговорила.

Он сидел, слушал, как все сильней и сильней льет дождь, и с тоской и благодарностью вспоминал ее молчание.

Три часа назад, если поезд отошел вовремя, она уехала обратно в Ташкент.

Когда она лежала рядом с ним и боялась за него, он сам не боялся. Не только не позволял себе думать об этом, но и не думал. А сейчас, когда она была где-то между Коломной и Рязанью, он, думая о ней, думал и о себе я боялся. Это началось еще вечером, когда ехал сюда и смотрел на могилы. Он уже Тогда понимал, что началось, и, пока он не вернется назад из-за Шешупы, ему придется преодолевать в себе это. И когда, говоря с Велиховым, настаивал, что ему непременно надо быть там, в этом упорстве была и частица того насилия над собой, которое называют преодолением страха. А потом вдруг что-то добавил еще и дождь. Как ни дико, так оно и было: из-за того, что начался, а теперь все сильней шел дождь, ему казалось еще страшней идти туда.

Мертвые на осклизлой, растоптанной, мокрой земле, в грязи, в налитых водой колеях, на дне затопленных дождями ходов сообщений и окопов, в наполненных грязной жижей кюветах у дороги. Все это он видел, видел не раз, и знал, что вспоминать сейчас об этом, под шум шедшего за окном дождя, не надо, нельзя. И все-таки вспоминал и боялся смерти, хотя хорошо понимал и умом, и опытом, что сегодня ночью ничто ее не обещает, кроме одной из тех глупых случайностей, избегая которых, надо было на второй же день войны ехать из Москвы не в Минск, а в Ташкент.

Он сделал усилие над собой и улыбнулся навстречу Велихову, вошедшему в забрызганной дождем плащ-палатке и со второй плащ-палаткой и кирзовыми сапогами в руках.

- Сапоги для вас добыли. Со спящего после дежурства солдата стащили.

- А если хватится? - снова улыбаясь и снова чувствуя, как это с трудом дается ему, спросил Лопатин.

- Не хватится! Пока проснется, мы с вами уже обернемся. Как, подойдут?

- Думаю, подойдут, - разуваясь, сказал Лопатин и легко влез в чуть великоватые солдатские сапоги.

- Пошли? - протягивая ему плащ-палатку, спросил Велихов.
- Пошли...
1975 - 1978